















ТОМ  
ВТОРОЙ





В. КОСТЫЛЕВ

# ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ 2

ГОРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1951





В. КОСТЫЛЕВ

# ЖРЕЦЫ

РОМАН

ГОРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1951





**Оформление художника  
В. И. АВЕРИНОЙ**



# **Ч А С Т Ъ П Е Р В А Я**







# I

о кабакам ходил человек — скликал бурлаков тянуть соль в Нижний. Называл себя строгановским посыльщиком — Несмеянкой Кривовым.

Кабацкие питухи и подгулявшие казаки трунили:

— Эй, дурень! Забыл?! Вниз вода несет, вверх кабала везет.

— Глядите! Дуван<sup>1</sup> знатный будет!

— Видели их дуван!

И пошли, и пошли...

— Чего лаете?! — обижался посыльщик. — Дело говорю.

Оправдываясь, один чумаки крикнул:

— Который пес богато бреше, той мало кусаецца!

В этой шумной толкучке так и не мог ничего путного добиться Несмеянка. На его зов никто не откликнулся.

---

<sup>1</sup> Дуван — дележ платы за работу (у разбойников — дележ добычи).



Ни один человек. Никому никакой охоты не было везти соль в Нижний. Что делать? Хоть сам запрягайся в лямку!

И вот кто-то дернул его за рукав. Несмеянка обернулся. Здоровенный дядя в отблеске огня. Глаза озорные, веселые. В черных кудрях седой волос.

— Глотай, мытарь! — сунул он кружку Несмеянке. — За наше сиротское!

Тот выпил.

— Кто?

— Мордвин из-под Нижнего. А ты?

— Цыган Сыч.

— Так.

— Много ль соли?

— Хватит.

— Идем. Есть люди.

— Пошли!

В глухой степи, где Волга льнет к Дону, на берегу крохотной речки Иловли, сошлись. В этих местах купцы волоком перетаскивают свои товары с Волги на Дон и с Дона на Волгу.

Место просторное и прибыльное — купцы дань вольнице платят, а та за их здоровье вино в кабаках распиивает. Известно. Хорошо знает об этом Московский Сыскной приказ, а еще лучше — астраханский губернатор, лучше же всех — купцы уральские, волжские и донецкие.

Вот в какие места привел курчавый детина Несмеянку Кривова.

Посыльщик думал увидеть целую толпу, а увидел двоих: высокого, гордого, вооруженного с ног до головы пожилого человека и худого, юркого башкирца.

— Где же народ?

— Наши люди в куренях да в оврагах.

— Понимаю.

Вооруженный человек назвался атаманом гулящей ватаги — Михаилом Зарею. Некогда величали его Иваном Воином, ныне — Заря. Башкирец назвался Хайридином.

Ватага гулящих — по их словам — в любую минуту может собраться и стать под лямку. Всего до двухсот. У всех паспорта.

Несмеянка обрадовался, обнял атамана. Чего скрывать? Сам — бродяга, и поступил к строгановскому приказчику в посыльщики ради того только, чтобы добраться до Ниж-

него, в родные края, в мордовские земли. И назвал своей родиной село Терюшево под Нижним.

Он рассказал, что из Астрахани пробирается, с солью, да застрял. Люди разбежались. Много видел он всякой всячины, многое слышал и немало поэтому принес с собой новостей. Самая главная — из Москвы идет к Астрахани великая сила на низовую вольницу: два полковника с войском. И огня при них порядочно ко истреблению.

Задумались не на шутку несмеянкины знакомцы над его словами: что делать?

Три дня они ломали головы: куда бежать? Не от первого человека ватага слышит об этих полковниках.

— Решить, однако, братцы, надо! — нахмурился Заря. — Либо в стремя ногой, либо о пень головой. В руки полковников отдаваться не след.

Загалдели друзья, разлохматились, усами задвигали. Испытано: человек не пропадет, коли есть отвага, смекалка и терпение, да товарищи, да ружье, да сабля исправные. Существовать можно.

Атаман внимательно прислушивался к спорам, положив одну руку на эфес серебряной сабли, а другой держа какую-то бумагу. Тут только Несмеянка рассмотрел, что это за богатырь: редкостного роста, широкоплечий, лет сорока. Хотя взгляд и строгий, но, в общем, русобородое лицо его казалось добрым.

— Вчера мне передал азовский купец-раскольник бумагу, — заговорил атаман. — Слушайте! Пишет новый архиерей раскольниковый, Анфиноген.

О чудо! Старообрядческий владыка призывает уральских и донских раскольников, некогда покинувших керженские леса, снова плыть на Керженец, селиться там и восстанавливать разоренные при Петре скиты. Царица Елизавета, будто бы, непридирчива к раскольникам, преследовать их не будет. Это не Петр. Да и купцы нижегородские да городецкие и прочие именитые древнего благочестия люди покрепче стали, побогаче. Не прежние времена. Вернуться ушедшим с Керженца скитникам и мирянам вполне безопасно. Азовский купец говорил, что уральские и донские купцы-старообрядцы денег не пожалеют, лишь бы восстановить скиты на Керженце.

Несмеянка Кривов, почему-то с радостью, первый откликнулся на послание Анфиногена. Он сказал, что архиерей прав — вернуться керженским беглецам к себе на

родину — самое время, да и атаману с его людьми наилучший путь избавления от полковников — уйти в нижегородские воды и леса. Куда же иначе?

Мордвин даже вскочил с места, загорелся весь. Показалось удивительным. Сам — мордвин: не язычник и не христианин, а душу разбойничью мутит, ратует за раскольников. Не сыщик ли какой? Везде, ведь, они шныряют.

Несмеянка поведал о том, что он — мордвин, и возвращается на родину, в мордовские места, под Нижний, потому что посвободнее стало там. Гонитель раскола и иноверцев, нижегородский епископ Питирим умер, а его место занял другой епископ, древний, добрый старичок, безобидный и богомольный — Иоанн Дубинский. Питирим ни с богом, ни с дарами, ни с народом не считался, кровь и слезы проливал немилосердно, а этот епископ и в бога верует, и дарей побаивается, и народ жалеет. Губернатор тоже слаб.

И несколько раз повторил Несмеянка, что в раскольничьи места власть не заглядывает и что архиерей Анфиноген прав.

Цыган Сыч, наслушавшись его, взял атамана за руку:

— Софрон! Ну, что? Слышишь? Плыдем, что ли? — Черные красивые глаза его стали задумчивыми. — И самому тебе, видать, в Нижний-то хочется. Вспомнил молодость?

— Ты опять?! — грустно улыбнулся атаман. — Не Софрон я, а Михаил Заря... Не забывай! — и погрозились пальцем.

— Винюсь! — спохватился тот. — Был велик ты... Бурей-богатырем слыл... Во всех астраханских воеводствах прославился, а ныне начинай сызнова... Заслуживай, Михаил Заря, уважение у воевод нижегородских. Зазнались они.

Сыч громко засмеялся, дернув башкирца за рукав:

— Басурман? Так, что ли?

Башкирец промолчал.

— Ты чего же?

— Думаю.

— О чем?

— О деле.

При этих словах башкирца атаман вдруг повеселел. Спасибо Несмеянке: правильно, — в Нижний! Но опасно сбивать с насиженных мест керженских раскольников, обретающихся на Иргизе, на Дону и на Урале. Довольно

уж они хлебнули горя. Сначала надо самим побывать на Керженде и в Нижнем, своими глазами увидеть все. И купцам о том доложить. Вот почему и надлежит идти в бурлаки к Строганову обязательно. Расшивы его богатые, под парусом, быстроходные. Строганов — защита. Если честно провожать суда, — в Нижний приплывешь спокойно и денег заработаешь, и от разбоев отдохнешь, сил накопишь.

Сыч весело сказал:

— Астраханский губернатор наши головы рубить поклялся, а нижегородский спасибо нам скажет. Без соли-то ему там тоже не солоно живется.

Вдруг он словно размяк, и, театрально позируя, схватился за сердце. Его вишневые глаза стали печальными, и он нарочито томно прошептал:

— Милая моя!.. Радость голубиная!.. Степанидушка!..

Все расхохотались. А он встал на колени, воздел руки к небу и громко произнес:

— Господи, дай здоровья моей Степаниде и сыну моему Петру! Не утоми их до моего прихода. Уважь беглого человека! — И, поднявшись с земли, снисходительно бросил:

— Вам не к кому туда плыть, а мне... (причмокнув) другое дело!

Атаман приказал есаулам завтра же собрать ватажников и объявить им, что больше они уже не разбойники, а строгановские бурлаки. Атамана у них больше нет, а есть подрядчик Михаил Артамонов. Надо зарубить это у себя на носу.

— Друг друга мы не знаем... Сошлись из разных мест искать счастья... И слезно благодарим господа бога, иже сподобил нас повстречаться с добрым слугою православного нижегородского гостя Строганова... Так и говорите!

Да и нужно ли пояснять? Есаулы и так знают. Не редкость им и товарищам их, при случае, отречься друг от друга, чужие имена носить, по чужим паспортам жить. Разбойничья дружба — тайна. Разбойничье сердце — омут.

Вечерело. Вдали, в песках, золотистые кустарники баялыча и гребенщика стали покрываться серым налетом сумерек. Софрон, устремивший взгляд туда, мысленно сравнивал судьбу степных цветов с разбойничьей долей. Несмотря на сушь, на ураганы, одинокий степной кустарник растет, цветет, зеленеет и пускает корни на громад-



ном пространстве в недра, находя и в сухом, прожженном солнцем песке себе пищу. И степной бродяга — одинокий, окруженный опасностями и постоянной угрозой голодной смерти, сроднившись со степной природой, живет себе в пустыне, не жалуясь на судьбу. Правда, он дичает, сам становится опасен для людей, но, ведь, и растения в пустыне усеяны тысячами заноз, едкими колючками, острыми волосками на листьях и стеблях... Не всякий степной цветок возьмешь голый рукой. Опасайся!

Вечер теплый и звонкий. Невдалеке, в пойме, близ этой крохотной речонки, весело покрикивают журавли; в серой мгле над камышами — глухое, басистое цоканье выпи. Когда Сыч и Хайридин с атаманом отошли к бархану наломать сухого камыша и кияку для костра, — из-под ног выпорхнула стая розовых скворцов.

Была величественна и загадочна, в своем безмолвии, наполненная сумраком степь.

Развели огонь.

Несмеянка, недавно побывавший в Москве, поведал у костра, что в одном московском кабаке познакомился с тамошним знаменитым вором Ванькой Каином. Много чудес натворил он в Москве и остается неуловимым для Сысского приказа. Всю Белокаменную обшарили, а поймать не могут. У себя под носом не видят человека.

Рассказ Несмеянки заинтересовал. Софрон пожелал познакомиться с московским вором, посмотреть, что это за человек. Несмеянка обещал. Один его родственник, мордвин, проживающий в Камышине, едет в Москву, там наведается и к Ваньке Каину: польстит его богатой добычей в Макарьеве на Волге. Каин давно имеет пристрастие к макарьевскому торгу. «Там и встретитесь...»

— Куда же он награбленное-то деваает? — спросил Заря, помешав саблей тлеющие угли.

— Прогуливает... У Ваньки Каина брюхо из пяти овчин состоит... уместительное, как у попа. Все туда уходит.

Софрон, улыбнувшись, покачал головой.

— Приметы плохие...

— Что так? — поинтересовался Сыч.

— Алчность и тщеславие добра не приносят... Я всегда избегал излишнего. Вожаку не годится возбуждать зависть. Плохо, если атаман глядит, будто пятерых живьем съел, шестым поперхнулся... Не атаман это, а лихо!..

— Зарезать такого атамана! — буркнул Хайридин.

Софрон продолжал:

— Заботится о своей утробе, — вот и плохой товарищ... Ему никого не надо... Донские казаки убивают таких... У казака — атаман в дуване последний... Братчина — святое дело!

Рассказал Софрон о том, как ему приходилось в разных местах атаманствовать. Он вспомнил и о своем учении в Нижнем, в питиримовской духовной греко-латинской школе, где был лучшим учеником... Двадцать три года назад... Вспомнить страшно! Заковывали его и в цепи, как государственного преступника, но кузнец Филька Рыхлый его выручил, дал ему ключ открыть кандалы... А потом тот же Филька передался на сторону Питирима, стал предателем, разбогател и снова ковал его, Софрона, в кандалы, от которых его освободили в Муроме его же, Софроновы, ватажники, переодетые в гвардейские мундиры.

Выслушав эту повесть, Несмеянка сказал:

— Не Филька он теперь, а Филипп Рыхловский! Живет в своей даренной царем Петром вотчине на Суре...

— Жив?

— Жив.

— А жена его Степанида?

— И она жива.

Цыган Сыч при этих словах Несмеянки с блаженным выражением на лице почесал под бородой, отдуваясь. Что за баба! Расхожая! Дьявол!

После затянувшейся за полночь беседы стали собираться спать. Один Софрон не мог заснуть. Он поднялся с земли и пошел в степь. Ему было о чем подумать. Ватага состояла из двухсот с лишним человек. Начальники форпостов, расположенных вдоль Волги, в смятении доносили о разбойниках астраханскому губернатору. Они писали, что «вольница в воровской шайке сего кутейника не уменьшается, а постоянно прибывает». На-днях одного казака, губернаторского гонца, захватили ватажники в плен и привели к Софрону. Губернатор писал атаману Качалинской станицы на Дону, в окрестностях которой, по оврагам и куреням, хоронилось войско Софрона, — «об искоренении воровских шаяк и о учинении разъездов».

Торговые люди, для которых Качалинская пристань — «золотое дно», — подняли вой на весь Дон и Поволжье: разбойники-де мешают волочить с Волги товары на Качалинскую пристань, давню громадной обволакивают куп-

цов, а не то грабят, сманивают-де бурлаков в свои шайки... И эти шесть десятков верст между Волгой и Доном пустуют и для торговли остаются неприступными... Теперь не раз поминали «покойного батюшку Петра Первого», задумавшего прорыть канал между Волгой и Доном. Умер! Не добился этого!

Купцы, отказав ватаге Софрона в дальнейшей выплате дани, не жалея денег, пустились на подкуп бурлаков и голытьбы и немало развелось среди бурлаков предательства. Стали доносить на разбойников. Атаман Качалинской станицы Сазонов, станичный писарь Попов и некоторые из казаков и казачек раньше вино пили вместе с ватажниками, получали от них подарки и даже сами водили людей на грабления, а теперь сторонятся, глядят косо, и трудно понять, что у них на уме. Ясно: готовятся к встрече московских полковников. Вот почему и осмелели купцы. По этой же причине приходится теперь и ночевать в степи. Каждый день того и жди — губернаторские сыщики с войском ягрянут.

Может ли ватага с ними бороться?

Сила начальства велика. Кто бодрствует, тот и царствует. Все в руках бояр. Губернатор знает, что делает. И не зря он приказ дал своим воеводам: «не гонись за простым вором, а лови атамана!». Понятно! Что будет делать эта разноязычная толпа без него? Чует беду и их сердце. Ватажники кланяются в ноги ему, своему атаману, называя «батюшкой», моля слезно увести их отсюда на новые места: не о крови страдают они, а о покое, о вольной и сытной жизни. Помещики их заели.

Раздумывать уж тут нечего. Купцов теперь не слышишь. Другой дороги не предвидится. Нанявшись под видом бурлаков и работных людей на строгановские расшивы, можно со спокойным сердцем плыть вверх по Волге, никто не тронет.

При мысли о том, что он, покинувший столько лет назад Нижний, снова увидит его, снова будет жить в окрестных горах и лесах его, услышит благовест памятного ему Макарьевского монастыря, — слезы выступили на глазах у атамана. Ведь там прошла его тяжкая молодость, там была разбита и навеки схоронена его первая любовь. Он снял свою казацкую барашковую шапку и усердно помолился о покойной своей невесте, девице Елизавете, обманутой Питиримом и замученной в церковных нижегородских застенках.

Степь тихо о чем-то шептала. О чем? «Э-эх, степь, велика ты лежишь, да гулять не велишь». Страшно подумать,—при всем своем величии, в полной полицейской власти она, и будучи верной подругой гулящих людей, теперь способна во всякую минуту предать их. А Волга?!. Она спасала, поила и кормила в прошлые времена, утешала в печалих, согревала верою в будущее! «Неужели и ты изменишь?!»

Софрон опустилсЯ на бугор, вдохнул в себя свежий прибрежный воздух, сохранивший запах нагретого за день песка, задумался. До него донесся бодрый голос Сыча:

Ведь мы ходим, братцы, не первый год,  
Ведь мы пьем, едим на Волге все готовое,  
Цветно платье носим припасенное.  
Еще лих ли наш супостат-злодей,  
Супостат-злодей, воевода лихой,  
Высылает из Казани часты высылки,  
Высылает все высылки стрелецкие,  
Они ловят нас, хватают добрых молодцев,  
Называют нас ворами-разбойниками.  
А мы, братцы, ведь не воры и не разбойники,  
Мы люди добрые, ребята все поволжские,  
И все ходим мы по Волге не первый год,—  
Вся нас знает голь и жалует...

Атаман слушал эту песню и улыбался. Она будила воспоминания.

Костер угасал... От речки потянуло прохладой.

. . . . .

Не спалось Сычу, не спалось и Несмеянке. Бледнели звезды. Первым поднялся с своего ложа мордвин. Уже перевалило за полночь. Атаман только что уснул. Он лежал на полотнище нераскинутого шатра, уткнувшись лицом в какой-то мешок. Несмеянка тяжело вздохнула, оглядевшись кругом. Его трясло, как в лихорадке. На востоке начинало светать. Перехликались тоненько, жалобно молодые цапли в зарослях у реки. Прохладило. Сыч дернул мордвина за рукав.

— Ты чего, безбородый? (Сыч все время следил за ним, мучаясь сомнениями: не соглядатай ли?)

— Сон видел. Поганный.

— Не кручинься, молодец, горю сделаем конец... Денег бросим пятачок — нам пособит кабачок. Понял?

— Эй, брат! Не до шуток! Мне приснилось, будто



снова я на Украине... Площадь... Блестят охотничьи трубы и литавры... пушки... народ валом валит на площадь... Как наяву... Гляжу, человека ведут, нагой, старый... в крови, а в глазах — гордость... Не сгибается перед панами... Его посадили на кол; умирая, он просил в последний раз покурить люльку... Паны дали...

Сыч, видя волнение товарища, старался казаться веселым. Хлопнув Несмеянку по плечу, он усмехнулся:

— Видел татарин во сне кисель, да ложки не было, лег с ложкою — киселя не видел. Вот тебе и сон!

Но не удалось ему развеселить Несмеянки. Упрям оказался тот.

— Не шути! Будь благоразумен! Сон ли это? Потому мне и страшно, что правда, а не сон. Видел я и наяву свирепство вельможных панов... Каково, брат, живется, таково и снится. Разграблена Украина, народ замучен... Видел я кости в ковылях. Человеческие, сухие кости. Страшно! Я — мордвин, но все мы один народ — братья.

— Полно! Не надо! А то и я заплачу. Пойдем-ка лучше хлебом водицы-голубицы!.. Отлегнет!

Сыча тронула грусть Несмеянки. Он теперь стал больше верить ему. Ведь все это он и сам видел. Действительно, это не сон: целый год бродил он по Украине с гайдамаками и убивал панов. Там видел он сам и поля Украины, превращенные в пустыню, где только «волки-сероманцы» рыскали да «орлы-клекальцы» на кости погибших слетались. Долины, леса, обширные сады и красные дубравы, реки, озера опустевшие, тростью и «непотребною лядиною» заросшие, — все видел, и горя, много горя мужичьего видел!

— Бувала ничь, будет и день, а бувши день, будет и ничь. Не так ли? — сказал цыган добродушно, подумав: «нет — не соглядатай!».

Да и шел казак, да дорогою,  
Дай нашел дивчину с бандуриною:  
«День добрый, дивчина! Як собі маєшь?  
Позычь мне бандуры, що сама граєшь!..»

Несмеянка грустно улыбнулся...

— Пой и ты, друг... Пой! Что же? Вспомни Украину. День государев, а ночь наша... — наигранно возликовал Сыч. И осекся: лицо Несмеянки оставалось печальным.

— Так исстари считали... — сказал он. — День госуда-

рев. А почему? Чего ради? Ответь мне, цыган? Ответь? Успокой?! Зачем так? Когда же и день будет наш?!

Несмеянка больно сжал руку Сыча, ожидая ответа. Цыган попробовал опять отделаться шуткой:

— Спроси у воеводы. Он знает, сукин сын!

— Меньше всех знают воеводы. Человек создан не совою и не летучею мышью... И я говорю: им — ночь, а нам — день. Кто смеет отнять у нас день? татары, башкиры, украинцы, мордва тоже хотят дня, как хотят его и русские мужики!

— Ах, какой же ты, право! Гордости в тебе много! — с досадой вырвал свою руку цыган. — Бездомный ты бродяга, а так мудришь!

— Ну, прости! — примирительно произнес Несмеянка. — Не сердись на меня. Тебе большое спасибо. Спасибо за то, что атамана тянешь ты в Нижний... У нас, в мордовских местах, в Терюшеве, тоже есть свои павы... Давят людей и там... И там наш удел — тюрьма да могила.

И тихо добавил на ухо Сычу:

— На родину потянуло. Утек из украинских полей... Люди те же, мученья те же, но хочется домой-таки. Решено! Вместе поплывем. Голову сложить за правду охота!

Сыч и Несмеянка с жадностью приблизили пригоршни с водой. А на востоке растекалась нежная, светлая улыбка небес, как бы по-матерински ободряя бездомную голь...

— Пойдем на бугор... Взгляни-ка... И-их ты!

Несмеянка за руку потянул Сыча на бугор. Сыч послушно побрел за ним. На глазах его сверкнули слезы.

Когда влезли, Сыч, пристально взглянув в лицо Несмеянки, спросил:

— Жена у тебя есть?

— Нет.

— А любовь?

Несмеянка задумался.

— Люблю я жизнь! Люблю я волю! Люблю родину!.. Люблю правду! И нет у меня, сильнее этой, никакой любви.

Цыган вздохнул:

— А у меня... Э-эх, и баба!.. Она прижила со мной сынка. Муж ее того не знает... Хотел бы я...

Сыч не договорил, хитро посмотрев на Несмеянку.

## II

Нижегородский кремль притих.

Произошло событие, удивившее весь Нижний Новгород. При живом епископе, преемнике Питирима — Иоанне Первом (Дубинском) — в конце августа 1742 года в архиерейские покои внедрился другой, вновь назначенный Синодом, епископ — Димитрий Сеченов. Из Казани он был переведен на место Иоанна. Дубинский делал вид, будто он уходит добровольно, по болезни. И челобитную о том подал, смиренно испрашивая разрешения удалиться на покой в Печерский монастырь, недалеко от Нижнего. Однако, милостиво оставленный новым архиереем в его доме, вознес благодарственную молитву господу богу за оставление в Кремле, на покое, в архиерейском чине и уважении. Как истинный сын Святейшего Синода, отставленный иерарх скромно примирился с неожиданным положением кремлевского приживальщика. Проходившие через Кремль любопытные нередко видели его теперь в курятнике с набиркой в руках, нежным голосом созывающего на кормление кур и петухов.

Неожиданная смена иерархов породила уйму догадок и предположений среди посадских богомольцев, в душе склонявшихся на сторону низверженного епископа. При нем только, ведь, и вздохнули после порядков умершего четыре года назад архиепископа Питирима.

Сплетничали — будто царица Елизавета была недовольна Иоанном. Он плохо-де боролся с язычниками, с мордвой, не в той степени, на которую вознес это дело покойный архиепископ Питирим. Царица сердилась на него еще, якобы, и за то, что он распустил духовенство, ослабил церковный и полицейский надзор за богомольцами. Какой толк из того, что он усердно занимался умерщвлением своей плоти и «носил железные вериги на чреслах своих», какой толк, что он «украшал себя святостью, великодушием, ангельским житием, простосердечием нрава, терпением и добротою»? Какая корысть петербургским властям была и от того, что нижегородский наместник Синода проводил время «в стенаниях, в воздыханиях, в слезах, в плачах и рыданиях»?

Дворянство убедительно просило о смене архиерея. Может ли духовный чин внушить страх и уважение своей пастве, — писали дворяне, — если богослужение проходит

у него в слезах? Народ чуток: источает слезы епископ, неловко не плакать и прислуживающим ему клирикам, — а глядя на них, как не пустить слезу и богомольцам? Уж им-то и подавно есть о чем погоревать. А надо, чтобы все были довольны и народ тоже...

Народ должен все терпеть.

Дворяне были недовольны Иоанном. Мог ли после этого усидеть на месте епископ?

Чуваши, черемисы и мордва после смерти Питирима вышли из повиновения, приободрились, стали гнать дубьем от себя попов и бродячих архиерейских проповедников. Особенно осмелела терюханская мордва, проживающая на земле царевича Бакара Грузинского, недалеко от Нижнего. Произошло немало расправ языческой мордвы с людьми духовного сословия и полиции.

Санкт-Петербургу стало об этом известно, оттуда писали епископу выговоры, а он продолжал себе усердно предаваться «слезам, плачам и рыданиям».

Вот почему он и был заменен прогремевшим на всю Русь своею ревностностью к православию и твердостью права епископом Димитрием Сеченовым, основателем и главным правителем казанской новокрещенской конторы.

Епископ Сеченов прибыл из Казани не один. Во время следования с пристани около него шагали четыре вооруженных солдата-телохранителя — дюжие, бородатые парни с озорными глазами; несколько юрких толмачей-переводчиков; полдюжины неуклюжих иноков, волосатых, неопрятных, с пистолями под рясой и два тщедушных канцеляриста с гусиными перьями за ухом. Все они расплозились по кельям архиерейского дома, причем смотрели на нижегородских монахов свысока, не скрывая усмешки.

Новый епископ выглядел в тот день усталым, кротким. Томно благословлял он встретивших его с почетом нижегородских служилых людей и горожан, подавая каждому из них для лобзания свою пухлую, волосатую руку. С Иоанном Дубинским крепко обнялся, облобызался по-братски. После того долго сидел в бане, неистово парился, а вечером в своих покоях вел с губернатором секретную беседу о местных делах. Подслушивавший у дверей один из чернецов шопотом рассказывал, выбежав в сад, монахам Духова монастыря, что-де новый владыка часто повторял имя Иоанна Дубинского и новокрещеную мордву.

Так это было или нет, но только вскоре же за тем

Димитрий Сеченов вызвал к себе в келью Иоанна и повел с ним разговор уже не такой, как накануне.

Встретил его он, стоя за столом, одетый в великолепную светлокоричневую шелковую рясу. Взгляд его был холодным, неприветливым.

— Мир вам, ваше преосвященство!

— И духови твоему!

— Садитесь.

Оба сели друг против друга: полный, с пышными вьющимися волосами, дородный, упитанный Димитрий и худой, дряхлый, болезненный старичок Иоанн.

Заговорил Сеченов:

— Каждое утро, каждый день мои люди приносят мне все новые и новые доказательства противоапостольского поведения нижегородских попов... Четыре года только минуло, как почил в бозе блаженной памяти справедливый и строгий архипастырь Питирим — и что же мы видим? Неповиновение властям, грехопадение.

Зеленые, неприятные глаза Сеченова смотрели укоризненно в лицо смущенного Иоанна.

— Вспомните деяния апостолов? — «В церкви, сущей Антиохии... постившиеся и помолвившиеся... отпустиша»... Сказано так об уходе апостолов Варнавы и Павла для проповеди язычникам. Даже в церкви антиохийской были по этому случаю пост и моление. Как же мы, православные архиереи, должны служить просвещению язычников?.. Но что видим в оной епархии?!

Сеченов громко крикнул:

— Иван Мокеев?!

В дверь просунулся, дрожа от страха перед епископом, худой, подобострастный поп в лаптях, перетянутый в талии веревкой. Лицо свое он стыдливо прикрыл громадной войлочной шляпой.

— Иди!.. Иди!.. Не бойся.

Поп вошел, упал на колени и земно поклонился обоим архиереям.

— Ум мой твоею молитвою направи... — залепетал он.

— Вставай, рассказывай...

Поп поднялся, озираясь недоверчиво по сторонам. Кажалось, он намеревается снова убежать из покоев епископа.

— Не трепещи! Говори смелее!..

Поп заговорил прерывающимся голосом:

— Нижегородского уезда, Дальне-Константиновской во-

лости православные христьяне, а всего тридцать человек, пришли в церковь села Константинова же с ружьями, дубьем и депами, выбили северные двери и выстрелили в алтаре, священника из алтаря выволокли, ризы на нем изодрали, на престоле и жертвеннике одежды исполосовали, прочие ризы, которые висели в алтаре, стаща, топтали ногами и измарали все без остатка; священника отволокли на церковный двор и, разложив, били кнутом и дубиною мучительно, так что священник едва жив.

Поп умолк, отвернувшись, сморкаясь в подрясник, захныкал: «Как же нам быть теперь, как же слово божие проповедати?».

Сеченов долго, молча, смотрел на Иоанна. Лицо его было мрачно. Старичок в ужасе стал молиться на иконостас, незаметно поглядывая на Димитрия.

— Кто же повинен в сем мужичьем бешенстве? — громогласно спросил Сеченов. — В бунте против властей?

— Мордва! Во всем виновата мордва!.. Ежели бы не она, не допустили бы сего христьяне. Совестию оные метутся и от истины отвращаются.. Язычники, глядя на сии бесчинства, над православным же духовенством потешаются. И многих из мордвы, принявших православие, мухаметане сбивают в свою веру.. Мусульманские ахуны и муллы легко отторгают от православия не токмо крещеную мордву, но и русских православных христьян.. Оранской же обители монахов нередко мужики ловят и бьют, словно бы лесную тварь..

— Пошел! — шлепнул ладонью по столу красный от гнева епископ. — Изыде!

Поп, мелко семена лаптями, нырнул в дверь.

— То ли было при соратнике великого преобразователя России Питириме?! Ах, ваше преосвященство! Сколь прискорбно мне таковое зрелище! Как допустили вы подобное богоотступничество? Горе нам всем! Горе! Так ли я поступал в Казанской губернии? Всех, нарушивших христианские догматы мужиков, а также татар, чувашей и черемисов я содержал в кандалах за крепким присмотром и до указа в неисходном сидении.. Меня боялись.. Меня слушали.. Епископ — благоволение, добро, но епископ же и гнев божий.. И как же нам горько видеть то, что творится в Нижегородской губернии! Ужели вашему преосвященству все равно — крестятся ли или же остаются некрещеными целые тысячи мухаметан либо язычников?

Иоани, как будто не про него и речь идет, облокотился на стол, задремав. Сеченов сердито хлопнул ладонью по столу, воскликнув: «Отец!» — Старик очнулся, иннул, протер с удивлением глаза.

— В своей Казанской епархии я завел школы... Для убеждения инородческих мальчиков я посылал разумных людей... После этого я отбирал их у родителей... Из них выйдут хорошие проповедники, которые, ораторствуя на родном диалекте, будут обращать в христианство своих же соотечественников. Поселил проповедников в пустынных местах, в лесах и рощах, вблизи инородческих деревень, и оные пустынножители своим христианским примером привлекали к себе сердца иноверцев, покоряли их. Много всяких иных орудий имеем мы к одолению неверия и язычества. В толк не могу я взять, как же так, ваше преосвященство, вы сего не употребляли?

Иоанч, с трудом поднявшись, поклонился Димитрию и, покрывая; молча вышел из покоев, повергнув тем самым в крайнее недоумение своего гордого приемника.

Сеченов с досады плюнул и немедленно вызвал толмачей, а также своих советников — попов и монахов, привезенных из Казани, и сообщая с ними стал обсуждать задуманный им поход на неверующих крестьян и язычников в Нижегородской епархии.

Он пояснил своим помощникам, что, хотя теперь они и не в Казанской, а в Нижегородской губернии, но порядок обращения в христианство остается прежний. По мнению епископа, здесь будет легче, чем в Казани, потому что в Казанской губернии в мусульманских селах Соборное Уложение запрещает русским покупать земли у некрещеных татар. Таким образом, дабы российское дворянство могло завладеть татарскими землями, новокрещенской конторе приходилось великою хитростью обращать татар в христианство. А здесь предстоит возиться с языческой мордавсй и чувашами, на которых Соборное Уложение не распространяется.

О, эта «хитрость»! Недаром по лицам сеченовских иноков пробежали невольные ухмыления.

Как было в Казани?

Новокрещеных татар, даже не знавших русского языка, заставляли учить наизусть русские молитвы, и если при проверке оказывалось, что татарин молитву не знает или знает плохо, новокрещенца (чего уж тут скрывать?!)

приходилось арестовывать, бить плетью и угрожать высылкою. Шила в мешке не утаишь! Случалось самим же перевертывать кверху ногами какую-нибудь икону у новокрещенца, а сваливать на него же, случалось подсовывать скоромную пищу в постные дни и угрозами о доносе выколачивать мзду у новокрещенных, вымогать за требу по произволу и доводить деревни до крайнего изнеможения и бедности. Помещики тут-то и скупали за бесценок землю у разорившихся новокрещенных татар. Приводили в татарскую деревню своих крепостных, натравливая их на татар, а татар на них. Чтобы погасить бунт, Сеченов посылал проповедников с солдатами «уведывать бунтующих и слабых».

Так было. И епископу нечего скрывать это от своих людей; и его проповедникам и толмачам тоже нечего притворяться агндами непорочными.

Разговор развернулся у епископа Сеченова с его подчиненными откровенный.

— Не всех же мы разоряем!..— тряхнув курчавой гривой, солидно заявил епископ.— Татарскую знать православием не мы ли роднили с российской знатью?.. И многие, бывшие ранее иноверцами, князья, дворяне и купцы, ныне благодарны нам и горды близостью своею к православной церкви и российскому дворянству, ибо, кроме выгоды, ничего иного они от сего не получили. Не все люди одинаковы... И бог не ко всем расположен одинаково. С мордвою и чувашами будет только единое затруднение: нет у них князей и дворянства... Беднота и простота. Не с кого им примера брать в легкости приобщения к христианству... В Казани, в Сибири слово божие достигается успешнее, ибо тамошние князья, князьки и старейшины родов и племен обращаются в христианство первоочередно, служа надежным примером для бедноты... Но и тут предвидится исход. Мы добьемся обращения в православие некоторых из жрецов и зажиточных людей среди мордвы. Они явят собою спасительный пример повинновения святой православной церкви и для голытьбы. Так ли я говорю? Согласны ли вы со мною, воины церкви?!

Дружно выразили свое согласие услужливые проповедники и толмачи, подобострастно поглядывая на епископа.

— Сумеем ли одолеть это?—оглядывая их, спросил он.

— Божия сила велика, и слово всевышнего неизречимо!..— поднявшись с своего места, звонко отчеканил



рыжий старец с выпяченными губами. Одет был старец в новенький подрясник, опоясанный широким бисерным цветным поясом.

— Да будет так!— хором подхватили остальные, тоже вскочив с своих мест.

Сеченов, продолжая стоять, сказал:

— Садитесь и побеседуйте, а я удалюсь пока.

Но, выйдя из кельи, он никуда не ушел: остался около двери, плотно приложив свое архиерейское ухо к дверной щели. Проповедники же и толмачи испустили вздохи облегчения.

Некоторое время помолчали, почесываясь и зевая.

— Мало нас!—грустно пробасил черный, волосатый толмач. За поясом его длинного нарядного кафтана торчал бумажный свиток.

— Школы нужны и здесь, дабы невинные русские младенцы изучали инородческие диалекты, а инородческие невинные младенцы—русский и словенский, и закон божий,—угрюмо сказал его сосед, задумчивый молодой, подстриженный под горшок проповедник.

— Мы еще не знаем, братцы, какова мзда в Нижегородской епархии ляжет на долю проповедников и священно-церковнослужителей, о сем епископ, по своему обычаю, умолчать изволил...—оживился рыжий старец с выпяченными губами.—Мало заботы ему о нас, грешных. Ой, настало время!

— Оно так, братцы! Не велика, видать, мзда наша на сей земле. Придется, видимо, толмачить безо всякой фальши...—оживленно откликнулся волосатый дядя.—С замерзелой деревенской мордвы много ли дани взыщешь? Казанские мурзы и торговые люди кормили нас и миловали, а мордве и самой есть нечего. Аминь!

Он грустно помотал головой.

В эту минуту как раз скрипнула дверь и довольно ясно можно было различить дыхание епископа. Ивоки и толмачи переглянулись. Поняли. Не первый раз. Замолкли, словно воды в рот набрали. Рыжий старец, однако, слащавым голоском произнес:

— Великий господин наш батюшка равноапостольный епископ — наша прочная поддержка в сем деле и наша счастливая защита...

— Истинно так!—хором грянули остальные.

Сеченов понял, что ему более уж нечего дожидаться,

помощники его догадались, что он подслушивает,— надо выходить. Молниеносно поднявшимся со своих мест клирикам он сказал:

— Бог избави нас от власти темные, и мы, рабы его, повинны просветить младшего брата нашего, следуя евангельскому духу, но не пренебрегая и правительственными указами. Они предписывают нам ездить по иноверческим селениям, жечь нечестивые жилища, крестить иноверцев и награждать их любовью. Иногда надо держаться к ним и ласку и привет, обнадеживая их государевою милостию. Споспобствуя этим обращению иноверцев в христианство, мы получаем двоякую выгоду: личную и цареву. Сим водворяем мы в инородческих местах порядок, повиновение и общерусские выгоды. Тем самым мы укрепляем и дворянскую знать. А кто же нам ближе и дороже российского дворянства?! Оно оценит и щедро вознаградит самоотверженных проповедников слова божия... О сем попечение возьму на себя я сам, ваш наставник и отец. Бедствовать не будете.

Проповедники и толмачи повеселели. Настроение переменялось.

После беседы Сеченов повел всех в кремлевский сад над Волгой. Усадил их за приготовленный ранее стол среди яблонь, пригласив приступить к священной трапезе под открытыми небесами, в добром согласии и единении между собою и в близости кремлевских святынь. Тут же были и пристава и стража.

Нижегородские иноки и бывшие келейники прежнего епископа, попрытавшись за кусты, завистливо наблюдали, как «казанские ханы» (так прозвали они приближенных нового епископа) вкушают вино вместе с его преосвященством и весело любят красотами матушки-Волги. Келейники втайне осуждали своего бывшего духовного отца и пастыря за его безутешное богомолье, за его бескорыстную преданность христовой церкви. Не так архиерействовал старик, как надо бы! Чего уж тут вздыхать и веригами бренчать? Середа да пятница человеку не указчица. Вон умные-то люди греха не боятся: грех под лавку, а сами на лавку, бражничают, сидят, да еще вместе с архиереем... Э-эх, господи, господи!.. Кого уж ты хочешь наказать, у того разом отымешь!

Вздыхали, шопотком судили-рядили,— между прочим, и облизывались, разгоревшимися глазами наблюдая за

«казанскими ханами», поедавшими жареную рыбу и кашу овсяную, и в ужасе думали: что-то теперь будет с ними, кремлевскими иноками, рабами бывшего епископа, с нижегородскими богомольцами, с крестьянами и особенно — с инородцами?! Признаки грозные... Уж не питиримовские ли времена вновь возвращаются?! Э-эх, э-эх!

### III

Наиболее ретивым из нижегородских помещиков, хлопотавших об отставке епископа Иоанна, был владетель усадьбы «Рыхловка» на Кудьме-реке — полупромышленник, полудворянин Филипп Павлович Рыхловский.

В 1721 году самим Петром Первым за успехи в промыслах ему пожалована была земля на реке Суре (земля, отторгнутая у чувашей). Двадцать лет спустя, особым указом императрицы Елизаветы Петровны, за участие в свержении с российского престола младенца Иоанна VI Антоновича и его матери Анны Леопольдовны Брауншвейгской, была пожалована земля на реке Кудьме сыну его Петру Рыхловскому, произведенному в числе некоторых солдат гвардии Преображенского полка в офицерский чин и дворянское достоинство.

Филипп Павлович немедленно же обменялся своею сурскою землей с одним дворянином на угодье при Кудьме-реке. Так он избавился от чувашей, с которыми жил в постоянной вражде. Он соединил оба жалованные угодья в единую вотчину «Рыхловку». Но... уйдя от чувашей, он попал в соседство к мордве, с которой также не ладил.

Недалеко от «Рыхловки» находилось село Терюшево. Село большое, шумное, слывшее «столицею» терюханской мордвы, расположенное на богатых землях обширнейшей вотчины царевича Грузинского Бакара Вахтангеевича. Жители Терюшева, осведомленные чувашами о разных «подвигах» Рыхловского на реке Суре, встретили нового своего соседа не особенно приветливо. Не прошло и полгода, как Филипп Павлович подал нижегородскому губернатору, князю Друцкому, жалобу на «распущенность и озорство терюханской мордвы». (Мордва, узнав об этом, послала Друцкому свою челобитную, обвиняя Рыхловского в «каменносердечии».)

Первым виновником «распушенности» мордвы Рыхловский считал епископа Иоанна, вторым — управляющего землями царевича Грузинского — князя Мельхиседека Баратаева.

«В оной вотчине, — писал Рыхловский губернатору, — господствует великое попустительство. Нет никакого смотрения за крепостною мордовою, ибо сам Бакар Вахтангеевич круглый год живет при дворе ее величества в Санкт-Петербурге, а землею его управляет человек не русский, кавказец, князь Баратаев. Будучи иноплеменником же...» (На это место своего письма Рыхловский особенно настойчиво напирал, считая, что в дни наступившего государственного гонения на немцев упрек в иноплеменности может принести ему большую выгоду.) Филипп Павлович доносил на «изрядную щедрость к крепостной мордове» князя Баратаева, причиняющую убытки не только соседям-помещикам, но и самому владельцу вотчины царевичу Бакару, которому Рыхловский также написал донос, думая, что царевич рассердится на своего управляющего и прогонит его вон из усадьбы. В письме к царевичу он обвинял князя Баратаева в непомерной гордости, закончив письмо словами: «гордость человеческая бывает причиною гибели других».

Вот почему в тот день, когда Рыхловский узнал о прибытии в Нижний епископа Димитрия Сеченова, известного ему дотоле сурового гонителя иноверцев, прославившегося по всей Волге своей новокрещенской конторой, — он решил немедленно же ехать в Нижний, повидаться с новым епископом и все ему по душам рассказать, прося защиты и покровительства в борьбе с терюханской мордовою. «Пришло наше время!» — возликовал Рыхловский.

Он убежден был, что сила на его стороне, ибо ему было хорошо известно отношение царицы к крепостным крестьянам. В июле 1742 года, — еще только вступив на престол, — новая царица уже взялась за крестьян, издав указ о том, чтобы «крестьяне от помещиков своих не бегали и о записке в военную службу не просили. Если же вздумают они уйти от помещиков, то несут жестокое наказание: биты будут кнутом и сосланы будут в работы вечно»... Выходило: насчет крепостных крестьян можно не беспокоиться. Дело ясное, но ведь у многих вотчинников кое-что имеется и в городе. Царица весьма поощряла предприимчивость помещиков.

Филипп Павлович и его соседи-дворяне, как и другие российские помещики, значительно расширили теперь свое полеводство, сбывая в Нижнем хлеб и прочее зерно. Наибольшее место в полях они старались теперь уделить льну и конопле, а на Суре усердно сводили леса, сбывая опять-таки все в городе. Кое-кто даже открыл у себя полотняные, парусные, суконные и стекольные заводы.

Филипп Павлович, разумеется, и тут пошел впереди всех. Чтобы далеко не возить свой хлеб для продажи и не расходовать на это излишних денег, он открыл у себя в вотчине два винокуренных завода (монахи соседнего Оранского монастыря надоумили). Царица Елизавета, не сочувствуя дворянам, уезжавшим из своих усадеб, поощряла оседлое дворянство. За ним, именно, и была закреплена теперь монополия винокурения. Как же еще Филиппу Павловичу после этого сидеть сложа руки? Какой другой товар найдешь, который бы такой большой спрос имел, как вино? В городе у него тоже было кое-что. Еще с петровских времен держал Филипп Павлович в Кунавине близ Нижнего железный завод. А живя на Суре, открыл в Нижнем и меховой лабаз. Скупал у охотников-чувашей, черемисов и мордвы шкурки лесных зверей и выделывал меха. Но и тут нашлись у него враги, которые мешали его нижегородским делам: немец Штейн и некрещеный еврей Гринберг.

Штейн — с давнего времени большая помеха Филиппу Павловичу в его слесарно-кузнечном заводском промысле, Гринберг — в меховой торговле. Прошлым летом Гринберг забил своею торговлею Рыхловского на Макарьевской ярмарке и получил прибыль значительно большую, нежели он, Рыхловский, и больше внимания заслужил со стороны приезжих купцов. Это ли не обидно? Он, — раб божий Филипп, человек православного вероисповедания, — бывший первой гильдии — персона, ныне дворянин, отмеченный некогда самим Петром, подарившим ему землю на реке Суре за успехи в овчарном производстве, он — русский, исконный купец — остался в хвосте у еврея! Допустимо ли это? Но и этого мало. Крестьяне села Мурашкина навезли еврею для продажи в прошлом году целые воза рукавиц, тулупов и шапок, и казна все это купила у еврея по весьма выгодной цене, обойдя его, Рыхловского, и носятся слухи, что губернатор Друцкой по неизвестной причине покровительствует Гринбергу.

(Может быть, пользуется от него тайными приношениями? Кто знает?!) Мордва и чуваша, как назло, тоже только Гринбергу и тащат звериные шкуры.

Все это не давало покоя Филиппу Павловичу.

Теперь он задумал действовать решительнее: настали удобные для него времена. Димитрий Сеченов может помочь.

«Дай господи здоровья ее императорскому величеству! — ликовав в душе Филипп Павлович. — Дело ясное: на престол вступила настоящая, истинно русская дарица, дочь великого Петра, поднявшая скипетр свой на изгнание немцев.

Об этом Рыхловский разузнал точно. Немцы отгосподствовали. Конец им! Бьют их теперь в Питере и в остроги сажают. Так и надо! Долой временщиков! О, если бы прижать теперь к стати и всех других, всяческих кровей иноверцев!.. О, как ненавидел Рыхловский меховщика еврея Гринберга! Как он презирал мордовскую орду и всех чувашских умников, досаждавших ему на Суре.

«Дикари! Сидели бы там и молчали, язычники проклятые! Питирима бы на вас наслат! Живо бы он окрестил вас всех до единого; привел бы к христианскому повиновению! А если губернатор заартачится и не бросит в тюрьму немца Штейна, и не отберет у него завода, и не сгноит в Ивановской башне Гринберга, и не усмирит на Суре и Кудьме язычников, тогда напишу сыну своему Петру в Санкт-Петербург, пускай он доложит о Друцком и о его неправде ее пресветлому величеству государыне императрице Елизавете Петровне».

Рыхловский упал на колени перед иконой, усерднейше моля бога еще и еще раз о здоровье «премудрой государыни».

«Благословением же Божиим, — думал Рыхловский, собираясь в Нижний, — столь плодovита есть нива для верных рабов и угодников его, что иногда и без тяжкого труда житницы их наполняются обилием всякого богатства».

Сказал и тихо, самодовольно рассмеялся. На дворе запряженная кибитка. О двух вещах Филипп Павлович решил не говорить Сеченову: о том, что князь Баратаев в землях царевича Грузинского требует с крепостных подать (согласно закону) только в половину их труда, то есть заставляет их работать на вотчину три дня в не-

делю, а он, Рыхловский, заставляет работать крестьян на себя пять дней в неделю.

Ведь именно за это соседняя мордва, жалея своих братьев — мордву, находившуюся в кабале у Рыхловского, и возненавидела его и поджигала его сено, а иногда, на базарах, наносила ему словами оскорбления вслух и притом при посторонних людях. Об этом разногласии с князем Баратаевым Рыхловский не хотел никому говорить... Стоит ли?

И еще о другом... Сердце, что называется, не камень, а, тем более, Филипп Павлович овдовел недавно, схоронил свою жену Степаниду Яковлевну. («Царство ей небесное, хотя и неверная была жена!») Понравилась ему теперь его же крепостная мордовская девушка Мотя, а у нее жених. Мордва и тут наострила уши. Не по нутру ей, что жениха этого Филипп Павлович распорядился сдать в рекруты. С приходом Моти словно бы случилось что-то такое особенное. Шептались по углам. Домоправительница Феоктиста Семеновна, девица средних лет, красивая, бойкая и своекорыстная, все эти дни бегала по усадьбе злая, заплаканная. Дворовые боялись попадаться ей на глаза. Баба хоть и приятная с виду, а взбалмошная. Может и ревет? Об этом тоже было немало в разные времена разговоров. Крестьяне поневоле в ноги ей ложились, особенно те, чьи дочери в услужение к нему, Рыхловскому, попадали. От него за дочерей они получали деньги и водку. И все из ее, Феоктистиных, рук. Деньги прятали, водку выпивали, а за дочь возносили господу богу молитвы. Так было. Теперь аминь! За эту девушку ни денег, ни водки. «Крепостная!» «Собственность!» Да еще к тому же и мордовка.

Лошадь подана — надо ехать. Усердно помолился Филипп Павлович в своей моленной. Подергал замки на сундуках, на шкафах и отправился в путь-дорогу.

Давно уже не бывал он в Нижнем. Захотелось посмотреть завод, лавку да навести порядки и в доме, в котором проживает тетка покойной Степаниды, семидесятилетняя старуха. Давно чешутся руки изгнать ее оттуда, да одно мешает: а вдруг в Нижний вернется сынок, Пегр Филиппович, да захочет обзавестись семьей, да детишек разведет — как тогда быть, если дом кому-нибудь внаймы сдать?! По этой, скорее всего, причине Филипп Павлович и примирился с тем, что в его доме продолжает

жить степанидина тетка, Марья Тимофеевна. Расход невелик, конечно, на нее. Живет она себе доброхотными подавниями со стороны; из кармана Филиппа Павловича ни копейки не уходит на ее прожитие. Бог с ней! На свете не без добрых людей. Помогут. А все-таки у дома есть сторож. «В честь покойной Степанидушки так уж и быть... пускай живет, старая карга!»

В кибитке Рыхловский вдруг вспомнил о том, как, бывало, провожала его в Нижний покойная жена. «Хоть и не очень меня, грешница, любила!» Он стал вспоминать, в какой они бедности жили сначала и как много трудился он для того, чтобы стать знатным и богатым человеком. Много лютости всякой пришлось испытать на своем веку.

— На одно солнце люди глядят, да не одно едят! — вздохнул удовлетворенно Рыхловский. — Слава богу, теперь ему жаловаться не на что: дом — полная чаша. Вот только бы с мордвой справиться поскорее.

Филипп Павлович с улыбкой и некоторым озорством ткнул пальцем в спину своему вознице:

— Ну, ты! Чревоугодие! Веселее!

«А жена! Бог с ней! Не успевал следить за ней... Грешница великая!»

#### IV

Верхом прискакал усатый человек. Турустана Бадаева дома не было. Ушел на охоту. Усатый приказал старику бежать в лес, отыскивать сына.

— Посижу я здесь, подожду... Живее!

Достал флягу из-за плеча, налил вина в серебряный кубок, велел подать яиц и свинины. Мать Турустана засуетилась. Усач сердился: «Долго!». Затем сказал: «В рекруты его!».

Дрожащими руками напялил старик Бадаев шапку, подпоясаясь, взял посох и отправился в путь.

Особая тишина осеннего желтолистья навела на него грустные воспоминания о прошлом, о беспросветной нужде, и жаль ему стало Турустана. Жаль, что и его родной сын должен пережить то же самое и умереть ни с чем, а может быть, и погибнуть под кнутом палача или в темнице. Мучают и убивают на деревнях русских мужиков и баб, а человека иной веры и подавно загубят. И кому



она нужна, война-то их?! Зачем она? «Чам-Пас,<sup>1</sup> помилуй нас!»

Налетевшие мысли встревожили старика: «Турустана уведут! Что делать?».

А там, позади сидит начальник, ждет, пугает старуху, грозит ей.

И крикнул он громко, насколько сил хватило: «Турустан!».

Эхо разбросало старческий голос по лесу—гулкое, услужливое эхо! Оно даже не скрасило ничего—так с отчаяньем, тоской и повторило за каждой елкой, за каждой березкой имя Турустана.

Турустан услышал отца. Через чашу помчался на его зов. Увидел—стоит седой, маленький, хилый, он, его отец и, приложив ладони ко рту, повторяет имя сына.

— Вот я!—сказал Турустан. Ему почему-то жалко стало отца.

Старик прислонился к дереву; видно, голова закружилась.

— Ты?!—спросил он, глядя в упор на сына мутными, слезящимися глазами.

— Я! Звал ты меня?

— Звал,—тихо ответил отец, лаская голову сына своей сухой рукой.—Филипп Рыхловский донес на тебя...

— Донес?!

Старик медлил... Растерянная улыбка легла на его губах. И не поймешь: плачет он или хочет засмеяться, но не может?

— Турустан,—сказал он,—уйди от нас. Дома ждет тебя горе. Мы старые, ты молодой. Нам со старухой все одно скоро умирать! Пускай пытаются. А ты спасайся, беги! Скорее!

Молодой мордвин понять не мог, что случилось. Он побледнел, задрожал.

— Отец! О чем ты говоришь?! Уж не из-за Моти ли?

Старик нахмурился:

— Слушай. Прискакал приемщик—в рекруты тебя! А того по закону не положено... Молод еще ты!

Сказал и закрыл глаза.

— Приемщик?

---

<sup>1</sup> Чам-Пас считался у языческой мордвы верховным божеством.

— Да.

Турустан понял все. Приемщик — это его *смерть*. Отец прав, — бежать, бежать в леса, в степи, на низовье, но домой идти нельзя! Рыхловский мстит... Бойтся он, что Мотя уйдет к нему, Турустану...

— А мать?!

— Иди! — махнул отец рукой и, обняв Турустана, быстро пошел прочь.

. . . . .

Осеннее небо навевает грусть. Низкое, покрытое плотными облаками, освещенными неяркими лучами заходящего солнца, оно кажется Турустану таким же израненным, как и его сердце. О чем же думает он, бездомный мордвин, провожая солнце?

Об отце? Да, отца он любит, но не то. О матери? Он любит и мать, вскормившую и вырастившую его, но и это не то.

Изболевшееся сердце загло внутри ни с чем несравнимую печаль о Моте. Ради нее он бежал от рекрутчины. Ради нее оставил отца и мать на поругание военного начальства.

— Чам-Пас, помилуй нас! Чам-Пас — верховный владыка!.. Ты велик, ты — творец вселенной, Чам-Пас!.. Взгляни на меня...

Турустан вытянулся во весь рост и простер руки к небу.

Шуршали ежи в сухой траве, кричала иволга. Кругом лесная глушь, пустота. И это хорошо! Не надо людей. Страшно! Турустан боится их, дрожит при мысли встретить человека.

— О ты, Нишкенде-Тевтярь! Ты — богиня судьбы, взгляни на меня!.. О Чам-Пас, зачем ты создал мордву?!

Еловые лапы загораживали небо, дерзкие, густые, колючие. Птица смолкла. Зеленые иглы укололи лицо, точно в наказание за грешные мысли.

— Нишкенде-Тевтярь!.. Погибну ли я? Ответ же, наконец?

Турустан начал молиться, боязливо озираясь по сторонам. Не подглядывает ли кто? Нет ли поблизости попа Ивана Макеева, который крестил его, Турустана, силою и угрозами?.. И теперь Турустан растерялся. Он молился и богу христиан и своим богам. Да разве один он? Многих сбивали православные попы, и Турустан маливался

«Христосику», «Христосиковой матушке», «дедушке Ил-каше», «Егорию храбрému», «Фролу и Лавру», но не забывал он и всемогущего Чам-Паса, не забывал и богиню-мать Анге-Патяй... А как же он мог забыть заступницу в несчастях, богиню судьбы — Нишкенде-Тевтярь, — деву Нишке? И разве мог он сравнить своих богов с христианскими? Эти — свои, те — чужие. Но он молился тем и другим. Кто-нибудь из них и услышит его — поможет ему.

И поэтому вынул из-за пазухи деревянную икону, снял ее с шеи и повесил на сук. Опустившись на колени, неловко и долго складывал три перста для молитвы:

— Восподь Салаох<sup>1</sup>, помилуй нас... — с трудом читал он молитву по-русски.

Русскому богу нельзя было молиться по-мордовски — не захочет бог слушать. Не поможет.

Турустан боится икон. В них чудится ему какая-то сокрушительная, уничтожающая сила. Как же не молиться им? Многие из его односельчан с большою готовностью понесли бы в жертву иконам заколотых баранов и быков, если бы попы не запрещали этого. Но они почему-то не велят, не дают совершать в церквах жертвоприношений. Они любят, чтобы быков и баранов отводили к ним на двор.

Поп Иван везде бродит и везде слышит, и много у него соглядатаев. Он обложил мордву в Березниках годовую податью в свою пользу по несколько пудов зернового хлеба. За каждое венчание и погребение он брал барана или овцу... Брал он и медом, и рыбой, и зверьем, и мехами... У него большие руки и желтые грязные ногти... У него алчные глаза и лошадиные зубы...

— Почему же ты позволяешь обижать наш народ? — подумал Турустан, но он не мог, как другие, когда они были недовольны богом, — бить икону, стегать ее прутьями, топтать ногами.

Щеки парня загорелись, глаза почернели от дум, и прошептал он с горечью:

— Шайтан! Уйди! Не мешай русскому богу помочь мне!

Тут вспомнил он о похитителе своей невесты. Пальцы судорожно сжались в кулаки. О, если бы этот злодей попался теперь ему! Он изрубил бы его в куски, он

---

<sup>1</sup> Господь Саваоф.

повесил бы его на осине, как битую змею. «Мотя! Мотя! Отрави его!»

Бессильно опустился Турустан на пень. Что делать? Куда идти? Его соплеменники сильнее его. Не желая ссориться с начальством, они умеют переносить кабалу со всею покорностью, молча терпеть, не теряя, однако, своего достоинства. Низко кланяются они только управляющему землями царевича Грузинского князю Мельхиседеку Баратаеву. Они совсем не кланяются настоятелю Оранского монастыря игумену Феодориту, молча подчиняются приставам и бурмистрам. Они много молчат и много думают. Иногда сами они бывают похожи на деревянных богов.

Но почему же их преследуют?

Почему их жены и девушки подвергаются обидам со стороны бояр?

Почему попы, слуги доброго христианского бога, на стороне врагов мордвы?

В то время, когда Турустан размышлял об этом, по лесу разнесся шум. В проселке скрипела колесами кибитка. Фыркали лошади, стучали копыта.

Турустан притаился.

Ехал он, Рыхловский... Сразу узнал Турустан по кибитке, по лошадям и по кучеру Кузьме, который лихо подстегивал коней. А вот и надутое, противное лицо Рыхловского. Он увидал мордвина, хотя тот и прятался в кустах.

И вдруг что-то случилось с Турустаном такое, чего он и сам не ожидал. Он выбежал на дорогу, натянул лук и пустил стрелу в кибитку. Кони шарахнулись в сторону. Филипп Павлович от испуга и негодования закричал на весь лес. Стрела воткнулась рядом с его лицом в кожу кибитки.

Турустан пропал в чаще. Он долго слышал шум и крики со стороны дороги, удивляясь сам себе: как так могло получиться, что он пустил стрелу?

— Чам-Пас! Чам-Пас! Творец всесильный!.. Я ли это?

Старик Бадаев вернулся домой один. Он сказал, что не нашел сына, а поздно вечером военный, обнажив саблю, отвел его вместе со старухой в терюшевскую приказную избу, заковал в цепи и приставил караульных.

Терюхане смотрели на все это из своих изб неподвижными, помутневшими глазами. Даже детишки притихли в испуге.

Филипп Павлович приехал в Нижний поздно вечером. Прежде чем войти к себе в дом, он долго рассматривал через ставни, что делается там внутри. «Вот тоже,—думал он с досадой о тетке Марье,—человеку счастье! Ей богу! Живет себе и знать ничего не хочет: и стены, и кров, и дрова — все готовое! Хоть бы денек мне этак, без заботы, пожить!»

Нечего греха таить, любил человек позавидовать! Завидуя, он испытывал особое удовольствие. Ему приятно было упрекать себя: «Вот смотри, как люди! А ты ротозейничаешь!».

В этот вечер зависть его к старушечьей беззаботной жизни перешла в шутивное настроение. Он вдруг почувствовал жалость к убогой охранительнице его нижегородского владения, и эта жалость тоже доставила ему удовольствие.

Крикнув вознице, чтобы тот убрал коня, он торопливо вбежал по лестнице в сени. Постучал. Его окликнули.

— Отворяй, Марья Тимофеевна, разбойник к тебе появился... Сейчас зарежет тебя!.. — пошутил он. Однако шутивость его разом пропала, когда он услышал чей-то храп в сенях.

Старуха притихла. Видимо, задумалась. Он стал сердиться.

— Чего же ты? Просвирия! Неужто и взаправду испугалась? Отворяй!

— Ты, что ли, там, Филипп Павлович?

— Кто же еще другой осмелится в мой дом заявиться?!

— То-то, то-то, батюшка!.. — залепетала старуха, распахивая дверь и низко кланяясь. — Здоров ли ты, государь мой, Филипп Павлович?! Не устал ли с дороги, сокол наш?

— Кто это в сенях, показалось мне, будто бы, храпит?

— Человек тут с низу, с берегов, пришел один... Попросился, Христа ради, переночевать — я и положила его в сенях... Бог с ним!

— Ну, вот видишь, хозяйничаешь без меня, а я ничего и не знаю... — проворчал Рыхловский — неровен час, этак ты и лихого человека приютишь в моем доме... на грех меня наведешь. Что глазами-то моргаешь, убогая?! Что?!

Старуха оправдывалась:

— Человек, видать, степенный, богобоязненный и непьющий... Деньги — все сидел тут — считал.

— Деньги?

— Да.

— Много?

— Ой, батюшка!.. Целая куча!.. И не сосчитать.

— Ну, тогда ладно... Пускай почивает... Зря ты его в дом не позвала. Право, зря. Таких людей опасаться нечего... Кто он? Купец, что ли, какой? А?

— Подрядчик с низов. Соль Строганову своими бурлаками привел...

— Соль?! Ах ты, милая моя тетушка!.. Ах ты, золото мое! К делу я, стало быть, прибыл! К делу! — обрадованно потирал руки Филипп Павлович. — Купить мне надо бы сольцы-то себе в лабаз... Знает ли еще кто о соли-то?

— Меховщик дедушка... с Похвалы... уж приходил он сюда... да от немца прибегал раза два приказчик... Народу тут всякого было!.. Все его спрашивали!.. Истомились о соли-то...

— Да как же это ты допустила, чтобы в мой дом нехристи шлялись? А? Да как же ты смела?

Старушка в слезы. Любопытство Рыхловского, однако, взяло верх над гневом.

— Да ладно! Не реви. А он что им говорил?! — смягчившись, дернул ее за платок Рыхловский.

— Не мое дело, говорит... Толкуйте с самим, со Строгановым... Я — говорит — человек наемный... бестоварный.

Филипп Павлович насупился.

— Разбуди, сходи... Дай-ка я его с дороги-то угощу...

Старуха исчезла в сенях.

Рыхловский полез к себе в сундук и достал оттуда фарфоровый жбан с вином. Засуетился, приготовляя на столе угощение.

Вернулась тетка Марья, а за ней следом вошел и ночной гость, широкоплечий, высокий, бородатый, с хмурым лицом. В его осанке и взгляде было что-то властное, проглядывала гордость человека, высоко ставившего свое собственное достоинство. Одет он был в новый нарядный кафтан.

— Добро жаловать! — сказал Рыхловский, указывая гостю на кресло. Перед такими людьми он всегда пасовал, начинал юлить и говорить лишнее, зачастую невпопад.

Гость даже не кивнул в ответ, а принялся неторопливо и чинно молиться на икону, а помолившись, молча поклонился сначала старушке, потом Рыхловскому.

«Ишь ты!» — подумал Филипп. — «Сразу видно, что не дешетный... Бабе раньше кланяется!.. Да что-то лицо-то знакомое! Где-то видал я его!»

Дождавшись, когда сядет Рыхловский, даже как будто понуждая его к этому своим молчаливым ожиданием, бородач тоже сел за стол.

— Из каких-таких стран изволите путь держать, добрый человек?..

— С низов... С солеварен. Михаил, сын Артамонов я.

— Один или не один?

— Триста душ бурлаков у меня.

Ответив на вопросы Рыхловского, гость пристально, в упор, стал его рассматривать, чем и привел того в немалое смущение: «Бельмы весьма знакомые! Похож на одного человека! Ой, господи! До чего же напоминающий разбойника Софрона!».

Филипп Павлович отвел свой взгляд в сторону. Ему вспомнился человек, которого он своими руками ковал в питиримовской тюрьме. Было это давно — двадцать лет назад, а никогда Филипп Павлович не забудет того человека.

— Много!.. Много!.. Как только ты справляешься с таким полчищем?.. Я с сотней крепостных и то не могу управиться никак, а ты... — трескучий голос Рыхловского вдруг оборвался. Филипп нарочито закашлялся.

— Народ всякий, конечно, в моей бурлачье ватаге, но управляюсь один, в помощниках не нуждаюсь.

Сказал и могучую грудь расправил, сжал громадные кулачища.

Филипп Павлович поскорее налил по чарке вина себе и гостю, услужливо подвинул ему хлеб и грибы, а сам продолжал любопытствовать.

— Беглые, поди, поналезли?..

— От них не убережешься... Пашпорт не каждому дают, с пашпортами где же набрать?.. Бесчинно ходящих и вовлекаешь.

— Самый зловерный народ они... Это есть преступники гражданского порядка.

Рыхловский не столько от вина, сколько от волнения раскраснелся, беспокойно заерзал на месте, никак не

выдерживая холодного внимательного взгляда своего собеседника.

— А что заставляет людей бродяжить? — задумчиво произнес Михаил Артамонов.

— Гордыня, либо лень и неуважение к начальству... а то и наклонность к беспутной вольности.

Михаил Артамонов разгладил свою пышную широкую бороду и с улыбкой ответил на свой же вопрос, как бы не обратив внимания на слова Филиппа Павловича:

— Человек бывает бродягой не сразу. Первоначально сделает он какой-нибудь проступок, а затем, стыдясь сего, а к тому же и боясь наказания, покидает свое место и скрывается в степях и лесах... Бегают люди и от солдатчины и от семейных раздоров и притеснений... Запуган многий народ... Царь Ровоам в древности, по слепому пристрастию к своим вельможам, послушал их и стал управлять государством угрозами и тем навсегда расстроил свое управление, и рассеял, яко пыль под ветрами, своих подданных... То же мы наблюдаем и теперь во многих местах. Управлять рабами труднее, нежели ковать их в цепи... Управлять людьми надо с честью.

Рыхловскому показалось, что при последних своих словах великан хитро подмигнул ему. Он слушал гостя почти со страхом.

«Не раскольников ли поп какой? — подумал вдруг Рыхловский. — Будто бы, он и сочувствует бродягам и сожалеет о них?» Чтобы испытать Михаила Артамонова и показать себя преданным царице человеком, он сказал:

— Слаба власть ныне. Не радеет она чинить заслуженное наказание, бить кнутом, отдавать беглых тем господам, чьи они люди и крестьяне, не гнушаясь и пыток, ежели к тому повод имеется... Власти и вотчинники, и духовные лица, и купцы-промышленники должны действовать совокупно против поллого народа.

Бородач помолчал, но смущавшая Филиппа неприятная улыбка все-таки не сходила с его губ.

Долго просидели после этого молча. Дальше разговор не клеился. Однако перед расставанием бородач заметил Рыхловскому добродушно:

— Жалуй утром на пристань и погляди, как подлые у меня работают... Боятся ли и слушают ли они меня, — сам увидишь!

.....



«Соль привезли!» Это известие распространилось в несколько часов по Нижнему и окрестностям.

Утром со всех концов сбежались нижегородцы на набережную. Бегут — один другого перегоняют. Солдаты, монахи, рабочий люд, босоножье и полицейские — все пожаловали на рейд. Ругань, стоны, свист, песни, лай, матерщина, крик баб — все это ворвалось в тишину утра оглушительным потоком всяческих звуков, напоминая тем самым посадскую тревогу, какая бывает при ночных пожарах. Солнце уже поднялось из заволжских лесов и обливало янтарным медом дерево мачт, палуб стоящих на якоре судов, белели ярко кремлевские стены, горели золотом главы соборов и церквей. Кругом бодрость и веселье. Даже гудошники, не в пример обыкновению, настроились на плясовой лад.

А сбежались на Волгу люди потому, что с низов, наконец, прибыли долгожданные соляные караваны. На пристани находился сам губернатор Друцкой, а с ним рядом стояли тайный советник Александр и действительный камергер Сергей Строгановы — именитые российские соле-промышленники, нижегородские богачи! Они, конечно, были веселее всех и оживленно беседовали с губернатором. Тут же, немного в стороне, дремал седой, как лунь, громоздкий, тепло одетый, глава местного купечества бургомистр Олисов. Строгановы красовались на солнце своими ярко расшитыми камзолами и зелеными бархатными треуголками, кружевами, парчевыми лентами.

Наконец-то исполнилось их желание! Наконец-то соляные суда прибыли в Нижний, в этот главный складочный пункт, где хранили волжскую соль! Недаром Нижний прозвали повсеместно «Соль-городом». Было много дождей летом, и теперь вода в реке поднялась, прибыла настолько, что удалось провести многие суда с солью и другими товарами, застрявшие на низах. Российские города сидят без соли. Нужду в ней великую терпят и Москва и Санкт-Петербург, а соль на Волге — ни туда, ни сюда. Как же теперь не радоваться?!

Во время разговоров Друцкого с Александром Григорьевичем Строгановым к ним подошел крестьянин-лапотник.

— Ваше пресветлое величество!.. — И он поклонился губернатору в ноги. — Терпим мы по деревням бедственную нужду за недостатком солей. Крестьяне таких сил и гордыни не имеют, чтобы бороться с посадскими разночинцами

у соляных лавок и складов, а нам соли никто не дает, а на деревнях продают те же разnochинцы втридорога...

— О порядке отпуска соли крестьянам и другим подлым людям мною послана промемория в Сенат. Сиди и жди.

Губернатор сердито ткнул челобитчика тростью в плечо; тот вздрогнул, еще раз до земли поклонился Друдкому и быстрехонько исчез в толпе.

Посадские торгаши не зря в эту ночь страдали бессонницей. Многие из них солидно обогащались, скупая соль тут же на пристани у строгановских приказчиков — сколько кому хотелось — и затем продавая ее во много раз дороже по заволжским лесным деревням и починкам. Мужик жаловался губернатору не без причины.

Соль сильно таяла по дороге с низов в Москву и Питер. Особенно она оседала в Нижнем и ближних к нему городах. Когда Александру Строганову в Сенате сделали выговор, он заявил, что за провоз соли от Нижнего до Москвы подрядчики требуют по пяти с половиной копеек с пуда, а правительство разрешало на всякие расходы тратить лишь три с половиной копейки на пуд. Поневоле приходится ее продавать в Нижнем. Сенат на это заявление Строгановых отмахивался. В результате — ничего не изменилось.

И теперь Александр Григорьевич для приличия пожаловался губернатору на то же самое.

— В прежние времена, — говорил он, — было много легче, ибо казна высылала нам рабочих из разных областей принудительно, а ныне сей выгодный обычай заменен вольными подрядами — от этого и пошли у нас в соляном деле великие расстрои, и, кроме убытка, нам оно ничего не приносит.

Друдкой нахмурился. Надоело князю слушать всяческие жалобы. Жалуются ему крестьяне, жалуются дворяне, жалуются купцы, жалуются монахи и попы, — а на что и на кого жалуются? И что может сделать для них губернатор? У самого голова кругом идет от всей этой государственной неурядицы последних лет. Не успеешь присягнуть одному царю, как на престоле оказывается новый царь. А новый дарь — и новые вельможи, а новые вельможи — и новые порядки. Разве может в этом разобраться губернатор?

На мостках, переброшенных с баржи на берег, чинно

прохаживался Михаил Артамонов, властно покрикивая на рабочих людей, выгружавших соль. Бросались в глаза его высокая грудь и красивая поступь. Одет он был в новенький кафтан и подвязан бухарским кушаком. Сапоги тоже были шиты цветным шелком по-восточному. Бурлаки чутко прислушивались к его покрикиванию. Работа спорилась, как нельзя лучше.

Затем он стал рассчитываться с приказчиками соляного строгановского склада. Деньги обильно посыпались ему в руки, но он равнодушно и даже небрежно совал их в карманы, продолжая сурово, искоса поглядывать на рабочих.

Наблюдая эту картину, Строганов принялся расхваливать губернатору подрядчика. Хвалит и нахвалиться не может.

— Подобный вожак только и способен управлять этим сбродом. Сильный он и домовитый. И говорить он умеет по-татарски, и по-калмыцки, и по-украински, и на других языках. Богомольник и трезвенник. Спуска не дает никому. А какой расторопный! Глядите!

Подошедший в это время к губернатору Филипп Рыхловский поздоровался с ним и Строгановыми, тотчас же прислушавшись к их разговору.

По прошествии некоторого времени, учтив минуту, он подобрался к своему ночному гостю и тихо сказал ему: «Губернатор и Строгановы хвалят тебя — не нахвалятся». Сказал, думая угодить своими словами бородатому, а тот даже не обратил внимания на него, продолжая покрикивать на своих людей, чтобы не мешкали, скорее бы кончали работу, поменьше бы между собою гуторили.

Филипп, сконфуженный, подошел к Друцкому и спросил позволения навестить его и побеседовать с ним по важному делу у него на-дому. Друцкой снисходительно ответил: «Заходи».

Волга была тиха и зелена, особенно зеленой казалась она в прогалинах между судами, — здесь, на камнях и бревнах лазали и прыгали ребятишки, возбужденные солнцем и прибрежною суетою. В глубине мелькали серебристые косяки плотвы.

К концу работы пришел священник с прочими клириками и стал служить молебен. Все присутствующие явились свидетелями того, с каким благоговейным усердием отбивали поклоны подрядчик и собранные им на низах люди. Даже иноверцы и те сняли шапки и кланялись иконам.

Строгановы так умилились этому, что не замедлили милостиво пригласить богомольного подрядчика, вместе с его десятниками, в свой дом на Рождественской улице — к ужину.

Однако... когда настал вечер и когда строгановские люди прибежали на берег, чтобы по приказу хозяина привести подрядчика и десятников в строгановский дом, — они там никого не нашли, а сидевшие у костра древние калики переходные загадочно заявили: «Не найдете вы их теперь, родимые! Утекла братчина на многих стругах и на лошадях вниз по Волге богатырствовать... Подайте, Христа ради!».

Не поняв ничего, почесали посланцы Строганова затылки и побрели во-свояси докладывать хозяину об исчезновении приглашенных.

Стало тихо на набережной. Сумрак окутал растянувшиеся по берегу Оки на протяжении трех верст от ее устья строгановские соляные склады. Для охраны сорока складских корпусов из кремля прибыли команды солдат. Вспыхнули один за другим костры поодаль от строений. На Похвалинскую гору, поблизости, сползлись обыватели, — судили, редили, прикидывали в уме — сколько кто дохода получит из них от перепродажи соли, а неуспевшие ее набрать утром на пристани вздыхали, глядя на часовых, облепивших соляные амбары. Эти обвиняли в алчности счастливых обладателей соли. Больше всех ругали, по обычаю, немца Штейна, которому удалось охватить самый крупный куш «Давно бы его, сукиного сына, в острог запрятать, дракона ненасытного!»

Рыхловский, хотя и не остался в обиде, но все же долго не мог уснуть, сгорая от зависти к Штейну: «Ухитрился-таки, сатана! Мне всегда хуже всех. О, господи!».

На Кунавинской стороне берега уже не стало видно, повис мрак, а нижегородские торгаши все еще продолжали судачить и браниться. Слово «соль» не сходило у них с языка. Страсть к наживе помутила мозги.

## VI

Михаиле Ларионовичу Воронцову доложили, что ее императорское величество соизволила указать взнесть из имеющейся в коллегии иностранных дел мягкой рухляди в

комнату свою один мех лисий душчатый черный в семьсот рублей...

Михайла Ларионович, ввиду «множества воров», велел дежурному по караулу итти вместе с посыльщиками коллегии — переводчиком Федором Бехтеевым и расходчиком регистратором Иваном Артемьевым — охранять меха.

Во дворце их встретил метр-де-гардероб Чулков, который и доложил царице о прибытии мехов. Елизавета Петровна, высокая, красивая, хорошо сложенная, быстрыми шагами вышла в колоннаду.

Бехтеев и Артемьев опустились на колено, а команда отдала честь.

Елизавета Петровна была в зеленом тафтяном пышном платье. Всплеснув руками, она с удовольствием стала рассматривать меха, а затем сказала Чулкову, чтобы он отнес их в гардероб.

Проводив глазами своего слугу, она подошла к офицеру:

— Желательное нам знать фамилию твою, начальник.

— Петр, сын Филиппов, Рыхловский.

— И еще желательное, чтобы ты же привез нам из коллегии имеющиеся там соболя, лису и прочую меховую рухлядь.

— Слушаю, ваше величество... — отчеканил Петр.

Приказание царицы было исполнено в точности.

Граф Воронцов с грустью погладил последние меха, хранившиеся в коллегии для поднесения подарков иностранным посланникам, уложил их в корзину и приказал отнести во дворец. Счет их был объявлен для проверки Петру Рыхловскому. Соболей шестьдесят девять мехов, ценою в двадцать семь тысяч триста восемьдесят рублей и лисьих восемь — в триста сорок один рубль.

Меха, так же как и накануне, были встречены Чулковым. А затем опять в колоннаду вышла царица. Платье в этот раз на ней было кисейное, легкое, белое, с глубокими вырезами на груди и спине. Руки ее были обнажены до плеч. И вся она показалась Рыхловскому какою-то воздушною, прозрачною. Совсем не такая, как вчера. Царица ласково и снисходительно улыбалась. Петр вытянулся во фронт. Царица сказала: «вольно!». От нее пахло душистым маслом. Задала несколько вопросов: где служит, кто его начальник, сколько ему лет, кто его отец, где родина, а узнав, что Петр из Нижнего Новгорода, стала рас-

спрашивать о нижегородских соборах, монастырях и других святынях, сказав:

— Пастырь добрый, велеумный и заботливый мною ныне назначен туда епископом — Димитрий Сеченов... — И вдруг спросила:

— Тверд ли ты в вере? Ходишь ли в храм?

Петр Рыхловский ответил, что, будучи хотя и маленьким и ничтожным, но все же являясь творением божим, он не может колебаться в своей вере.

На это царица заметила:

— Оные мудрые слова от молодого человека слушать небезудивительно. Достоит тебе вечерню отбывать в нашей дворцовой церкви. А умеешь ли танцевать менуэты и прочие французские грации?

Петр ответил тихо и сконфуженно, что он не умеет танцевать.

— А «комаринского»?

Петр, не понимая — шутит царица или серьезно говорит, — неловко ухмыльнулся и утвердительно кивнул головой.

Царица рассмеялась.

Елизавета Петровна оставила поручика во дворце до вечера, продержав его при себе, в своей опочивальне, а затем в сопровождении Петра и двух пажей отправилась к вечерне, в свою дворцовую церковь.

На следующий день вышел приказ о прикомандировании поручика Петра Рыхловского к дворцовой охране.

Рыхловский не на шутку испугался того, что с ним накануне произошло. Дисциплинированный солдат, избалованное дитя деревни и казармы, и вдруг... сама царица! Не во сне ли? Жутко в этой мертвой тишине под высокими сводами дворца. Холодно и неуютно среди громадных комнат и коридоров. Он не знал, куда деваться от страха и тоски на другой день после того, что произошло у него с царицей. Ему казалось, — он сходит с ума...

Но разве *это* было? Разве *это* не сон?

Царица назначила к нему некоего француза — обучать его танцам. Неловок был Петр, туго поддавался науке, но... ничего не поделаешь — пришлось приседать, скакать и кружиться под дикие крики француза. Да, кроме того, царица приставила к нему какую-то старуху, Марью Ивановну, для услуг и надзора.

Особым указом по двору Петр Рыхловский был зачислен

на «всякое дворцовое довольство» и даже внесен в ведомость по отпуску «к поставцу<sup>1</sup> ее величества». На его долю в день полагалось полкружки водки и три кружки пива. (Больше всех питья уходило на духовника царицы протопресвитера Дубянского: полкружки водки, полкружки вина и шесть кружек пива ежедневно.)

Питейная норма сильно смутила Рыхловского. К поставцу самой царицы и ее гостей, в число которых уже два раза попадал и он, Рыхловский, подавалась водка десятками кружек и вино множеством ведер.

Царица пила вино и водку в одном порционном с духовником. Усердно, уговорами, заставляла она пить и своих вельмож, а часто и насильно, против желания их, при общем хохоте окружающих.

Придворный музыкант Штроус жаловался Рыхловскому, что Елизавета Петровна, будучи цесаревной, во времена Анны Иоанновны, получала себе к поставцу в треть года только сто семь ведер и пять кружек водки и отдельно шестьдесят семь ведер для своих служащих. Кроме того для себя и гостей, «опричь поставца», вина сто пять ведер и пять кружек с четвертью и пива — тысячу пятьдесят четыре ведра, а всего со служащими — две тысячи сто пятьдесят два ведра и шесть кружек. Штроус вздыхал, говоря, что «Анна Иоанновна сама пила зело много, а царевну сильно притесняла».

Чудным все это показалось неизбалованному, выросшему в строгих правилах трезвости и постоянных расчетов сыну скупого Филиппа Павловича. Правда, немало видывал он среди купцов и посадских обывателей пьянства в Нижнем Новгороде, — но не такого.

Нелегко было провинциалу Петру Рыхловскому привыкать к дворцовым порядкам. Каждый день, каждый час его поражали все новые и новые вещи. Он видел пьяных вельмож, валяющихся на полу, и шутов, сидящих на них верхом, видел пляшущих вприсядку монахов и генералов, полураздетых, похожих на ведьм старух.

А после того, что он услышал однажды из уст самой захмелевшей царицы, когда она рассердилась на своего гоф-фурьера Пимена Лялина, он, Петр, целую ночь не мог заснуть. Его бросало то в жар, то в холод при мысли, что это сказала царица!

---

<sup>1</sup> Поставец — стол.

При девушках и кавалерах она обругала Лялина такими словами, которые и в казарме считались предосудительными. И не смутилась. Осмотрела всех невинным взглядом и, как ни в чем не бывало, подошла к Рыхловскому, схватила его под руку и увлекла танцевать. Музыканты заиграли менуэт.

Что было дальше, Рыхловский плохо помнит — его тоже напоили; помнит только, что кто-то крепко целовал его, бил по щекам, на теле своем он обнаружил синяки — били его или щипали — не поймешь... На следующий день Рыхловский заметил, что при встрече с ним служители царицы стали как-то чересчур почтительно кланяться ему и с улыбками подобострастия сторонились, давали ему дорогу, а потом позади него о чем-то шептались. Царица награждала его нежными улыбками, приглашала к себе, а он всячески старался доказать царице свое усердие и преданность.

Музыкант Штроус, в хмелю, наедине и по секрету, рассказал Петру, что ударицы непрочное сердце, а может быть, она его и совсем не имеет, и богомольничает не от души: с вечера, из церкви, бежит на бал, а с бала бежит к утрени, и нередко, вопреки законам церкви, входит в алтарь, хотя женщине это не полагается. Хмельная, в бальном платье, становится к певчим и поет с ними дискантом, а потом с шумом и хохотом тянет их всех с собою во дворец... Натешившись вдоволь, велит их всех убрать из дворца... «Любит чудить, как и ее отец, славной памяти Петр великий».

Старичок Штроус качал головою и вздыхал:

— Ей верить нельзя... С одним она одно, с другим — другое... И много у нее было таких, как и ты, а где они теперь — господь ведает... Все знают, как она плакала и ласкала при своем восшествии на престол низвергнутого малютку Иоанна Антоновича, клялась не делать ему ничего дурного... А где он теперь? Спрятан далеко, не найдешь... Соперника в нем грезит. Э-эх, да что говорить! Ни огня нельзя прикрыть одеждою, ни постыдного дела — хвалою и временем. Она в золоте танцует, веселится, а царевич Иоанн обрастает шерстью и когтями, чахнет в юных летах. Она — великая грешница!

Капельмейстер Штроус, не в пример прочим немцам, удержался при дворе, как говорили — «за ветхостию жизни», но он сильно был недоволен дворцовыми порядками,



видя разлившееся по стране, в народе, недружелюбие к его соотечественникам-немцам. К Рыхловскому он почувствовал почему-то особое расположение и доверие. Может быть, тому причиною послужило то, что этот молодой поручик, недавно появившийся при дворе, как-то раз защитил на площади от разъяренной толпы двух офицеров немцев.

По двору забежали сплетники и сплетницы. Необыкновенная суетня началась в темных коридорах.

- Рыхловский?
- Да. Петр.
- Ах! Ах! Ах! Кто он?
- Лейб-компанец...
- Большой?
- Здоровенный... Кровь с молоком.
- Красивый?
- Цыган! Ну, прямо цыган! Курчавый!
- А Разумовский?..
- Тоже.
- Что тоже?
- И его любит. Нарышкина уступила его дарице.
- Как же это так?
- Господь бог их ведает!
- Чей хоть он, новый-то?
- Нижегородский.
- Надолго ли?! Любимцы наших дариц похожи на сосуды с вином. Как скоро их опорожнят, так и бросают.
- Разумовского выбросить нелегко.
- Разумовский — настоящий орел.
- А этот?
- Тоже. Сама, как увидела, так...
- Во дворце более занимаются делами любовными, нежели государственными... Господи, батюшка наш! Что-то будет?!
- Ласкателей много, — вот что!
- Значит, не долговечен. А где Разумовский?
- На отдыхе. В Царском Селе пирует с братом Кириллом. Приехали к нему хохлы...

Петр Рыхловский стал «притчею во языцех».

Недавно на набережной Невы он встретил своего старого друга Юрия Грюнштейна, который был под хмельком.

—Трудно ходить в генералах!—усмешливо сказал Юрий.—Но еще труднее быть фаворитом у царицы... Сочувствую!

Петр испуганно осмотрелся кругом.

—Ничего,—успокоил его Грюнштейн.—Уж на меня-то не донесут... Меня от дворца и так оттерли...

Петр крепко сжал ему руку:

—Иди.

Грюнштейн и Петр, расставаясь, обнялись по-братски. Когда-то под командой Грюнштейна Рыхловский, в числе других преображенцев, участвовал в аресте Анны Леопольдовны с сыном и в возведении на престол Елизаветы. В те поры он и сдружился с Грюнштейном, которого царица высоко ценила за расторопность, проявленную в ту ноябрьскую ночь свержения Брауншвейгов...

## VII

Елизавета Петровна, очутившись на престоле, дала торжественное обещание — быть истинно русской царицей. Она не раз показывалась народу одетою в красочный сарафан, который, кстати сказать, способствовал «немалому приукрашению ее внешности».

— Будем думать только о том, чтобы сделать наше отечество счастливым, во что бы то ни стало! Повторяю вам свою клятву — ни разу, ни при каких обстоятельствах, не подписывать никому смертного приговора. Я хочу счастья и благоденствия народу.

Возведенному на эшафот бывшему канцлеру Остерману, в тот момент, когда палач занес над его головой топор, было объявлено помилование: вместо отсечения головы — вечная ссылка. Были сосланы на север и фельдмаршал Миних и обер-гофмаршал Левенвольд.

В Санкт-Петербурге началась новая жизнь. Русское дворянство ликовало. После бироновщины и владычества немецких вельмож слава новой царицы пронеслась по всей стране. Дворяне, пользуясь ненавистью простого народа к немецким капралам, к их сыщикам, наводнявшим Россию, к их палачам, разжигали эту ненависть еще сильнее в народе.

Питерские гвардейцы открыто пошли против немцев, своих начальников, приближенных ко двору. Они ненави-

дели их, ненавидели за то, что немецкие начальники обратили солдатскую службу в беспросветное рабство, и за то, что по милости немецких сборщиков налогов крестьяне пухнут в деревнях с голоду и чахнут от барского произвола, и за то, что появились в народе многие болезни. Наконец, ненавидели за проклятую, ненужную никому войну со шведами, в которую опять-таки втянули Россию немцы.

Однажды, на Адмиралтейской площади в Петербурге, солдаты подняли настоящий бунт. Пошли на своих командиров-немцев со штыками. Елизавета, помня клятву, данную ею в момент восшествия на престол, «милостиво приговорила» четырех главных зачинщиков сослать в сибирскую тайгу, отрубив им по одной руке, на вечные работы, а остальных разослать по дальним гарнизонам.

Дипломаты с горечью писали своим дворам: «настало время русской народности», «плотно окружили престол Елисавет русские люди», «русское проникает и явными и незримыми путями во все дела».

. . . . .

Когда Филипп Павлович степенно пожаловал к епископу Сеченову и, помолившись на божницу, принял архиерейское благословение и стал выкладывать перед епископом свои жалобы на мордву, на немца Штейна и на еврея Гринберга, он немедленно удостоился трехкратного горячего лобызания его преосвященства. Рыхловский от неожиданности растерялся, сразу лишившись красноречия. Но... к чему красноречие?! Епископ и так все понял, с первого слова. Он сразу увидел в лице Филиппа Павловича вернейшего союзника своего в борьбе с иноверцами.

А потому и сказал:

— Человек я в Нижнем — новый... И не могу обрести столь мудрых слов, чтобы выразить свою радость нашей встрече... У калмыков я слышал буддийское изречение: «ом-ма-ни-пад-мэ-хом!». Называется это — «шесть парамит»: благотворительность, обеты, ревность, терпение, созерцание и премудрость... Оные шесть парамит нужно усвоить и моим богомольцам... Благотворительствуйте, строго соблюдайте свои обеты, данные отцам церкви, ревнуйте православию, будьте терпеливы в неудачах, созерцайте прекрасное и никогда не теряйте разума. Если вы, дворяне, будете таковы, — легко и церкви вступать во всякую брань с язычеством и неверием.

Филипп Павлович, слушая Сеченова, многого не понимал из того, что тот говорил. Епископ произнес еще несколько татарских изречений, в которых осуждалось плотугодие и сребролюбие, равнодушие к делам общественным и себялюбие. Произнося по-татарски, он потом переводил их на русский язык и объяснял Рыхловскому смысл.

— Привык я говорить с инородцами на их собственных языках и многое нахожу у них мудрым и достойным внимания, и не считаю грехом напоминать некоторые мысли буддийцев и мухаметан православным христианам... Скорблю я жестоко, что незнаком с мордовским и чувашским диалектами, однако, не теряю надежды научиться и этому, ибо какой же я буду полководец, ежели я, победив врагов, не сумею на их родном языке учить их подчинению властям и церкви? Через толмачей может ли пастырь внедрить к себе подобающее уважение и близость?!

А какое дело было до всего этого Филиппу Павловичу, думавшему всецело только о том, как бы покрепче забрать в руки крепостную мордву, обезопасить себя от ее мести, да сжить со света Штейна и Гринберга, да приумножить за их счет свое богатство?!

Утомленный беседою с епископом, Филипп Павлович, приехав к губернатору Даниилу Андреевичу Друцкому, сразу же заявил: не пора ли закрыть, либо отобрать завод у немца Штейна в Кунавине, и не заняться ли торговцем мехами евреем Гринбергом, ибо человек слишком заметно богатеть начинает. Рыхловский заметил, что ныне царица «за таких людей» заступаться не станет.

Филипп даже покраснел от крайнего напряжения ума.

Друдкой встал, шумно отодвинул кресло, с раскрытыми для объятия руками подошел к Филиппу, громко, взволнованно проговорил:

— Филипп Павлович, дружище, дай обнять тебя!.. Вижу в тебе и сметливость и усердие великое.

Друдкой облобызал смущенного княжескою нежностью гостя.

— А за мужественного сына твоего я и вовсе премного доволен.

Рыхловский не понимал — в чем дело? («Чего это они меня все обнимают?») Губернатор, усаживаясь против него, произнес загадочно:

— Будет притворяться! Ведь знаешь!

— Да о чем?

— Из Петербурга приехал воевода... Рассказывал... Ма-  
тушка-императрица zelo похвально отозвались о твоём  
сыне в присутствии многих вельмож... А это... — Дружкой  
многозначительно рассмеялся, потом с озорноватой усмеш-  
кой погрозился на Филиппа пальцем. Его пухлые, немного  
обвисшие щеки запрыгали, глаза увлажнились слезами.

Филипп сидел сам не свой. Наконец-то до него дошел  
истинный смысл сказанного губернатором. Рыхловский слов-  
но оцепенел от восторга. Ему хотелось реветь от радости.

— Спасибо на дивном слове! — проговорил он невинно  
от душивших его слез. — Спасибо.

— Так вот, Филипп Павлович, какие дела, а ты насчет  
Штейна да Гринберга...

Оба вынули из кармана платки и стали вытирать слезы.

Однако, этот прилив восторга быстро сменился чувст-  
вом тревоги, и Рыхловскому стало казаться даже в тоне  
губернатора что-то фальшивое. Стал очень подозрителен  
к старости Рыхловский.

«Нет ли тут какого обмана? Не замазывает ли мне гла-  
за губернатор? Не подкуплен ли он Штейном и Гринбер-  
гом? Многие генералы не брезгают какими угодно день-  
гами». Рыхловский это знает по личному опыту: мало ли  
приходилось на своем веку подкупать начальство?!

Он решил попытать губернатора.

— Ваше сиятельство, может ли то быть, чтобы царское  
величество обратила свое особое внимание на ничего не  
значащего человека, моего сына?

— Чего царицею не сказано, того не скажу и я. Запо-  
мни! Ты у врат счастья!.. Бог вас не забывает, царица об-  
жалует щедро. Жди!

Филипп встал и низко поклонился.

— Еще раз кланяюсь за добрые вести! — сел весь крас-  
ный, довольный. (Шутка ли! Сам губернатор старается его  
уверить в государыниной милости к его сыну.) Однако,  
вопрос о Штейне и Гринберге еще не решен.

— Ну, как же насчет этих двух? Я не один. Все купе-  
чество наше нижегородское в моем лице бьет челом вам  
о том же. Не пристало нам ныне иметь в своем православ-  
ном граде немчина и еврея.

Губернатор задумался. Потом, покачав головою, сказал:

— Штейн — прусский подданный, и губернатор не имеет  
власти над ним... В войне с Пруссией мы не состоим, а  
единственно только руки ее хотим отвести от России.

— Вы, ваше сиятельство, должны вникнуть в род нашего купечества, в суть взаимной друг другу нашей между собою помощи. Притворяясь, яко нищий, Гринберг сильным капиталом обладает при посредстве иноземцев и заодно с Штейном причиняет немалый вред и убыток русскому нижегородскому купечеству. Падает и благонравие в торговле, ибо где русское исконное купечество, — там и благонравие, а где его нет, — там гибель общества.

Говорил Филипп Павлович храбро, твердым голосом, горя желанием доказать губернатору правильность своих суждений и время от времени прибавляя: «а там дело вашего сиятельства, как постановите, так и будет».

Дружкой мечтательно пускал дым, поглядывая куда-то вверх, в угол. Вдруг, как бы очнувшись, сказал:

— Не подумай, что я за них. Нет! И Гринберга я не пощажу. Увидишь. Но я сердит и на дворян и на тебя. Жалуетесь на мордву, а переселению их иногда мешаете. На кунавинском заводе хотел взять кузнеца-мордвина по твоей же просьбе и отослать его на поселение в Яидские степи, а ты — напятую. И от рекрутской квитанции отказался за него... Не лучше тебя и другие: кричат, жалуются, а начнешь изымать человека для отсылки на поселение в степи или Сибирь, сами же начинают мешать...

Филипп Павлович попробовал оправдываться. Он уверял, что помянутый кузнец — нужный человек на заводе и что без него никак нельзя обойтись. Вот почему он и отказался от рекрутской квитанции и не отпустил кузнеца с завода, хотя сам и жаловался на его непокорный нрав.

— То-то и есть! — нахмурился Дружкой. — Я сам дворянин, но никогда я ради своей выгоды не оставляю у себя непокорного раба. Дворянская честь превыше всяких сокровищ.

Филиппу Павловичу показалось, что Дружкой смотрит на него презрительно. В нем втайне заговорило самолюбие, но что он мог возразить против этих слов губернатора? Да и не первый уж раз ему приходится слышать намеки, что-де он не настоящий столбовой дворянин, в большей мере он-де промышленник и торговец. «Вот почему, — думал Рыхловский, — Дружкой не так охотно идет навстречу моему челобитию об отводе в тюрьму Штейна и Гринберга. Не желает мне еще большего обогащения».



— Раньше дворянин,— сказал Друцкой,— мечтал лишь о ратных подвигах, доблестях и защите родины, а ныне...

Друцкой пренебрежительно махнул рукой, поднявшись с своего места:

— Жди! Все они в наших руках и никуда от нас не уйдут. Но и ты будь дворянином, а не только торгашом.

Так ничего определенного в этот визит Друцкой и не сказал Рыхловскому.

## VIII

На холме появился всадник. Конь серый, в яблоках, горячий,— не стоится ему на месте—так и бьет копытом. Все жилки играют.

Турустан, удалившийся на многие версты от своей деревни, в леса, наблюдал из-за кустарника за незнакомцем. «Не воеводин ли уж гонец?» И трепетал от страха: «А если воеводин, почему кафтан старый, выгорелый? Да и шапка из невиданного здесь меха, острая, и наушники торчат в разные стороны. Таких у нас не носят». Прикрыл ладонью глаза от солнца, оглядывая окрестность. Тяжело, громко вздохнул.

«Кто же это такой? Что за человек? Посланец воеводы? Но где же его сабля, либо пистолет, либо что другое? И одежда не такая. И, к тому же, чего ради в глуши, в пустыне, появляться воеводину слуге? Чего ему тут делать? Какая тут корысть?»

Турустан сидел, затаив дыхание, и мысленно,— как всегда в испуге,— молился всем богам—и мордовским и русским: «ай, ай, помилуй нас!». Он был несказанно рад тому, что неизвестный человек его не видит. Турустан разглядывает его со всех сторон, а сам остается невидимкой.

Всадник сплюнул, достал кисет с табаком, называя коня нежными, ласковыми именами, и закурил трубку.

«Да. Да. Нездешний,— продолжал разглядывать всадника мордвин,— у нас таких и трубок нет».

Незнакомец, подымив, тихим шагом направил коня именно к тому кустарнику, за которым спрятался Турустан. Лошадиные ноги замелькали перед самым его носом.

— Чам-Пас!—в ужасе прошептал Турустан и тут же начал читать про себя молитву.

Объехав со всех сторон куст и увидев прижавшегося

к земле Турустана, незнакомец весело рассмеялся. Сильные белые зубы сразу помолодили лицо его.

— Здорово, християнин! Вылезай. Чего приплюснулся?!

Турустан в испуге стал на колени и поклонился ему земно.

— Спасай, христосик! — пролепетал он.

Всадник махнул рукой. Кольцо на пальце вспыхнуло искрой.

— Вставай, дурень! Чего трясешься?

И, немного подумав, остановил испытующий взгляд на лице Турустана:

— Чей?

— Терюшевский... Село есть такое — Терюшево. Верст сто отсюда.

— Беглый? Русский?

Турустан съежился, челюсти застучали, ответить он не смог. Боялся сказать, что беглый, боялся сказать, что мордвин.

— Не робей! Такая же птичка божия, как ты, и я сам. Не бойся. Скажи-ка мне лучше: где проехать в мордовское село Большое Сескино?

Совсем струсил мордвин, замялся.

— Смелее, отрок! Смелее!.. Свой мы.

Турустан приободрился.

— Рядышком это с моим селом...

И он рассказал о том, что бежал от рекрутчины и теперь боится вернуться к себе в родное село Терюшево, хотя и остались у него там родители, и он не знает теперь, живы ли они, — а Большое Сескино находится в нескольких верстах от Терюшева.

Тогда незнакомец спросил Турустана — знает ли он Несмеянку Кривова?

— Как не знать — знаю... В канун ухода моего из Терюшева видел я его... Приплыл снизу он, с солью... Да, видел.

— Как же мне проехать-то к нему? Укажи...

— Прямо по дороге так... А потом спросишь вотчину «Рыхловку»... Филиппа Рыхловского землю.

— Рыхловского? — переспросил всадник и поспешно соскочил с коня.

— Вотчина его по дороге на Кудьму-реку.

Черный человек крепко сжал плечи Турустана, тряхнул его, закрыл глаза, задумавшись. Будто вспоминал что-то. Тихо сказал:



— Милый! «Льзя ли, льзя ли с тем расстаться, век кого клялся любить?» Чего разинул рот? Подержи-ка коня... Чудак!

Из котомки своей, висевшей у него через плечо, он достал хлеба, рыбы, пареную репу, а затем и флягу, обшитую верблюжьей шкурой. Лицо его повеселело.

— Давай, поставим коня в кусты... Угощайся! Дивную вещь ты мне изрек, братец. Сам того ты не знаешь, что ты сказал.

Он долго возился в кустах и вдруг ни с того, ни с сего запел, ласково поглаживая коня: «Ах, в прекрасном во местечке и при быстрой Кудьме-речке стоял зелен луг...». Привязав к дереву лошадь, дружески хлопнул мордвина по плечу:

— Эх, ты, сбитень! Смейся!.. Говорю тебе — смейся!.. Много я всего видел — ничего нет страшнее, коли сам никуда не годишься... На, вот!.. Пригубь... Лучшее вино, боярское... Жить можно! Жизнь надо любить, как хорошую девочку. Бывают измены, но немало и хороших дней, было бы уменье и храбрость! Покатался я по белсвету, всякое видел.

Оба сели на траву. Сначала потянул из фляги Турустан. Сосед следил за ним с ласковой улыбкой. А затем, приняв от Турустана флягу, он сказал: «Соскучился я по нижегородским местам! Где ни бывал — лучше нет!».

Тут только Турустан рассмотрел его, как следует: веселый, сильный, крепкий, но пожилой человек. А о том, что он уже немолодой, говорили морщины на лбу и у глаз. Когда он снял шапку, бросив ее на траву, засеребрились седые нити в курчавой черной шевелюре. И только зубы — белые, как у девушки, и розовые губы, подвижные, усмешливые, да и глаза оставались молодыми, словно нетронутыми временем.

— В степях донецких я свою вотчину оставил... В верховьях ныне боярствовать вздумал. Да и не я один... Нас много. Надоело нам в своей вотчине от царских холоуев прятаться, как собаке от мух. Допивай!

И снова он передал флягу Турустану.

— Безболезненно довершай начатое, — как учил меня один старец.

Турустан с усердием допил остаток вина.

— Из тебя толк выйдет... Молодец! — весело сказал он Турустану.

Мордвин осмелел: «не зверь, не укусит!».

— Как тебя звать? — решился, наконец, он спросить незнакомца.

— Имя мое птичье — разбойнички окрестили меня Сычом... Безродный я. Остальное все известно в канцеляриях нижегородского и астраханского губернаторов... Дьяки мою жизнь описали не хуже, чем житие Николая Угодника... А сам я все позабыл. Интересно не то, что прошло, а что будет. Об этом и думай. — И он опять запел:

Тут и шел, прошел бродяга,  
Бездомовный человек.  
А навстречу-то, бродяге,  
Друг-приятель мне попался,  
Слово ласково сказал:  
«Ты куда идешь, бродяга,  
Бездомовный человек?».  
И пошли мы оба вместе  
Счастье в будущем искать...

Окончив песню, цыган вдруг спросил Турустана:

— Стало быть, ты Фильку знаешь?

— Фильку? — Мордвин задумался. — Нет.

— Ну, Рыхловского, што ль, по-вашему?

— Филиппа Павловича?! Знаю. Его крепостной.

— А жену его, Степаниду?

— Три года назад умерла она.

— Умерла?!!

То, что произошло с цыганом Сычом после того, как он узнал о смерти Степаниды, испугало мордвина. Он даже приподнялся с земли и опасливо отошел в сторону.

Цыган сидел на земле, схватившись руками за голову, и что-то скороговоркою болтал себе под нос. Напрасно Турустан силился понять его слова. Они были обрывисты, то нежные, то скорбные, и вдруг переходили в проклятия. Потом у кого-то он стал просить прощения, называя «глубиною радостью». И, наконец, как женщина, как ребенок, зарыдал.

Турустан вспомнил свое горе, у него тоже выступили слезы. Ему стало жаль своего нового товарища. Он подошел к Сычу, нагнулся над ним и сказал:

— Вставай!.. Чего ты? Когда нам плакать! Солнце садится. Езжать тебе пора. — И с силою начал трясти его за плечи.

Сыч поглядел вдаль красными, потухшими глазами,

остановился, перестал рыдать. Долго просидел он, опустив голову.

— Как же я-то теперь буду жить? Мою невесту, Мотю, и вовсе украл у меня Филипп Павлович, — вздохнул мордвин.

— Что? Филька? — Цыган снова заволновался. Турустан поведал ему о своей горе. Слушая его, Сыч постепенно приходил в себя.

— Прости меня! Не рассказывай никому! — сконфуженно начал он. — И не бери пример с меня. Слаб сердцем. Не затем рождается человек, чтобы жить в слезах; мы родились, милый, — верить в свою силу... А силы в народе — окиян-море! Можем сделать многое, коли того захотим. И хотеть будем до самой смерти, пускай даже помрем на лобном... Так всегда говорит наш атаман Михаил Заря. Э-э-эх! Прощай пока!

Расстались, условившись снова встретиться на том берегу Волги у Макарьевского монастыря. В Песочном кабаке.

Сыч устало влез на лошадь и медленной рысдой погрузился в гущу кустарников. Мордвин с грустью проводил его глазами, тяжело вздохнул. Понравился ему этот человек.

Одним остался недоволен Турустан: на его вопрос — по какому делу понадобился Сычу Несмеянка и откуда он знает этого мордовского вольноотпущенника — цыган ничего ему не ответил.

— Потом узнаешь... — сказал он загадочно.

С тем и уехал.

## IX

Добрался-таки Сыч до Большого Сескина. Был уже вечер. Старуха, подбিরавшая на опушке сучья, указала дом Несмеянки. Самый крайний домишко, в соседстве с ельником.

Встретились радостно.

Несмеянке не надо было расспрашивать цыгана — зачем он явился. Встреча была заранее условлена. Еще там, на Волге, когда волокли расшиву.

— Н-ну? Какие вести?

— Вышел из Москвы. С товарищами.

— Как же я его увижу?

— В Нижнем, на Похвалинском бугре. С самого краю домишко тут стоит, зеленый... В нем и встретитесь.

— Спросить кого?

— Меховщика Гринберга... Мордва шкуры ему носит... Старик верный, не бойся... Свой человек.

Рассматривая со всех сторон гостя, повеселел Несмеянка.

— А я думал, ты не приедешь! Где стали?

— В урочище под Татинцем. Напротив большого остров. Берег высокий, все видно... Караульных поставили в горах. Побывай.

Несмеянка покачал головой.

— Куда же мне?! И-их, дорогой мой! Ты не знаешь! Да садись! Чего ты?!

Когда сели, Несмеянка крикнул:

— Семен Трифонов! Иди!

Послышалась возня в сениях, дверь открылась. В горницу смущенно и робко вошел коренастый, крепкого сложения крестьянин. Низко поклонился:

— Мир вам!

— Смирением бог помогает!—шутливо ответил Сыч, так же низко кланяясь вошедшему. Глаза его лукаво смотрели на Семена.—Где ни бывал я, везде смирение—богу угождение, уму—облегчение, душе—спасение, дому—терпение, а начальству—удобство. У мордвы, может, и не так. Не знаю.

— Я не мордвин,—православный...—добродушно откликнулся на слова цыгана Семен Трифонов. В руках он мям войлочную шапку.

— Здешний он—дальне-константиновский, монастырский тяглец. Вот... Скрывается у меня.

— Что так?—удивился Сыч.

— Жена блудит, а его еретиком объявили. В селе Кочунове мужики не пускали в церковь крестьян соседнего помещика Собакина... Собакинские люди взяли да побили в церкви той окна, а священника, шедшего на увещевание с крестом в руке, связали и хотели в реке утопить... А на суде главным заводчиком объявили Семена Трифонова. Ловят его, чтобы в десть заковать.

Семен Трифонов вздохнул, опустил глаза:

— Я только дьячка Микиту за бороду дернул! Больше ничего. Он у нас поросенка летось своровал.

Цыгана охватило любопытство:

— С кем же твоя баба-то?

— Старца рыжего, на грех, поселил в лесу, в келье,

епископ Димитрий.. Проповедника...— печальным голосом ответил Семен.— Она с ним вот...

— Э-эх, брат!— вздохнул Несмеянка.— Исходил я всю Украину, Донецкие земли, Поволжье—и устал от человеческого горя.

Не успел сказать он эти слова, как под окнами поднялся шум. Несмеянка выбежал на волю, а вернувшись, грустно произнес:

— Опять! Каждый день! Идут наши, сескинские.

В горницу набился народ. Оказывается, сегодня их взбудоражили слухи о прибытии из Нижнего в Суроватиху еще нескольких монахов и толмачей. Каждый день новости!

Зло и скучно завопили старики, размахивая руками мычали себе в бороду пожилые люди, проклиная монахов; причитали женщины.

— Чего шумите?— сказал Несмеянка, когда стихло.— Не первый же день это! Нытьем беду не заглушишь!

Все задумались. В самом деле — не первый день власти беспокоят мордву. Суд никогда не судил в пользу мордвина. Торгаши обирали мордовское население, стараясь получить «наиболее пользы», продавая нужное втридорога и выманивая втридешева—хлеб, мясо, крупу, рогожи. Бурмистры, пристава—каждый по-своему вмешивался в жизнь мордвы. Такой порядок вещей должен был давно заставить людей задуматься. Чего же ради бестолково шуметь теперь? Кто услышит? Кому страшны их проклятия?—Об этом Несмеянка односельчанам и сказал, устыдив их своими словами.

— Мордовский народ никогда не нападал первый на русских князей. Мы примирились с княжеской властью. Но не примирились с нами князья. Они не хотят, чтобы мы пели свои песни, не позволяют нам растить своих детей, как мы того хотим, запрещают нам говорить на своем языке... Они отда разъезжают с детьми, мужа с женой, и угоняют одних в Сибирь, других в Уральские степи. Они добиваются, чтобы дети наши не походили на отцов своих. Их отбирают у нас и силой уводят в православные школы, делают из них попов и проповедников, и подкупают слабых, сбивая их на шпионство... Нас морят и сжигают со света. Можно ли это терпеть?—Нельзя.

Несмеянка не напрасно науку в Москве прошел и даже «в приказах государевых писцом служивал». Слова его доходили до сердца.

Бабы плакали сдержанно, себе в передник, чтобы не надоедать мужикам. А те покашливали, почесывали затылки, вздыхали. Горечь несмеянкиных слов, вместе с грустью, поднимала в душе надежду... На что? На что надеяться? Ответить трудно. Но Несмеянка говорил о тяготе народной так, что еще больше хотелось жить после его горячих слов. Просыпалась ненависть и неукротимое желание одолеть невзгоды.

Из рода в род у мордвы переходило предание, будто есть несметное множество мордвы, «людей боговых», терюханам однокровных. Этот народ еще не знает о несчастьи, какое постигло терюхан, а пристава нарочно теснит мордву со всех сторон, чтобы ей нельзя было подать о себе весточки. Но... близок тот день — «дальняя мордва» узнает о бездолии терюхан и тотчас пойдет выручать их, и мордовский народ будет свободен и счастлив. Будет жить своею жизнью, не трогая никого и не страдая ни от кого, в братстве с русским народом.

Вера в лучшие времена глубоко сидела в каждом мордавине. Но и тут Несмеянка судил по-своему.

— Враки! — сказал он теперь об этом, отвечая старому мордвину, дедушке Мазовату. — Кто будет заботиться о нас?! — Никто! Сами мы да русские мужики!

Он напомнил об одном проходимце, который в позапрошлом году выманил у терюхан несколько возов разного добра, обещая доставить все это к морю Хвалынскому в подарок царю Большой Мордовии. Возвратясь из дальних стран, он принес благодарность, якобы, от имени этого дара и насулил от его же имени золотые горы терюханам, а потом забрал еще кое-что и скрылся..

— А чем православные проповедники лучше того обманщика? Он обманывал нас царем Большой Мордовии, эти — райским счастьем. И прибывшие на Суроватику монахи и толмачи не кто иные, как подосланные из Нижнего низосные обманщики и враги наша. Но — хоть море слез пролейте вокруг них, все равно не утопите их в слезах!

Задумались, заслушались Несмеянку.

— Чего же вы молчите? Правду ли я сказал?

Молчание.

— Уж не думаете ли вы, что боги ваши спасут вас?! На Дону и на Урале, и в Запорожье — во многих местах

народ потерял веру и в бояр и в царицу, и пошел против власти... Готовятся страшные бунты...

Тут Мазоват Нарушев, поднявшись со скамьи, опять вставил свое слово:

— Братец наш, удалый молодец, Несмеянка, можно ли верить твоим словам, когда ты говоришь нам о Доне, об Урале и о Запорожьи?.. Нет ли тут какого обмана?.. Не обманываешь ли и ты сам себя, добрый молодец?

Несмеянка улыбнулся:

— Дедушка Мазоват! Если не веришь мне, то вот человек, пришедший с Урала и Дона! Спроси его!—и он указал на Сыча.

Все обратили внимание на скромно сидевшего в углу цыгана.

Сыч встал, поклонился всем. Ему ответили так же. Большой, черный, разгладил обеими руками усы и обвел присутствующих веселым, смеющимся взглядом.

— По-моему так: кому кистень, кому четки. Кому жить, а кому гнить, кому тереть, а кому терту быть, кому кнут да вожжи в руки, а кому и хомут на шею... Кому что нравится. Каждому свое. В Суроватиху появились на поселение старцы—им четки, а мне вот давай кистень... Не для того я родился, чтобы хомуты на себе таскать: не лошадь же! И скажу я вам—время плывет. Торопитесь! Наша возьмет!

Сжал громадный кулак и потряс им в воздухе.

— Где хорошо живут люди? И у черкасов<sup>1</sup> на Украине, и у казаков, и у башкиров, и у киргизов видел я только горе; дают и цыган и евреев, дают и русских. А кто? Об этом говорить нет надобности. Все известно! Разбегается народ: черкасы на Понизовье, казаки да крестьяне в Запорожскую Сечь, кто на Дон, кто на Каспий, а кто на Волгу в леса Керженские... Воюют гайдамаки на Украине против шляхетской знати. Воеводы берут их в плен и казнят. Убежавшие от кола и виселицы, бездомные и бесприютные, они умирают в степи. И много же разбойников везде появилось, по всем местам—безумные головушки! Простого звания люди готовятся итти на дворян.

Старики с великой скорбью развели руками. Постояли еще немного, молча, подумали, а потом сказали: «Спаси-

---

<sup>1</sup> «Черкасами» в ту эпоху местами называли украинцев.

бо, братцы, за беседу! Теперь мы пойдем по домам и подумаем над вашими словами».

За ними послушно потянулись и остальные.

Старики хитрили. Они по домам не пошли, а направились к главному жрецу своему, иначе называемому «возатя», к Сустату Пиюкову. Жил он с другого края деревни, у оврага.

Придя к возате, старики спросили его совета, что им теперь делать, когда кругом напасть такая?

Сустат Пиюков заявил:

— Просите прявта<sup>1</sup> Тамодея, пускай соберет моляну. Несите жертвы Анге-Патяй<sup>2</sup>. Она избавит нас от всех несчастий. В этом — исход.

От Пиюкова старики разошлись по домам: кого слушать? Но, конечно, нельзя такое дело начинать, не помолвившись! Смелость нужна, и сила нужна, да и деньги тоже, это так. Но и бога забывать не гоже. Правда, боги глухи... боги молчат. Много им молилась мордва. Много раз в священной роще было сказано: «Пичеозаис<sup>3</sup>, дай нам избы!», или: «Шотьрань-Озаис<sup>4</sup>, дай нам бревен для изб!», «Кирень-Озаис, дай нам лубьев!». Но будут ли избы, будут ли бревна, будут ли лубки?! Пока остается все по-старому. Все же моляну совершить надо.

Так и решили старики: просить Тамодея о моляне.

Может быть, боги на этот раз и услышат их?!

## Х

Димитрий Сеченов пошел через кремлевский двор к губернатору. Князь Друцкой собирался спать, когда ему доложили о прибытии гостя.

Епископ, устало крикнув, сел в кресло. Друцкой с интересом приготовился слушать.

— Увы, князь! В Казанской епархии тяжело было мне бороться с мухаметанством, а в Нижегородской епархии, как видно, придется и того тяжелее. Там богатые мурзы

---

<sup>1</sup> Прявт — голова, старейшина в отправлениях религиозных обрядов.

<sup>2</sup> Анге-Патяй — богиня, рождающая духов-охранителей.

<sup>3</sup> Пичеозаис — дух, покровительствующий сосне.

<sup>4</sup> Шотьрань-Озаис — дух, покровитель бревен.



помогали, а тут от дворян не вижу никакой помощи, кроме как от Рыхловского.

— Хорошо служить, ваше преосвященство, в Питере да в Москве, а, как у нас, в неустроенных пунктах — ой, ой, нелегко!

Подали ужинать, принесли вино.

Епископ сам налил князю и себе.

— Не судите меня, князь... *Home sum et nihil humanum alienum puto*<sup>1</sup>.

Широкое, слегка опухшее от неумеренного питья, лицо губернатора улыбалось сочувственно.

— При твердости, справедливости и благочестии особы вашего преосвященства, — оное не опасно.

— Добродетели и ученость возводят человека в сан, но никакая философия и никакое красноречие не в силах доказать, — умножается ли от того красота его души, его любовь к правде и удаляется ли он от греха.. Готовящий людям пищу, однажды объевшись, теряет аппетит к ней.. Проповедующие добродетель, блистая живостью ума и силою речи своей, — подобны газели, прыгающей над пропастью, но они менее искусны и слабее, ибо там — природа, под ногами камень, а у нас — неразрешенные противоречия церковной догматики. Язычники сильнее нас; они верят в камень, огонь, дерево — и осязают это, они пользуют сии предметы, окружая их воображением, ибо видят бога в осязуемом, мы — в небесах, в тайнах заоблачных. Они спрашивают у нас: «где ваш бог?». Мы указываем перстом ввысь. Они смеются: «Покажите нам своего бога» — говорят они. — «Не можете? А мы вам покажем, когда хотите!». Из этого я и предвижу великие трудности проповедничества в здешнем крае. И притом же не видел я людей упорнее и решительнее мордвы.

Сеченов запнулся, подошел к окну и, открыв занавес, указал на спящий город.

— Платон учил: трудно найти начальника вселенной, но еще труднее говорить перед народом... Спят нижегородцы. Не знают они, что епископ долгие ночи бодрствует, боясь пробуждения, страшась утренней встречи с ними, ибо кровь первых христиан, хотя и пала на плодородную почву, но сильно обсохла на Руси. Ныне Святейший Синод досушивает и остатки ее. Хотя велик был

---

<sup>1</sup> Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо.

Петр, однако, не кто иной, как он,—обескровил, омертвил церковную почву, положил начало неверию... И в таких случаях трудно нам оплодотворить верою язычников!.. И не он ли, блаженной памяти великий Петр, подобно римским властелинам, бросавшим христиан ко львам,—губил сонмы раскольников?.. Раскольники стали презирать смерть. И это наиболее страшное из всего для власти. Смерд не страшится ада. В глубокой древности пресвитер города Карфагена Тертуллиан сказал: «Презрение смерти усматривается гораздо лучше в поведении, нежели в речах философских». Мужество язычников в страданиях действует также на народ сильнее всяких речей... Видел я эти упрямые, скрытые лица... Наблюдал я зловещее, многоречивое молчание. И сказал я себе: предстоит великая буря в нашем крае.

Дружкой нагнулся и, обдавая своего гостя винным духом, прошептал:

— В губернии неспокойно. Сыщики доносят о народном неудовольствии. О появившихся ворах на Волге и в лесах.

— Быть баталиям! Предчувствую.

Дружкой нахмурился.

— Коли вы, ваше преосвященство, помянули философов, то и я помяну одного из них. Не знаю, кто он, но помню его слова: «Красноречивейшим проповедником государства, вдохновеннейшим апостолом евангелия является палач». Мудрые слова. Не правда ли?

Сеченов тускло улыбнулся.

— В моем сане прилично ли рассчитывать на это? Наше орудие—духовные догматы... слово божие.

Губернатор щелчком спугнул со стола ползавшую по скатерти большую черную муху.

— Да, бывают времена, когда люди привыкают к крови, к мучениям. И это самое страшное—правильно изволили вы сказать, ваше преосвященство! Тогда губернаторская власть бродит по жизни, подобно слепому. На что опереться? На законы? А где они? Их нет. Один закон поедает другой. И церковь тщетно ратоборствует за православие среди иноверцев. Труднее всего править иноплемениками, не имея уверенности в самом себе.

Епископ насупился.

— Мордвы крещеной насчитывают в одной нашей Нижегородской епархии близ пятидесяти тысяч душ... Беда

главная в их лицемерии: приняв крещение, они живут тайно по-язычески... Губернатор должен помочь духовенству своими людьями по сыску. Так было повсеместно и во все времена. Необходимо крепкое смотрение за новокрещенцами.

Дружкой молча налил вина себе и епископу. Некоторое время оба пили, не произнося ни слова.

— Но как помогать вам?! — пожал плечами Дружкой. — Ежели из указа ее величества об иноверцах видим, якобы, вы, ваше преосвященство, жаловались на казанского губернатора за его немилосердное обращение с ними? Не вы ли просили государыню, чтобы даже всех разбойников и воров иноверцев, по восприятии святого крещения, прощать и выпускать из-под караула? И немудрено, что в губернии изрядно расплодилось всяческого разбоя и воровства. Кто же губернатору поможет бороться с ними? А потом и умножение воровства было также поставлено в упрек казанскому же губернатору... Христианское вероучение плохо уживается с судейским и полицейским регламентом... И от того все наши трудности.

Епископ отрицательно покачал головой.

— Жестокосердие не помогает справедливой вере, а отторгает от нее новокрещенцев. Потому я и жаловался на казанского губернатора. О том именно и было мое доношение матушке-царице. И от губернатора я ожидаю не силы, а надзора... Повторяю: сыщиков разумных, нелицеприятных приличное число для наблюдения точности исповедания надлежит вам направить в иноверческие села и деревни... Не трудно призвать палача, во много раз труднее не допустить человека до плахи. На это дело я могу дать вам некоторых чернецов, если у вас нет своих сил.

Обтирая усы, Дружкой примирительно сказал:

— Есть и у меня люди. Среди них даже есть один почтенный мордвин.

Сеченов насторожился.

— Приходил он ко мне. Рассказывал о своих делах. А в другой раз приносил мне даяние новокрещенцев. Человек тот в нашей губернии царями отмечен.

— Напиши мне его деревню и его имя, — властно потребовал Сеченов.

Губернатор встал, поморщившись, из-за стола.

— Имя его — Федор Догада. Новокрещенцы его едва ли к своим богам не сопричислили.

— У новокрещенцев единый бог, что и у нас,— сухо поправил епископ.

Дружкой рассмеялся.

— Радуюсь таким словам, ваше преосвященство, но в мордовских деревнях обстоит дело иначе. Поспешность обращения в христианство тому причиною. Иконы у них поистине в пренебрежении. Полагая, что икона находится в общении со священником и доносит духовенству о нехристианской жизни новокрещенного, он оборачивает ее ликом в угол или выкалывает ей глаза. О том мне лично рассказывал священник Иван Макеев. Он принес мне икону, у коей «очи выколупаны». И об этом есть сыск у меня. А если я буду брать этих людей, ковать в кандалы и пытать, отправлять на поселение,—нагоню тем самым страх на мордву и неуважение к христианскому богу.

Епископ посмотрел пристально на губернатора.

— Что же, по-вашему, князь, делать, чтобы укрепить в вере иноверцев?

Дружкой сказал:

— На этот вопрос отвечу, поразмыслив. (А сам подумал: «Хочешь и меня поймать, как казанского губернатора!»)

И уйдя в соседнюю комнату, вернулся через несколько минут с запиской о Федоре Догаде, которую и отдал епископу.

Сеченов понял это как желание князя поскорее освободиться от него. Он встал, благословил его и, попрощавшись с ним, пошел к себе в архиерейский дом.

Дружкой всякий раз в разговорах с Сеченовым был настороже, ибо много слышал о деяниях епископа в Казанской губернии на посту председателя комиссии по новокрещенским делам. Он знал, что начальник Казанской губернии пострадал однажды всецело по милости этого деловитого епископа. И не Сеченов ли, будучи в Казани, жаловался на разных чинов людей, притесняющих, якобы, иноверцев и новокрещенцев? Не он ли говорил, что «провинциальные и городовые воеводские канцелярии и ратуши никакой милости к иноверцам не кажут и не освобождают, и за долговременную их работу в платеже заемных денег ничего не зачитывают»?.. Не он ли поливал грязью казанские губернские власти, обвиняя их «в чинимой иноверцам кабале и несправедливости»?

Губернатору известно, что и в его области притеснения

были как мордве, так и чувашинам, и черемисам, и татарам. Этого не скроешь.

И, несомненно, Димитрий Сеченов станет теперь следить и за ним, за нижегородским губернатором, как следил за казанским. Наводнит своими шпионами уезды и будет доносить в Сенат, жаловаться и даже на дела далеко не церковного порядка.

Ложась спать, князь даже не помолился, по своему повседневному обычаю. Недовольный, он хмуро улегся в постель, закурил трубку. Невеселые мысли потянулись в голову.

Нечего глаза закрывать — уже началось! Сеченов требует помощи от губернатора в постройке церквей и школ для иноверцев. Но где взять рабочих людей? Были учинены публикации с барабанным боем и на Благовещенской площади, и на Ямской, и на Нижнем Базаре, и в Кунавине, но никого из охочих людей не нашлось. Был один подрядчик, но оказался недобросовестным. «Забрав оставшиеся деньги, из Нижнего Новгорода учинился без вестей». А епископ пишет в губернскую канцелярию промеморию за промеморией, предупреждая, «чтобы лес не погнил, ибо лежит он уже три месяца и в сырости...»

Что будешь делать? Вот и прицепка! И уж наверное полетит в Питер архиерейская кляуза.

Со вступлением на престол дарицы Елизаветы церковные вельможи слишком возомнили о себе.

Вчера в Нижнем проездом побывал вятский воевода Писарев. Вот что поведал он:

Возвращался однажды вечером из церкви к себе домой глухими переулочками он, Писарев, и вдруг, откуда ни возмись, архиерейские служки и школьники с дубьем к нему подлетели и давай его бить, но... (тут Писарев показал свои кулаки) «каков гость, таково и угощение!» Развернулся воевода, и посыпались клирики и школьники, как орехи, наземь. Воевода их, лежащих в снегу, стал допрашивать: по чьему наущению били? Они стали запираться, бормотать к делу не идущие слова, и за это воевода всех их повел к себе в канцелярию. Но только доставил их туда, — явился и сам архиерей Варлаам и начал бранить воеводу «скаредною бранью» и, наконец, дал ему пощечину. А на суде оправдался тем, что, якобы, ударил он Писарева не по щеке, а по «ланите»<sup>1</sup> и ударил его за «неучти-

---

<sup>1</sup> Л а н и т а — (древне-славянск.) щека

вые к духовенству слова». Виноват остался он же, воевода.

Вот до чего дошли «светона начальники», православные архиереи! При царе Петре никогда бы не могло этого случиться, в кандалы заковал бы он Варлаама, а теперь...

Дружкой поднялся с постели, зажег свечу и беспокойно огляделся: нет ли кого в коридоре. И обрадовался—никого, даже его любимого пса около двери не оказалось.

Позавчера в губернскую канцелярию приезжал нижегородский богач Александр Григорьевич Строганов и, взволнованный, рассказал ему по секрету, что люди, которые привели в Нижний с низов караван, оказались ватажниками, разбойниками, из вольных станиц Понизовья, а подрядчик их, принявший на себя эту работу в Астрахани и сдавший караваны людям Строганова, не кем иным, как известным по всей Волге атаманом Михаилом Зарей, давно разыскиваемым командою подполковника Головина, посланного для сего из Москвы.

— Как же так получилось?— развел руками в великом недоумении князь. На лице его появились и усмешка и озабоченность.

— Кем будем мы возить соль в Нижний?— вспыхнул от недовольства Строганов.— Подрядчики отказываются везти соль за неимением работников и за другими озлоблениями, а уж доставлять соль из Нижнего в верховые города, мы, Строгановы, ни за какое награждение не согласны. Трудовых людей с печатными паспортами не найдешь, а беспаспортных принимать на работу не велено... Как быть? В Камском устье нашли триста человек разных иноверцев, но ни у кого паспортов не оказалось... Вот почему и явилось на наших соляных судах немалое число беглых крестьян, рекрутов и разбойников с подложными паспортами, а если бы их не было, тогда бы и вовсе Москва и Санкт-Петербург остались без соли... Спасибо и разбойникам! Все происходит от неимения рабочих людей... И не прочь были бы мы, Строгановы, просить ее величество об отобрании вовсе в казну нашего солепромышленного дела. Промыслы держать становится невозможно, ибо крепостной народ нам не слуга, а вольнонаемных нет, да и те более приучаются к ремеслу.

Что на это мог ответить губернатор? Дело ясное—строгановские соляные суда по Волге водят разбойники и беглые крепостные крестьяне. А что сделал он, губернатор,

узнав о таком соглашении именитого промышленника с ворами? Ничего. Провел ночь внизу, в строгановском доме на Рождественской улице в ошеломляющем куртаге<sup>1</sup>. Ну, разве не может и об этом узнать епископ Сеченов и донести в Питер? А затем... Рыхловский? Не может ли он наядбедничать епископу о неприятии губернатором мер против немца Штейна и еврея Гринберга?

А как ведется дело в губернии подвластными губернатору чинами? Не имея достаточного заработка, они принуждены искать прибытка, невзирая на законы. Канцелярия беспорядочна. Секретарям и подьячим законного дохода нет, а жалованья годами не получают. Поневоле коварством и обманом достают они себе средства на прожитие. Купцы толстеют, обогащаются на хищении казенного и на разорении слабейших, и нет никому никакой защиты от них. Пожалуй, найдутся охотники обвинить губернатора, якобы, и он заодно с ними. От торгашей всего, ведь, можно ожидать. Совести нет, как и у духовенства.

Всю ночь в сильнейшей тревоге ворочался с боку на бок нижегородский губернатор, то и дело просыпался он под тяжестью мучительных предчувствий.

. . . . .

Словно сговорились все осаждать губернатора разными жалобами.

На следующий день к Друцкому в кабинет влетел управитель вотчиной царевича Грузинского князь Баратаев. Как всегда, веселый и немного подвыпивший, чернобровый, красивый, одетый далеко не по-деревенски, хотя и житель Лыскова.

Облобызались.

— Давно не бывал у нас, Мельхиседек, — усаживая гостя в кресло, сказал губернатор. — Ну, какие у тебя новости?

— Новость у нас одна — донимают миссионеры.

Губернатор сделал жалкую гримасу, пожав плечами.

— Свет христов просвещает всех! Ничего не поделаешь.

— Но чего же ради они избрали наши селенья? Места не мало в империи. И с чего это богомольничанье!

---

<sup>1</sup> Куртаг — бал, веселье, кутеж.

— Царица, брат, царица... О грехах своих печется...  
Друцкой и Баратаев сели за стол.

В целях «удобства и взаимности», губернатор предпочитал всякие вотчинные дела решать за чаркою водки.

Баратаев рассказал о том, что по деревням и селам бродят, яко волки в овечьей шкуре, посланцы епископа Сеченова и лезут к инородцам со своим крещением и смущают народ, и что мелкие помещики, вроде Рыхловского, им всячески помогают, натравливают их на мордву, которая им не верит и не уважает их, ибо никто столько не грешит, как сами монахи. Старца Варнаву всенародно уличили крестьяне в блуде. Соблазн от этого великий пошел по деревням. Какие же это пастыри, когда сами хуже всякого потерявшего совесть бродяги? В Лыскове на базаре шаялись оранские монахи и явно, без стыда, сбывали купцам ризы, снятые ими с икон в своем же монастыре, а затем тут же, у Макарья, в кабаке пропивали деньги в обществе воров и макарьевских монахов. Когда к ним подошли полицейские, они заявили: «мы — чины духовные и вашему суду не подлежим, а кто нас возьмет, то того, по новым государственным законам, — в цепи закроют. Государыня царица Елизавета за духовный чин стольте обещание богу дала». Полицейские в испуге убежали от них.

— Беда вся в том, дружище, — сказал Друцкой, — что к нам в епархию назначили епископа Димитрия... Государыня ему покровительствует... знает его лично.

Тогда Баратаев перешел на разговор о Рыхловском:

— Как был тюремным ковальщиком он, так им и остался. Против царевича и меня восстанавливает он и наших соседей, мелких вотчинников... Стали упрекать меня и они в послаблении мордвы, но могу ли я тягаться в омытаривании людей с этими нищими вотчинниками?! У меня десять тысяч крепостных душ, у них всего две-три сотни. Меньше крепостных — больше тягости для этих несчастных. Я не жалею мордвы и могу ее пороть не хуже Рыхловского, но в силах ли я справиться со столь огромной армией тяглецов? Где руки? Где глаза? Где уши? Для того мне надо сотворить целый приказ... Рыхловский натравливает монахов на нашу мордву, как охотник псов на дикую птицу. Но птица может улететь, а мордва остается на одном месте, и бог знает, чем это утеснение кончится!

Друцкой опять грустно вздохнул:



— Увы нам, мой друг! И здесь не что иное, как покровительство царицы!.. Его сын, бывший солдат гвардии Петр, а ныне лейб-компанец...

Дальше он шепнул несколько слов Баратаеву на ухо, и оба они плотоядно и растерянно улынулись.

— Недаром епископ и Рыхловский сдружились. Все дело в царице. И нам с тобою остается паки и паки выпить за ее здоровье, — усмехнулся Дружкой, вновь наполняя чарки гостю и себе.

— А мое дело самое трудное, — продолжал он. — Приезжает епископ, жалуется на тебя, потом Рыхловский, тоже на тебя... После того ты — жалуешься на них обоих. Мордва жалуется на всех вас... Голова кружится! Вот угощаю я вас всех вином, занимаю разговорами, а сделать ни для кого и ничего не могу... Признаться: мы и вы запутались. Беззаконие опутало всех.

Баратаев схватил его за руку.

— Такая же фортуна и у меня! Недавно я даже мордовского пророка Федора Догаду угощал... Беседовали мы с ним: как лучше и теснее мордву к христианству привести? А после того явился ко мне и грамотей — Несмеянка и просил сохранить от монастырской напасти. Его я тоже угощал вином и обещал передать его просьбу губернатору... Мало того, ко мне в гости приходил даже разбойник...

— Разбойник?

— Да. И просил он у меня продать ему бахил и лаптей для его ватаги...

— Ты его, что же, в кандалы не сунул?

— В лесу стояли его молодцы — от моей усадьбы и от меня ничего бы и не осталось. Я его тоже ласково поил и вином, и песни с ним пел, но лаптей дать ему отказался. Он обтер усы, разгладил бороду, помолился на икону двумя перстами и попрощался со мной.. А потом дворня донесла мне, что двух скакунов моих они с собою со двора увели... Старообрядец он, бывший нижегородский кутейник, и жалел о разоренных Питиримом скитах на Керженце. Ругал он Питирима крепко. Человек неглупый, настойчивый, сильный.

— Знаю я его. Он Строганову соль привозил. Подрядчиком у него был. Михаилом Зарею его зовут. Знаю.

Баратаев в ужасе вскочил с места.

— Михаил Заря? Неужели он? Слышал я: его ловят

восемь губернаторов и все сыскные и тайные канцелярии?

— Он самый!

— А-я-й! — Баратаев сделал такое лицо, будто у него заболели зубы.

— Ой, невеселые дела в моей губернии! Того и гляди сам на виселицу пойдешь!

Тем дело и кончилось. Пображничали, повздыхали; о женщинах, между прочим, поговорили и разошлись.

— Так ты ничего и не можешь? — на прощанье, все-таки, еще раз попробовал повлиять на губернатора князь Баратаев.

— Нет. Ничего! — развел руками Друцкой. — Могу только посоветовать быть поостроже с мордвой.

— Только и всего?

— Только. Не дай бог, коли взбунтуются... Не допускай до этого! Держи их крепче.

— Попы держат крепко... Пристава еще крепче, и еще буду я тоже... Не вызовет ли именно такая крепость бунта?

— Нет! Вон епископ говорит: «Собором и чорта поборем!». Жалуется он на ваше равнодушие к его делам.

— А я так думаю, Даниил Андреич: от чорта — крестом, от свиньи — пестом, а от епископа — ничем.

Губернатор ничего не смог ответить на это князю Баратаеву.

## XI

Семен Трифонов добился своего.

Несмеянка собрал кучку терюхан и повел их к старцу Варнаве в пустынь. Они застали его за молитвой. Он усердно молился, не обращая на вошедших никакого внимания, хотя они шумно между собой разговаривали и даже окликнули его.

Отмолвившись, Варнава поднялся и строго оглядел неожиданных гостей.

— Пошто явились? Что вам надо?

Несмеянка спокойно и почтительно сказал:

— Народ хочет знать — как же так может случиться, что чужая жена, да притом же в ночное время, крадучись,

входит к тебе в дом и там пребывает до самой зари и долее?

Терюхане, тяжело дыша, смотрели недобрыми глазами в лицо старца.

— А ну-ка, что он скажет?

Старец скорбно вздохнул и провозгласил, воздев руки кверху:

— Горе вам, мытари и фарисеи!.. Горе вам, мудрецы языческие!.. служители диавола! Горе!

Несмеянка сказал сурово:

— Наше горе нам известно. Оно всегда при нас. Расскажи ты лучше про себя.

Старец закашлялся, а кончив кашлять, перекрестил рот. Заговорил он на мордовском языке.

— Слушайте сказание о преподобном Малхе. Оно послужит вам для прояснения. Садитесь, добрые люди, на лавку... Садитесь.

Терюхане сели.

— Слушайте и внимайте! Преподобный Малх попал в плен к сарадинам — такие арабы есть на востоке. Стал преподобный Малх рабом. Он пас овец в пустыне, вознося богу благодарность за то, что пребывает в стороне от людей. Но коварство диавола на всяком месте найдет человека. И там, при таком пустынном житии, Малх найден все же был своим злокозненным врагом. Сарадин, видя, что раб его Малх во всем служит ему усердно и верно и что скот его все приумножается, размышляя — как бы наградить его за верную службу, и порешил дать ему в супружество плененную красавицу, которая была привезена в плен вместе с Малхом на спине одного и того же верблюда..

Кое-кто из слушателей вздохнул. Деревенский гуляка Петруня Танзаров почесал затылок, улыбнулся своим мыслям. В общем, терюхане заинтересовались. Варнава, ободренный этим, продолжал увереннее:

— Призвав Малха, хозяин стал говорить ему о ней, чтобы он взял ее в супружество. Но Малх отговаривался тем, что он-де христианин, а по закону христианскому нельзя жить с чужой женой. Тогда сарадин, придя в ярость, извлек меч и хотел умертвить Малха, и если бы тот не поспешил в знак своего согласия обнять шею той женщины, то господин его пролил бы его кровь. Когда наступила ночь...

Старец Варнава закашлялся. Терюхане тоже. Петруня раздумянулся, беспокойно заерзал на скамье, едва не столкнул своего соседа Лобку Чанаева. Тот взмахнул ногой, но удержался, сердито ударив локтем нескладного парня.

— Когда наступила ночь... — оглядел всех смиренно Варнава, — Малх взял ту женщину с собой в пещеру. И вот что рассказал о проведенной ночи преподобный Малх.

Варнава перекрестился. Заслушавшийся до крайности Петруня Танзаров, хотя и язычник он был, а в рассеянности и сам чуть было, глядя на старца, не перекрестился. Уж очень хотелось ему знать, что было дальше с Малхом. Заметив это, Несмеянка строго сдвинул брови. Сиди, мол, не расстраивайся!

— Вместо радости, — рассказывал потом преподобный, — объяла меня скорбь, и вместо утешения, — тоска. Мы гнушались друг другом и ничего не смели друг другу сказать. Тогда я совершенно познал всю тяготу моего плена и стал скорбеть о моей пустыне и стадах овец. «До того ли я дошел, оканный? До того ли грехи мои привели меня, чтобы мне уже в старости погубить девство мое и стать мужем чужой жены?! Какую пользу принесло мне, что я и дом, и родителей, и женитьбу — все оставил в юности ради бога, если я ныне сделаю то, что презрел с самого начала? Что же мы сотворим, о душе моя?! Погибнем или победим? Дождемся ли благодетельной руки божией или убьем себя мечем сами? Возврати меч свой, о душе моя! Нам надлежит бояться более твоей смерти, нежели смерти тела, ибо и для целомудренного девства есть свое мученичество».

Вдруг Варнава горячо воскликнул:

— Пусть я буду лучше лежать в сей пустыне, как мученик, мертвым без погребения, и сам буду для себя мучеником и мучителем!

Осмотрев строгим взглядом терюхан, он снова спокойно продолжал:

— С такими словами преподобный Малх поднялся с земли, извлек из ножен меч, который блестел в темноте, и, обратив его острым концом к своей груди, сказал: «Живи себе, жена! И лучше пусть я буду для тебя мертвым мучеником, нежели живым мужем!».

Несмеянка серьезно и решительно прервал речь старца.

— Скажи нам, святой отец... Откуда же у раба мог быть меч? Да у раба, к тому же, плененного?..

Варнава задумался.

— У сараинов рабам полагалось носить оружие.

— А почему же нам не полагается, ведь мы даже и не рабы, а подданные ее величества, а нам не позволяют держать у себя ни мечей, ни ружей, ни сабель?..

Варнава на этот вопрос ответил без заминки:

— Лишнее есть. Лучшая ваша защита — губернская и духовная власть... А я прошу вас, коли вы пришли ко мне, выслушать меня с приятным терпением и миролюбием.

Лицо его становилось сердитым.

— Женщина слыша это — голос его зазвучал вкрадчиво, — упала к ногам Малха, восклицая:

«Господом нашим Иисусом Христом и сим тяжким часом заклинаю тебя и умоляю не проливать крови своей ради моей жизни. Если хочешь умереть, то прежде на меня обрати меч свой и вонзи его в меня, и, убив сначала меня, убивай потом себя, чтобы таким образом нам соединиться на том свете друг с другом, ибо я решила, хотя бы и муж мой был возвращен мне, сохранить до самой кончины свою чистоту, которой я научилась в сем плену, и я желаю лучше умереть, чем нарушить ее. И не потому ли ты хочешь умереть, чтобы не согрешить со мной? Но и я желала бы умереть, если бы ты сам захотел того. Итак, пусть я буду для тебя супругой целомудрия и между нами да будет общение духовное, а не телесное, так, чтобы господа наши считали тебя моим мужем... Христос же будет знать, что ты мне духовный брат». Тогда Малх удивился такой находчивости и такому целомудрию этой женщины и возлюбил ее, и они заключили условие пребывать вместе в целомудрии. Но он никогда при этом не смотрел на ее тело, даже не касался его рукою, боясь погубить девство свое, которое он соблюдал с самого начала восставшей на него со стороны плоти лютой брани...»

Старец Варнава, набожно осенив себя крестом, кончил свой рассказ. Потом встал и громко, нараспев, произнес, смотря куда-то вверх, над головами терюхан:

— Оное же безбрачие и целомудрие соблюдаем и мы с тою Семена Трифонова женою. Он ушел у нее в леса. Она осталась, несчастная, одиношенька. Ходит ко мне

богу молиться о согрешившем перед церковью супруге своем. Да будет благословение господне такожде и над вами. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь.— И обеими руками благословил терюхан. Они попятились. Несмеянка первый поднялся со скамьи.

— М-да,— задумчиво сказал он,— сказка твоя интересная, только дозвожь, святой старец, нам, язычникам, не верить в это. По нашему мнению: душа душой, а тело телом.

И, обратившись к своим товарищам, спросил:

— Можно ли нам верить рассказу старца? Может ли быть так между мужчиной и женщиной, живущими вместе будто женатые?

И все в один голос ответили:

— Нет. Нельзя!— и покачали недоверчиво головами.

А Петруня Танзаров, хихикнув, добавил:

— Мудрено дело!

Старец сел за стол, положив голову на руки. С глубокою печалью глядя на терюхан, тихо заговорил:

— Через пророков и апостолов я передаю вам слова правды. Презирая земное, я наставляю вас к более возвышенным чувствам... Вы же, поклонники деревянных, каменных и иных идолов, ставите земное превыше небесного и вещественное превыше духовного,— а посему не понять вам подвигов истинно-христианских. Идите и думайте, как хотите вы думать о нас, о христианах, а мы будем думать о вас так, как мы думаем об язычниках, идолопоклонниках.

Несмеянка в долгу не остался:

— Тот, кто верит богам неба, солнца, огня и света, тот видит и знает силу неба, солнца, огня... Они делают счастливыми либо несчастными... Они губят поля или делают их обильными... Вашего бога мы никогда не видели... Видели только монахов и приставов...

Терюхане шумно вышли вон из кельи, довольные одержанной над старцем победой.

Варнава с ненавистью посмотрел им вслед, а когда они скрылись за деревьями, он злобно погрозил им кулаком:

— Подождите. Мы вас!..

Из-за печки вылезла женщина. Она была смущена всем слышанным и, опустив голову на руки, заголосила:

— Что ты надо мною сделал!..

Варнава заметался в испуге, стал зажимать своею

шершавой рукой ей рот, боясь, что мордва услышит и вернется вновь. Женщина не унималась.

Старец встал перед ней на колени, упрасывая ее замолчать, пообещал одарить ее деньгами и какою-то шалью, якобы, у него в сундучке хранимой.

Она замолчала.

Старец пустился в рассуждения:

— Единым только несохранением благоразумия лишаетесь вы доброй славы. Молва, возвещая о ваших прегрешениях, окружает имя того или иного преподобного непристойными глаголами. Не так же ли было и с девою, посещавшею Василия Муромского, ныне Рязанского святого угодника... Точно так же пришли к нему муромчане и стали допрашивать его, а он, облегчая свои человеческие несовершенства, объявил, что его навещает не женщина, а бес, искушающий его плоть. Но в это мгновение неразумная дева исторгнулась из чулана, где ее сохранял от грешных взоров святой старец, и, нагая, бросилась бежать в лес... Муромчане поймали ее и едва не пбили камнями святого Василия, и он принужден был сесть в струги спасаться вверх по Оке, в Рязани, где и нашел приют, защиту и утешение. Муромчан же он проклял навеки.

Жена Семена, выслушав его, сказала:

— Давай шаль! Давай деньги.

Старец насупился.

— Скажи мне наперед—на кого бы ты думала, кто мог о тебе и обо мне рассказать поганым язычникам?

Не задумываясь, она ответила:

— Кто же другой может быть, кроме Семена?

Варнава широко, с чувством, перекрестился:

— Дай ты, господи, чтобы его растерзали там, в лесу, волки! Обвинили его. Думали — сгинет, а он опять зло творит.

И обняв ее:

— О, дочь! Разбойники и язычники хотят истребить всяческое наше с тобой удовольствие, изъявляя свою мнимую честность и непорочность, но им не удастся сего достигнуть...

— А шаль? А деньги?— долбила ему прямо в ухо жена Семена, но Варнава делал вид, что он ничего не слышит.

Подвижнее и любознательнее Несмеянки трудно было сыскать человека в здешних местах. Всем-то он интере-

совался, все-то ему нужно. Старики, глядя на него, болтали: «хитрость, мол, не глупость, да в рай с ней не войдешь!». А Несмеянке викакого и рая на небе не надо; ему нужен, оказывается, рай только на земле. Вот как! Несмеянка говорил, что люди скорее откажутся от небесного рая, а от земного ни один русский мужик, ни один татарин или чувашин, ни один мордвин и никакой другой человек не откажутся... Чего ради жить, если рай будет только после смерти? Неправда! Жизнь — не ожидание, а жизнь. Надо бороться за этот рай. Вот и все...

И никто противоречить этому не решался. Нечего говорить. Все было правдой, но только страшно!.. Как же это так?! Чем бороться?! Как бороться?!

Несмеянка везде бродил, ко всему прислушивался, везде себе друзей подыскивал.

Не успел, например, Филипп приехать из Нижнего, как Несмеянка тут как тут — у него в саду, в беседке. А немного погодя, в эту же беседку из господского дома, словно кошка, прячась в кустарниках, пробралась и Мотя.

— Зачем ездил?

— К губернатору.

— Ну!

— Рассказывал он Феоктисте Семеновне, будто просил губернатора разорить и посадить на цепь немецкого купца в Нижнем и еще Гринберга. Мордовские охотники шкуры, будто бы, ему носят.

— А еще?

— И жаловался он губернатору на терюхан... Просил войска.

— Больше ничего?

— Ругал какую-то тетку Марью... В Нижнем живет она у него в доме. Грозился выгнать ее на улицу...

— Но не говорил ли он об епископе Сеченове? Подумай-ка!

— Говорил. Епископ хочет окрестить в скором времени всех и разорить все наши кладбища и керемети.

— О беглых?

— И о них говорил... грозитя писать царице; просить ее послать его сына с солдатами в Нижний ловить воров здесь.

— Кто у него бывает?



— Поп Иван Макеев, пустынный Варнава, мельник Федор Догада, пристав...

— Следи-ка за ним!..— сказал ей на прощанье Несмеянка.— Не старайся избегать его... Поменьше гордости, побольше ума. Делай-ка вид, что полюбила его пуще всех на свете. Мед на языке, а лед на сердце... Вся мордва спасибо скажет. Поп его больше вином, авось пьяный и проговорится.. Ножки с подходом, ручки с подносом, голова с поклоном, сердце с покором и язык с приговором.. Лести больше, ибо лесть и месть — дружны... Нет вернее яда, чем лесть.

Несмеянка ушел.

## ХП

Винокуренное дело Филипп Павлович развернул с великим успехом, но едва ли не с большим успехом начал он сбывать свои винные изделия окружной мордве. Денег не брал — давал в долг. Федор Догада с большой охотой ссужал питухам деньги и ручался за должников. Ему в ноги за это кланялись. Народ вином глушил свое горе и смутные страхи. Под пьяную руку легче менялась и вера. Игумен Оранского монастыря Феодорит рассылал по деревням своих старцев, чтобы они наблюдали: «нет ли инде удобного случая окрестить иноверцев?». Даже Варнава вылез из своего затворничества и стал бродить по семьям, наиболее склонным к хмелю. Простирая руки над головами застывших в пьяной угрюмости людей, восклицал он грозно:

— Пьянство губит целомудрие и разум, и кротость, и смиренномудрие,— вся повергает в пучину законопреступления. Пьянство лишает всех добродетелей человека. Тако рече господь бог Израилев: «пийте и упивайтесь и изблуйте, и падете, и не восстанете от лица меча, его же я пошлю среди вас!».

Старец Варнава заботливо устраивал в углу избы икону, а затем со свидетелями-восприемниками: отцом Иваном и приставом вваливался в избу, указывал на икону и вел одуревших от хмеля людей в Оранский монастырь— «для удобнейшего восприятия святого крещения».

Перед тем как приступить к обряду, терюшевский поп Макеев по-мордовски спрашивал:

— Какой ты породы?

По приказу Варнавы, говорившего по-мордовски, ново-крещенец на родном языке отвечал:

— Мордвин.

— Почему же ты христианское звание себе присвояешь?

— Присвою я по принятию крещения за содержание веры господа нашего Иисуса Христа, сына божия, и святого его закона! — повторял мордвин за Варнавой.

— Чему учит православный закон и вера?

— Учит всякой истине и добродетели, как пространно в пророческих и апостольских книгах написано.

Поп Макеев прочитывал заповеди, которые новокрещенцы должны были повторять.

Затем снова шли вопросы:

— Что запрещает тебе бог в осьмой заповеди?

— Запрещает мне бог ни явно, ни тайно ни у кого ничего не отнимать, найденную вещь не усаивать, беглого человека и разбойников не укрывать, чужой пашни, сенокоса и огорода своею скотиною не травить, чужую землю не владеть. Государевых, церковных и ничьих денег не красть и не утаивать. И для того надлежит избегать праздности, но быть трудолюбивым. Через труд не только себя и домашних можно в довольстве содержать, но и бедных снабдить. Законы и начальников почитать.

После повторения новокрещенцами заповедей, выступал сам игумен Феодорит. Он обращался к дрожавшей от страха мордве со следующей речью:

— Свершилось великое таинство воссоединения вашего к христианскому обществу. Христианство, объединяя народы разных вер, святым крещением возносит дело Христово на степень сверхнародного, вселенского дела... Не нарушая ваших повседневных обычаев, но вселяя в вас догматы христианства, наша церковь поведет отныне вас по пути всемирного спасения...

Возвращаясь после принятия «таинства» домой, новокрещенцы на полученные за это рубли покупали вина и снова пили, пили до бесчувствия.

В одной из деревень начальство крепко-накрепко приказало выслать в Оранскую обитель для крещения по одному человеку из семьи. В другой деревне пристав и Макеев, предводительствуя драгунами, явились к старосте, приказав собрать всех живущих в деревне язычников для

объявления им важного государева дела. Когда народ, встревоженный, высыпал на улицу, его окружили драгуны, и Макеев нежным голосом объявил:

— Приспе и вам час! Елице во Христе креститесь, во Христе облекостесь... Радуйтесь, заблудшие люди! От плена языческого ныне освобождаем вас...

Пристав гаркнул на всю деревню:

— Двигайся в монастырь!

Народ ни с места.

Засвистели драгунские плети, напутствуя «заблудших» к восприятию «тайинства святого крещения».

В этот раз мордовские села заволновались... Народ высыпал наперерез драгунам. Те ускакали прочь. Отец Иван и пристав в страхе бросились, что было мочи, бежать. Когда они оглянулись, то увидели, что за ними нет никакой погони. Ходу они своего, однако, не только не умерили, но и еще надбавили.

Убежав от страшного места версты за три, Макеев, обливаясь потом и еле переводя дух, сказал:

— Коли бы не ты, с места бы я не сдвинулся... Разве я боюсь их? Духовного пастыря никто не тронет... Уф-ф! Моченьки нет. Все пятки отшиб. — И он внимательно оглядел свои сапоги.

Пристав погрозился на него, усмехнувшись:

— Не грехи, отче! Не подобает.

## ХIII

К вечеру, в лучах зари кереметь<sup>1</sup> порозовела. Вершины берез украсились бахромой алых кружев. Солнце, уходя далеко, в свой чудесный дворец на сказочном море, позолотило священный дуб, чтимый многими поколениями терюхан. Сила и величественность этого лесного гиганта неотразимо тянули к нему людей. Он — свидетель былой мощи мордовского народа. Не в нем ли, не в его ли сердцевине была скрыта неумирающая вера мордвы в лучшее будущее мордовского народа? Пройдут века, уйдут одно за другим новые поколения, но где-то там, впереди, мордвин вновь почувствует себя человеком и будет спокойно выращивать своих детей... И не такая ли мечта ви-

---

<sup>1</sup> Кереметь — священная роща.

тает и в чувашских и в черемисских священных рощах и у всяких иных подвластных царице народов, и не о том ли молятся все народы России своим разным богам?

В этот вечер перед дубом стояли три бочонка со священным пивом — пуре. Здесь же на сучьях соседних деревьев, прикрепленные к ветвям особыми рычагами, висели желтовато-белые лоскутья «мирских яичниц».

Все это было заготовлено с утра особо выделенными для сего людьми.

Сюда-то и должна была двинуться из Терюшей и соседних деревень на моляны языческая мордва. Горе мордовское растет. По ночам осенний ветер стучит в стекла назойливо и тревожно, будто предупреждает о грядущих несчастьях.

Как же теперь быть? Одна надежда на богов. Ведь и у чувашей, и у черемисов, да и у мордвы есть такой бог, который только тем и занимается, что охраняет свой народ от налогов и начальства.

Чам-Пас — велик и всемогущ, и защитит мордву ото всех несчастий! А чувашей защитит — Тора. А черемисов — Юма.

Постоянных жрецов у терюхан не было. Во время молян моление совершали жрецы, выбранные в своей же деревне из наиболее достойных и угодных богу. Они совершали моление и жертвоприношение, как жрецы. Старейший из них назывался прявт.

Постоянным головою молян у терюхан был не кто иной, как Тамодей Чанаев. Высокий, седобородый человек с жестким взглядом немного косых глаз.

Священнодействовал на молянах главный жрец — возатя. По указанию Тамоедя, возатей был выбран Сустат Пиюков.

В вечерней тишине к священной роще с криками и воем двинулась громадная толпа богомольцев.

Впереди, с посохом в правой руке, крупно шагал Тамодей. Борода его седыми космами от быстрого хода ложилась на плечи, белки блестели, губы были оттопырены, как будто его мучила жажда. За ним твердой поступью шел Сустат Пиюков — низкорослый, широкий, с небольшой русой бородой, с насмешливым взглядом, человек. Шел гордо, подняв курчавую, словно завитую голову, окруженный двенадцатью своими помощниками: пурендялитами — сборщиками хлеба, меда и других припасов для жертво-

приношения; лябдами — разносящими жертвенное освященное пиво для питья; туросторами — блюстителями благочиния во время богослужения, и другими.

По пятам за жрецами и их помощниками, пестрой шумной толпой быстро двигались терюхане. Сначала мужчины, потом женщины и, наконец, девушки.

Поверх кафтанов мужчины одели белые балахоны-шуппаны, оюасанные розняком с красными, распущенными по бедрам кистями. У женщин поверх длинных белых рубах, расшитых цветными узорами в подоле, накинуты были полукафтаны, пестрые, яркие, изукрашенные всевозможными узорами, а на головах — обсыпанные раковинами и украшенные нитяными кистями нарядные венцы. Девушки — в длинных белых рубахах, похожих на мешки с разрезом на груди, но и у них низы рубах и рукавов сверкали красочными цветами, причудливыми вышивками; вместо кафтана были накинуты на плечи узкие до пояса, но расширяющиеся книзу сермяги из белого самотканного сукна, а на сермягах снова и снова узоры из шнура и раковин и всяческих блесток.

На-ходу звенели серебряные монеты и раковины, шелестели бисерные нити, облекавшие груди и спины женщин и девушек, спускаясь с шеи, с парчевого ожерелья — фибулы.

Вороны и галки взлетели над деревьями, заматались, испуганно закаркали над самыми головами людей. Алые колонки березок и розовые балдахины верхушек деревьев вызывали у девушек слезы нежной радости, у мужчин — жажду мщения и решимость, у женщин — грусть о прошлых девичьих днях. У всех вместе — страстное, горячее, как огонь, желание ниспровергнуть зло на земле, умолить Чам-Паса о заступничестве, о том, чтобы покарал он злых демонов Шайтана, спустившихся на землю во образе генералов, приставов, монахов и попов. Не кто иной, как Шайтан, правит всеми. Ведь и собака была когда-то чистым животным и не имела шерсти, но Шайтан сначала напустил мороз и зазнобил собаку до того, что она согласилась принять от него шерстяной покров. И разве не Шайтан оплевал землю, положив тем самым начало несчастиям и страданиям мордвы. Шайтан, не кто иной, наслал и царских прислужников на мордву и отдал им в тюрьмы и на войну мужчин, женщин и девушек мордовских.

Турустан, выйдя из леса, присоединился к толпе мужчин, по правую сторону керемети, кусая губы от горечи и негодования, вспоминая о своей невесте. Он уже обращался к главному жрецу с просьбой помолиться и о возвращении Моти, и об отомщении злому похитителю ее. Родители Моти дали белого барана позанбунаведу — сборщику денег на жертвенных животных, и тоже просили главного жреца помолиться об их несчастной дочери и о гибели насильника Филиппа Рыхловского. Женщины принесли с собой на сковородах домашние ячницы и пироги с пшенной кашей. Все это принимали от них особые слуги главного жреца — кашангорода, и развешивали ячницы по рычагам. Турустан с великою тоскою следил за неловкими, угловатыми движениями кашангородов, за тем, как ячницы срывались с рычагов и падали в траву; кашангорода, боязливо оглядываясь на главного жреца — возатю, нагибались и поспешно снова нацепляли ячницы на рычаги.

Через восточные ворота, в глубокой тишине, трое позанбунаведов, трое низкорослых бородачей вводили назначенного для жертвоприношения белого барана. Двое шли по бокам, придерживая рукою перевязь на шее животного, третий шел позади. Все они шагали медленно, размеренно, высоко, с достоинством поднимая голову и не глядя ни на кого. Баран упирался, жалобно блеял. Взоры всех присутствующих были устремлены в их сторону.

А вот и эти священные три столба, к которым привяжут барана! Турустану почему-то стало жаль животное. Его участь напомнила ему мужицкую долю. Цыган Сыч рассказывал ему про то, как лютовал епископ Питирим в Нижнем, как он казнил многих людей и как сжег диакона Александра. Цыган умел рассказывать — сердце переставало биться у Турустана; от его рассказов дух захватывало и руки тянулись к ножу. Теперь несчастный баран, которого должны зарезать в угоду богу, наводил Турустана на новые мысли, которых раньше не бывало у него. Возатя, взойдя на приготовленное для него возвышение, сначала оглядел всех своим тяжелым взглядом, потом вдруг замотал головой, наклонился, как бык, который хочет кого-то посадить на рога, и низким голосом произнес:

— Сакмеде!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Сакмеде — молчите!

И вдруг весь оживился, начал размахивать во все стороны руками, подниматься и опускаться на носках, крича бесчисленное «сакмеде!». В его голосе слышался ужас и отчаяние.

Вспыхивали большие восковые свечи в руках у помощников жреца. Вспыхнули и у людей глаза молитвенным возбуждением. Бородатый, высокий прявт, подняв руки вверх, неподвижно устремил взгляд в небо. Его губы что-то шептали. Он продолжал все время стоять с раскрытым ртом,—казалось, его еще сильнее мучила неутолимая жажда.

Возатя громко, немного хриплым голосом, зывал, обратив лицо к священному дубу:

— Чам-Пас! Великий из великих, хозяин неба и земли! Чам-Пас, защитник мордовского народа, Чам-Пас, помилуй нас! Ты видишь тучи, идущие с севера и запада, ты слышишь грохот грома, подобный грохоту падающих гор и уходящих в землю городов и селений!.. Ты слышишь проклятия человека, несущиеся с берегов Волги, Суры, Кудьмы и Пьяны... Если нужна кровь, если тебе нужна жизнь, горящая о нашем страхе перед тобой, о нашей вере в тебя, если нужно пролиться крови, мы дадим тебе чистую непорочную кровь, чище той, что течет в жилах верноподданных твоих! Мы не хотим, чтобы в жертву тебе приносилась дурная, грешная кровь твоего недостойного народа! Чам-Пас, взгляни на нас из своего солнечного царства, вот... вот... мы отдаем тебе эту чистую благородную кровь!

Возатя взмахнул своей обнажившейся волосатой рукой, давая знак позанбунаведам, и в эту же минуту сверкнули ножи в воздухе...

Люди опустили на колени. Им показалось, что березки вздрогнули, а дуб испустил тяжелый, мучительный вздох. Но нет... Это был вздох самих людей, упавших в страхе перед неведомым, всемогущим существом, которое может избавить мордву от грозящих ей бед.

Баран жалобно, чуть слышно, стонал, корчась в муках на траве. Позанбунаведы подняли животное и стали выпускать из него кровь в землю — «под камень».

Взоры всех богомольцев обратились в сторону позанбунаведов, суетившихся около убитого животного. Выпустив из барана кровь, они стали сдирать с него шкуру, которую развесили здесь же, на сучьях.

Возатя Сустат Пиюков торжествующим взглядом следил за работою позанбунаведов. А затем, когда они кончили, вострепнувшись, он подошел к прявту и, приняв из рук Тамодей священный ковш, положил в него хлеба и соли. После этого вынул из котла, где варилося баранье мясо, кусок и, отрезав от него часть, тоже положил в ковш. Прodelав все это, он быстро вошел вновь на возвышение, снова вытянулся на носках и, высоко подняв над головой руку с ковшом, стал иступленно кричать в небо:

— Чам-Пас, гляди, бери! Назаром-Пас, гляди, бери!

Он кричал долго и до хрипоты, перечисляя всех богов и богинь. Ему вторили разногласо, дико, всхлиывая, завывая, все собравшиеся терюхане. В лесу загудело дикое, тоскливое эхо.

И вдруг, в тот самый момент, когда прявт Тамодей подошел к возате, подняв руки кверху, и что-то быстро и тихо заговорил,—священная роща потряслась от ружейного залпа.

Только Тамодей и жред Пиюков остались на месте, не шелохнувшись. Все терюхане упали ниц на землю. Им показалось, что это заговорило само божество. Наконец-то дал о себе знать великий бог богов, грозный Чам-Пас!

Но когда они подняли головы, то увидели в паутине ольшаника несколько человек полицейских и солдат, обступивших священную рощу, а с ними вместе — Ивана Макеева, который с крестом в руке смело шел по направлению к священному дубу. Несколько позади его терюхане увидели пристава Семена Захарова. У него в руке был пистолет.

Подойдя к священному дереву, Макеев громко сказал, обращаясь к мордве:

— Безумные! Что вы делаете? Разве не знаете, что идол в мире — ничто, и нет иного бога, кроме единого?! Зачем проливаете кровь невинного животного?.. Заклинаю вас господом нашим Иисусом Христом — разоидитесь сейчас же по домам и будьте рабами, бодрствующими во славу возлюбленной нашей матушки-царицы, неустанно пекущейся о благе своих народов. Не омрачаете ли вы ее ланиты материнскими слезами скорби, егда служите своим идолам, язычники?!

Он хотел опереться рукой на священное дерево, но Тамодей бросился к нему и отвел его в сторону.

— Мы не звали тебя, и не погань нашего священного



дуба, а говорить нам, что тебе приказано, можешь и не здесь, а у себя в церкви и в деревне, и где хочешь, а здесь не мешай нам молиться... Мы не хотим видеть вас здесь. Уходите! Не оскверняйте нашей керемети!

К Тамодею подскочил пристав, держа в руке пистолет. Треуголка на нем съехала набок, лицо было злое. С пеной у рта крикнул он, показывая на толпу:

— Веди их отсюда, убью!

Тамодей подошел вплотную к приставу и, усмехнувшись, кивнул в сторону Ивана Макеева.

— Он жалеет кровь барана, а ты не жалеешь убить человека?! Ваш бог допустит это? Ответь нам, слуга Христа. И зачем вы привели солдат? Нуждается ли бог в них? Наши жрецы не ходят с ружьями и мечами, наши боги довольствуются кровью барана...

Отец Иван провозгласил, смутившись:

— Явились бо мы во всеоружии, дабы противостоять на случай злой, и, преодолевши нападение, устоять...

В этот момент толпа заволновалась, послышались крики, шум, полетели камни, палки по направлению к приставу. Солдаты стояли поодаль, с ружьями наперевес. Не успел Иван еще всего и сказать, подбирая слова в свое оправдание, как пристав дал знак солдатам и снова прогрохотал ружейный залп.

Толпа мордвы подалась на дорогу.

— По домам! По домам!..— кричал пристав, спихнув с возвышения Сустата Пиюкова и вскочив на его место... Женщины подняли визг, загудели мужчины. В великом смятении мордва бросилась из леса.

Макеев стал рядом с приставом, благословляя крестом беспорядочно бежавшую от священной рощи мордву.

Тамодей тоже отступал. Вздохмаченный, высокий, он сжал трясущиеся руки в кулаки и громко, с ожесточением проклинал пристава и Макеева, призывая на их головы Шайтана и всех злых духов, чтобы они поглотили царских слуг, истребили бы их.

Возатя Пиюков, молчаливый, хмурый, твердой поступью пошел за толпой.

Турустан спрятался в кустах, следя за приставом, который поднял с земли отрубленную голову барана и, держа ее в руках, разразился матерной руганью.

— Зря мы пули загубили... Зря я послушал тебя, батя! Не следовало бы нам палить вверх, по воронам,—

надо бы в них...—и он с досадою отбросил баранью голову в сторону.

Солдаты набросились на вареное мясо... Мясо, еще наполовину сырое, они терзали зубами, рвали друг у друга жертвенные припасы, огрызаясь, матершинничая.

Священная роща окутывалась вечерним сумраком... Около дуба догорала большая толстая свеча, вделанная в глиняный сосуд...

. . . . .

Погрузилось в осенний мрак село; утонули в черном бархате ночи терюханские поля; стала невидимой священная роща—кереметь, а наверху, над деревьями, высыпали холодные звезды, на которые с грустью взирал Несмеянка Кривов, сидя на скамье около своей избы.

Он тоже был на молянах в толпе богомольцев и слышал их разъяренные крики и проклятья, и теперь думал: «Оно к лучшему!». Он забыл о своих богах, не помнил и христианского бога, хотя и принял крещение в Казани. В голове Несмеянки все смешалось. Ясно было одно. Велика сила народов, когда они, скопом, добиваются, чего захотят. Недаром был он свидетелем того, как на Дону, не убоившись чудовищных казней и страшной военной силы Бирона и Миниха, поднялись против дворян донские казаки-раскольники. Под предводительством «богомудрого атамана» Некрасова железной лавиной двинулись на господ-помещиков сорок тысяч вольных казаков.

Вдруг Несмеянка услышала невдалеке, в кустарниках, какой-то шум. Вскочил. Насторожился.

— Это я, Турустан.

— А-а! Друг! Спасся? Убежал?!

Вошли в избу. Турустан рассказал, что он подслушал, сидя в лесу, то, о чем говорил Макеев с приставом. А говорили они об епископе и о полученном, якобы, приказе из Питера—жечь и разорять татарские мечети, и о том, что священные рощи и кладбища мордовские также следует разорить, пользуясь этим приказом, хотя об этом в приказе ничего и не говорится. В Оранском-де монастыре готовятся к тому, и монахи после того хотят откупить себе мордовские земли, о чем-де, и написали уже бумагу самому владельцу сих земель—царевичу Бакару Грузинскому в Петербург.

Выслушав Турустана, хмуро произнес Несмеянка:

— На богов теперь уже не так будут надеяться терюхане. На себя надобно надеяться. Дело ясное.

С тем и расстались. Турустан снова скрылся в темноте, а Несмеянка пошел по селу. Около одной избы он остановился, постучал в окошко. Вышел старичок, удивился, увидев Несмеянку.

— Бери-ка, дед, кайгу<sup>1</sup> и идем ко мне...

Дед, а по прозванию Рогожа, быстро юркнул в избу и вернулся с кайгой подмышкой.

— Айда!

У себя дома Несмеянка поставил на стол кувшин с вином и попросил деда спеть ему песню. Несмеянка выпил ковш вина, а затем поднес и деду. Рогожа повеселел. Глаза его заблестели. Он вскинул копной курчавых седых волос и, чуть коснувшись струн смычком, весь преобразился, закатил глаза мечтательно вверх, как будто увидел перед собой что-то такое, чего не дано видеть другим, и под тихие грустные звуки струн запел о светлых днях, которые ждут бедных людей впереди, ждут они и мордву... Солнце добра взойдет над обездоленными тяглыми людьми... Взойдет оно и над мордвой.

Несмеянка слушал старика, низко опустив голову, а по щекам его текли слезы. Он вытирал их и вновь наливал себе вина в ковш и выпивал его.

— Ах, люди, люди! — вздыхал он. — Доколе же глупость будет владеть вами?!

Сильно охмелевший, он вдруг вскочил со скамьи и, подхватив Рогожу под руку, решительно сказал:

— Пойдем! Пойдем в деревню! Пойдем ругать мордву... Будь проклят Чам-Пас!.. Дорогой мой... Глупый ты, дед! И ты веришь?!

Рогожа стал успокаивать Несмеянку:

— Куда мы пойдем ночью? Смотри в окно: тьма!

Несмеянка открыл окно.

— Да. Ночь! Дед, неужели все спят? Не верю! Пойдем! Рогожа крепко впился в Несмеянку.

— Не шуми! Не надо!

Несмеянка облокотился на подоконник, глядя в небо.

— Дед!.. Играй!.. И пой... Пускай, как хотят!.. Я знаю... Моя жизнь не пройдет даром! Играй!..

Старик ударил волосатыми пальцами по струнам кайги...

---

<sup>1</sup> Инструмент, напоминающий скрипку.

#### XIV

Солнце село за берегом Оки, когда к дому мастера Гринберга на Ямской окраине подошел неизвестный человек. Ветер с реки бешено набрасывался на бугор, к которому прилепился дом Гринберга. Рахиль вышла на крыльцо, ветер рванулся с такою силою, что снова втокнул ее в сени.

Вслед за девушкой, захлопнув дверь, неловко сутулясь, в горницу вошел коренастый человек в кафтане, подпоясанном кушаком. На нем была барашковая шапка, заливчато сдвинутая на затылок. Залман Гринберг поднес свечу к лицу вошедшего. Молодой парень. Незнакомый.

— «И сказал ему Михаил: откуда ты идешь? Он ответил: я—левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится».

Залман встал и низко поклонился гостю:

— Милости просим, человек! Но не будет ли сегодня у нас тесно?— И он указал на людей, спавших на нарах вдоль стен помещения.

Незнакомец рассмеялся.

— В тесноте люди песни поют, а на просторе волков гоняют. Я не кичлив. При том же, к тебе направил меня один знакомый мордвин.— И, немного подумав, сказал тихо:— Тут встретиться я должен... Кто такие эти люди?

— А мы разве ж знаем? Как и все, как и ты, как и я.

— Зри!—гость показал золотую монету.

Залман спокойно спросил:

— А куда я вас положу? По мне, почивайте всю ночь или день и ночь, а если же надо и неделю—нам все равно. Что мы можем сделать?!

— Ладно. Не дворянин,—и на полу лягу.— Иконы у тебя не вижу.

— Если нужно, можно достать?!—и не успел гость откликнуться на его предложение, как Рахиль принесла икону Николая Чудотворца и поставила ее на скамью в угол.

— Извольте.

Молодец расхохотался.

— Вижу сразу—живешь ты по губернаторскому приказу!.. Убери, дева! Не надо. Нет ничего труднее, как богу молиться, родителей почитать да еще долги отдавать... Страсть не люблю.

И, усаживаясь на скамью, спросил:

— Тебя еще не окрестили?

Залман посмотрел на него испуганно:

— Зачем крестить? Мы люди бедные...

— Ты разве не знаешь?! Велено всех крестить.

Залман смотрел на гостя в страхе, охваченный подозрением. Как так смело может этот человек насмехаться над властями?

А незнакомец ни с того ни с сего принялся ругать каких-то царицыных старух, богомольниц и любовников ее.

Незнакомец подмигнул при этом Рахили, бледной девушке с пышными вьющимися вокруг лица волосами. Залман испуганно указал рукою на спящих людей:

— Тише, тише. Нельзя так говорить.

— Для кого икону держишь?

— Для купцов и чиновников.

— Стало быть, их тут нет?

— Нет.

— Тогда не опасайся. Наш Филат не бывает виноват. В Москве жив остался, а в здешней деревне и вовсе. Не боюсь никого. Я выше всех губернаторов.

Залман заинтересовался:

— Из Москвы?

— Да.

— Служилый?

— Правде служу. Больше никакой службы не признаю. Звать как — спросишь? Отвечаю: московский мещанин Вавька Каин. Слыхал?

— Нет.

— Теперь услышишь. Обязательно! А Николу Чудотворца убери, пригодится.

Рахиль послушно унесла икону опять в сени.

— Святых дел я, как чорт ладана, избегаю. А это уж не дочка ли твоя? Такая красотка!

— Дочь.

— Звать-то как?

— Рахиль.

— А сыновья-то есть?

— Рувим. Больше никого. Трое нас.

— А он теперь где?

Из соседней комнаты вышел стройный худощавый юноша.

— Здравствуй, Рувим! Эка, ты какой!.. Грамотный ли?

— А как можно теперь быть неграмотным?—засмеялся отец.—Челобития купцам пишет.

Рувим конфузливо улыбнулся, поправил рубашку, провел пальцами по шелковому пояску.

— На сестру, парень, ты похож... Одень тебя в бабье платье — такой же будешь. Это вот хорошо, что ты грамотный... Обращусь и я к тебе с просьбою... Заплачу побольше, чем сквалыги-купчишки.

Рувим оставался серьезным.

Тем временем Рахиль постелила на полу Ваньке Каину постель.

— Ну, как у вас тут в Нижнем?

— Живем. Где же лучше-то?!—вздыхнул Гринберг, пожав плечами. Вздыхнула и Рахиль.

— Чего вздыхаете? — насмешливо посмотрев на них, спросил Каин.

Залман, Рахиль и Рувим переглянулись.

— Не бойся, свой человек. Всю библию вашу знаю, и так решил... Много вы от разных фараонов страдали,— значит, ни одному фараону не угодили... За это—молодцы! Так и надо! Да и русский-то народ со своими царями-фараонами покои века не в ладах.

Залман сел рядом с Ванькой и тихо начал ему рассказывать о той беде, которая на него свалилась: в Нижнем есть богатый заводчик Филипп Рыхловский. Человек этот близок губернатору, а сын его в Петербурге у царицы служит; из солдат в дворяне и офицеры попал. Сила у Рыхловского — громадная; кругом у него союзники: и попы, и полиция, и все палачи, и тюремщики. И вот этот всемогущий человек теперь хочет сжить с белого света его, Залмана Гринберга, и погубить его сына Рувима, помогаясь рекрутчины для него, и свергнуть в несчастное одиночество и бесправность Рахиль, отняв у нее отца и брата.. Он, Филипп Рыхловский, дурной человек, многих людей погубил на свете, многих в кандалы ковал, когда был тюремным кузнецом, и даже свою жену свел в могилу, уморил.

Возненавидел он его, Залмана, злится еще и на то, что Рувим пишет мордве челобитные, в которых мордва жалуется на Рыхловского, а те жалобы терюхане посылали даже в Сенат. Приезжие купцы, бывая в Нижнем, идут покупать товары на завод немца Штейна, а не на его, Рыхловского, заводы... Рыхловский и в этом винит его,

Гринберга. А причем тут он, Залман Гринберг? Разве ж без него не знают русские купцы, где им покупать товары? Кто же виноват, что не любят они Рыхловского? Будучи раньше раскольников, он перешел на сторону церкви и стал предавать своих же раскольников и многих из них самолично ковал когда-то. Опять же: причем тут Гринберг? А купцы те, которые останавливаются у него, у Залмана, на ночлег, по большей части, сами раскольники и ненавидят Филиппа Рыхловского хуже сатаны. И требуют нижегородские власти, чтобы он, Залман, крестился, и Рахиль также, и Рувим тоже. А на что это нужно? И, по всей видимости, если он не крестится, хотят они отнять у него, у Залмана, все добро и, как арестанта, заковать в цепи, погнать из Нижнего в дальние монгольские степи, за пределы государства российского.

— Здорово. Так я и думал! — сказал Ванька Каин. Глаза его озорно заблестели. Весь он завертелся, словно на иголках... — А где же обиталище этого самого человека... Рыхловского?

— Живет он на Кудьме, в своем имении...

Вдруг с нар поднялся большой, чернобородый дядя. Он потянулся и зевнул.

— Здравствуй, голова! — кивнул он Каину. — Тебя-то мне и нужно! Значит, ты — Каин?

Ванька вскочил, сунул руку за борт кафтана.

— Отойди! Убью!

— Брось! Я вышел тебя встречать, а ты...

— От кого пришел?

— От Михаила Зари.

— Так бы и говорил! А у меня и душа в пятки.

Обратившись к Гринбергу, Сыч похлопал его по плечу:

— А ты не хнычь, дедушка... Со мной тоже не лучше. Один монах в церкви на Дону призывал народ избивать дыган, которые, якобы, так же, вот, как и ты, торговле русских купцов мешают... И объяснил богомольцам он, в том числе и мне, что дыганами прозываются потомки Хама... Он говорил, что они болтают между собою на неизвестном языке, хвалятся знанием предбудущего и разных медицинских тайн. Сущий же их промысел — воровство; они подговаривают к себе в общество беспутных людей. Так объяснял нам монах. А его, слава тебе господи, заковали в кандалы за то, что в пьяном виде он

во время обедни, заместо государыни, свою жену провозгласил... Вот как, дедушка, а ты скулишь!

— Дай руку...— сказал Ванька.— Ты Хам, а я Каин... По библии мы с тобой одних кровей. Но где же мы увидимся с вашим атаманом?

— Под Макарьевым монастырем, на Волге. Он ждет тебя там.

— Милый мой!— крикнул Каин, засияв от радости.— Веди! Много я слышал о нем. Со мной еще шесть товарищей. Они в соседних домах ночуют. Идемте все вместе.

У Залмана были большие и какие-то ребяческие глаза, и к каждому из присутствующих он прислушивался с удивлением и любопытством, приговаривая: «так, так, так»... И кивал услужливо головою, но, выслушав всех, делался еще задумчивее.

На утро, когда все проснулись, залманово горе заставило, все-таки, задуматься и Ваньку Каина, и дыгана Сыча, и Турустана. Что ни говори, а правды от губернатора не жди! Правда у «Петра и Павла»<sup>1</sup> осталась. А тем более—еврей...

— Плохо дело!— вздохнул Сыч— кругом кулимеса, будто от беса... Добрый человек своей смертью не кончает век—иначе в царство небесное не попадешь.

Тогда выступил Рувим. На бледном лице его зарделся румянец. Зубы маленькие, белые, будто у ребенка. Ну, что он там еще может сказать, этот хилый, бледный юноша? Однако, Рувим говорил смело, подавив в себе минутное смущение:

— Отец! Отпусти меня с этими вольными людьми... Не хочу я быть виноватым без вины. Воспротивиться намерен я злу и поискать выхода иного.

— Ого!— подмигнул Ванька Каин Сычу.— Видать, соколенок! Гляди, как нахохлился!

Старик поник головою, начал шептать молитву. У Рахили на глазах выступили слезы. Она опустила густые ресницы.

— Рувим,— сказала она,— как же ты бросишь отца и меня?

— Зачем мне бросать вас? Что ты, Рахиль! Я хочу

---

<sup>1</sup> В Москве был известный застенок—«Петр и Павел».



сберечь отца и тебя и найти безопасный для еврея угол.

— Правильно! — хлопнул его по плечу Сыч. — Вот, смотри на него, — он указал на Турустана, — и отец и мать есть у него, а ушел, скрылся от приемщиков, а ты еще и не рекрут... Ты же свободный человек и волен себе искать, где хочешь, места... Не крепостной же ты?

— Вот я! — с гордостью ткнул себя пальцем в грудь Ванька Каин. — Все тюрьмы московские, подмосковные и петербургские обо мне плачут, а я плюю на них... Пускай плачут. Леший с ними! Один мудрый вор сказал: «под лежащий камень вода не течет». Вот почему я и отправился на богомолье к Макарию... И тебе не след сидеть в Нижнем. Парнишка ты, видать, шустрый, разбираешься... Идем с нами! Отец потом спасибо скажет.

Турустан молчал, но видно было по его лицу, что ему тоже хочется уговорить парня идти с ними. Чего может Рувим дожидаться здесь? Так же, как и мордвин, — одна участь. Плетью погонят креститься, деньгами будут подкупать, вином; будут грозить тюрьмой и пытаться... «Э-эх, право! Решайся, пока не поздно!»

Цыган Сыч присел на корточках против Залмана, заглядывая ему в лицо:

— Тятя, не лмайся! Не отказывайся от своего счастья. Мы и тебе с дочкой место припасем... А таких красавиц и найти трудно, и не одобровать ей тут около генералов и дворян, как малинке-ягодке около медведей.

— Не бойся! В обиду не дадим. — Ванька Каин щелкнул языком. Рахили показалось, что его оттопыренные уши зашевелились, как у летучей мыши.

Он заговорил ни для кого не понятной скороговоркой:

— Пол да серед сами съели, печь да полати в наем отдаем и идущим мимо милости подаем, и ты будешь нашего сукна епанча. Поживи в нашем доме, в котором довольно: наготы и босоты изнавешены шесты, а голоду и холоду — амбары стоят. Пыль и копоть, притом нечего и лопать<sup>1</sup>. Одним словом, бедным людям вредно задумываться. Решай!

Залман поднялся с места. Осмотрел всех кругом мутным взглядом и сказал тихо:

---

<sup>1</sup> Воровской жаргон. Смысл сводится к тому, что «и ты будешь наш».

— Иди!

После этого Сыч повел беседу с Залманом о Рыхловском. При упоминании о степанидиной тетке Сыч вздрогнул, разволновался. Пришло на память—как двадцать два года назад он провожал Степаниду в стан ватажников, как провел он с ней время на берегу Волги, в Кстове, где проживала ее тетка. Была ночь. Над Волгой сверкала россыпь осенних звезд. А дальше... Лучше не вспоминать.

Рахиль предложила гостю проводить его в дом Рыхловского. Сыч обрадовался.

— Она тут недалеко живет, у Почаинских оврагов...

— Знавал я их дом,—сказал Сыч,—но уже забыл. Ну, пойдем!

По дороге он рассказал Рахили, как однажды, когда в Нижний приезжал царь Петр, он пробрался потихоньку к дому Рыхловского и напугал жену его тем, что хотел похитить у нее ребенка, ее сынишку Петра...

— А зачем он тебе понадобился?—удивилась Рахиль.

— Да разве ж я знаю? Я и сам не знаю... Любил я ее крепко и не хотел, чтобы ее мальчонкой владел Филипп.

Цыган замолчал, а Рахили показался его голос сердитым, она решила больше не расспрашивать, да и говорить было трудно—слова заглушал налетавший с Волги ветер.

Старушка сразу открыла дверь, как только услышала голос Рахили.

— Вот привела к тебе, бабушка, гостя.

Сыч вошел в горницу и закрыл лицо шапкой. Рахиль снова ушла к себе домой.

— Вот-вот... в этой самой горнице...—тихо сказал Сыч,—я взял на руки мальчонку, а она испугалась, отняла его у меня...

— Кого?—удивленно спросила старуха.

— Степанида... Петра...

Старушка усадила гостя. Сыч сделал над собою усилие и с напускным безразличием заговорил:

— Да, матушка, знаю я твоего Филиппа Павловича... Как же не знать? Коней водил к нему я в кузницу ковать. Десятка два лет тому назад... И разбогател-то он на моих же глазах... Ха-ароший человек!

— Ой, батюшка! Лучше и не вспоминай! Не кто другой, как я же, за него Степаниду выдавала, господи!.. Царствие небесное голубушке!.. Знать, уж так и нужно было... Зацутал он нас.

Старуха заплакала. Сыч сердито барабанил пальцами по столу. Когда она перестала плакать, он сдвинув брови, сурово спросил:

— Отчего же умерла?

— Бог ее знает!

— Говори, бабушка, правду... Я никому не скажу, хотя бы и на дыбе... Привык я хранить разные тайны.

— А кто же ты будешь-то?

— А ты не испугаешься, коли правду скажу?!

— Нет, нет, батюшка, бог с тобой!.. Чего же мне, старой, пугаться?!

— Беглый я, бездомный человек... Зовут меня товарищи цыганом Сычом... Помнишь?!

Старушка не то в ужасе, не то в удивлении всплеснула руками:

— Сыч!.. Разбойник! Цыган!..—и уставилась своими слезящимися глазами в его лицо, нашептывая про себя молитву.

— Чего же ты смотришь на меня так?

— Ой, ой, ой, ой!..— снова залилась горючими слезами Марья Тимофеевна. Успокоившись, прошептала, испуганно озираясь по сторонам:

— Каюсь мне она перед смертью-то... Все до капельки поведала. Знаю я, батюшка, теперь все... Твое дитя!

Сыч ободрился, спросил просто:

— Где Петр?

— В царском дворце он служит... Далеко! Ах ты, господи, что бы тебе пораньше-то приехать, и ее увидал бы и его бы, голубчика, посмотрел... Большой стал, красивый, черный, как и ты...

Опять слезы.

— Отчего же, однако, померла Степанида?

— Заболела. Застудилась. Да боясь без покаяния помереть, на исповеди покаялась попу Ивану Макееву, что-де сына-то она прижила с другим... согрешила, мол, перед мужем... А поп возьми да и скажи о том Филиппу Павлычу... Вот какой пастырь! А Филипп расвирепел, обогрел на больную и извел ее. Вместе со своею домоправительницею Феоктистой отравили, видать.

Сыч выслушал ее и мрачнее тучи вышел на волю.

Потрескивало масло в лампадах; колебались огоньки. Темные лики угодников гримасничали. Для праздника так их намастили, что пламя отражалось в них, словно в воде. Тяжелыми серебряными пластинами липли к иконам ризы и киоты. Тихо и стройно пел монастырский хор.

Ванька Каин теперь был поглощен одною мыслью: дорогою из Нижнего он узнал, что в Макарьевском монастыре крест осьмиконечный есть, наполовину серебряный, наполовину золотой, больших денег стоит. Надо бы посмотреть, но как? Крест напрестольный. Не побывав в алтаре,—не увидишь. (Оклады на иконах никуда не уйдут—ими можно заняться и после.) Ванька вздохнул: «Эх, люди!».

Московский знаменитый вор исподлобья обвел взглядом и другие ценности храма. Сердце замирало. Забыл обо всем на свете человек. Только взглянув на Рувима, смиренно стоявшего рядом с ним, на цыгана Сыча и Турустана, усердно отбивавших лбом поклоны, он пришел в себя. Да, это тебе не Москва! Не родной дом! Инок, который был у них провожатым, стоял тут же и многозначительно кивал в сторону высокого бородатого мужчины, одетого в темносиний кафтан и подпоясанного желтым кушаком. В наружности его проглядывала явная самоуверенность. Широкоплечий, степенный, похожий на былинного богатыря, он молился усердно, неторопливо, вдумчиво, косясь изредка на Ваньку с товарищами.

Теперь понятно, почему инок кивает головой в сторону этого человека, — стало быть, он самый и есть — атаман Заря! Вот бы уж никогда не подумал Ванька Каин, что сей почтенный мужчина с честным, умным лицом — предводитель разбойников! Толкнул Рувима, покосился на Михаила Зарю. Рувим тоже понял, толкнул Турустана. Аминь! Больше ни взгляда, ни движения! Ванька с богомольным видом стал на колени и давай снова отбивать поклоны. Рувим, не мешкая, последовал его примеру. Монастырских сыщиков берегись! За плохое богомолье — государыня повелела взыскивать наистрожайше. Всем известно — с богомольем нынче не шутят. Царица не только сама денно и нощно молится о своих преступлениях, но и всю Россиюшку заставила за нее молиться.

Ванька стучался лбом о пол, а сам думал: «Охлади,

господи, душу мою ненасытную — помоги стяжать крест твой господень, на престоле лежащий и золотом, яко солнце, сияющий! Накажи монахов, род гнусный и лицемерный. Недостойны они твоей милости! Боже! Вознагради мое смирение — могу ли я дерзнуть мыслию сопчисленным быть к лику святых, погрязая во гресех, ересях и заблуждениях, а оные иноки, творя беззакония и непопребства, дерзуют карабкаться на небо, имея, якобы, к тому упование сесть в одном ряду с Николаем Угодником и другими вельможами. И прошу еще я, униженный, смиренный раб твой, отдай оный серебряный с золотом крест мне, а не кому другому! Зачем он макарьевским инокам, во лжи и невежестве утопающим?!».

Каин ощутил на плече чью-то сильную руку. Вздрыгнул. Оглянулся. Атаман Заря. Улыбается.

— Идем! — шепнул он и с достоинством пошел вон из церкви.

За ним потянулись Каин, Сыч, Рувим и Турустан. Михаил Заря осторожно шагал среди распластавшихся на полу богомольцев.

— Быстро ты спроворил! — сказал он, разглядывая Каина, когда вышли на волю.

— Не верю я ему! — кивнул на Ваньку шедший рядом с Сычом Рувим.

— Молодой, а глаз у тебя острый... Известно: вор не брат, потаскуха не жена.

Турустан поддакнул:

— Глазища-то какие плутовские!.. Ой, братцы! Напрасно мы с ним связались!

И всем троим стало легче. Каждый до того тайно следил за Ванькой, но высказать своих дум не решался. А теперь все трое, оказывается, думали одно и то же.

— Тише, отроки! — одернул товарищей Сыч. — Вида не кажите до времени. Что будет!

Ванька громко смеялся и хлопал Михаила Зарю по плечу, как давнего приятеля. Атаман был серьезен. На ярмарочной площади, пустынной и безлюдной по случаю кануна праздника, из-за одного ларя высунулся чернец.

Цыган показал ему нож. Чернец исчез.

— Кто такой? — спросил Рувим.

— Шпион, — спокойно ответил Сыч. — Они теперь под каждым ларем.

— Чего ради?

— Эх, чудак! За атаманскую голову воеводы тридцать рублей дают! А ты говоришь!

— Чего же ради они его не схватят? Не видят нешто они, что нас немного?!

Цыган весело рассмеялся:

— Дитяtko ты неразумное! Наших полна церковь! Остались богу молиться они для вида. Да и чернец-то, что дорогу нам казал, не кто иной, как наш, да и нищие, что на паперти сидят,—тоже наши, да и монахи, говорю, многие в заговоре с нами. Атаману только свистнуть—и вся ватага слетится. Вот и не трогают! Поневоле.

Рувим покраснел. Возрадовалось его сердце. Он с уважением и трепетом смотрел теперь вслед идущему впереди атаману.

— Видать—советоваться будем. Тяните атамана на тот берег... Рыхловского зорить,—науськивал товарищей Сыч.—Самый главный лишай он на белом свете. Господи, что же это за сукин сын такой уродился?! Не умру я, детушки, спокойно, пока не отомщу за Степаниду! Зарежу я Фильку, а печонки его по сучкам развешаю—клюйте, галки, вороны, сороки! Долбите его!

Турустан, слушая Сыча, погрузился в размышления:

«Цветок белеенький лесной, Мотя моя дорогая! Как же должен я о тебе сокрушаться! Поля и леса родные, девушки и парни, старики и старухи! Турустан сдержит клятву и вырвет у злодея, коршуна в обличье человечьем,—свою невесту. Отомстит он и за отца своего, и за мать родную, и за всю мордву!»

У Рувима были свои мысли:

«Защитники христианства,—думал он, глядя на Макарьевский монастырь,—чего добиваетесь?! Почему ополчились на нас? За что страдает мой отец? Чем провинился он? В талмуде говорится: «негодует на нас небо за наши грехи, а мир за наши добродетели». Отец, кроме добра, никому ничего не делал. Неужели ему суждено погибнуть за свое доброе сердце?!»

Трудно было удержаться от грустных мыслей, идя по пустынному берегу Волги и слушая унылый осенний водопад. Каждому хочется жить спокойно, не страшась никого. Каждый бы с радостью поселился где-нибудь на постоянное житье, обзавелся бы семьей, но... все эти люди—беглые преступники. Сам Михаил Заря был бы в торговле умнейшим из купцов. В Нижнем только и раз-

говору о том, что разбойники доставили «порядочнее всех прежних артелей» соль для Строганова. Но, попробуй, явись Михаил Заря к губернатору, покайся в своих поступках и попроси у него работы, — все одно каторга, если не хуже.

Закон неумолим: «Буде приведут разбойника—его пытать. Буде он с пытки повинится, что он разбойничает впервые, а убийства не учинил, у того разбойника за первый разбой отрезать правое ухо, да в тюрьме сидеть три года, а животы<sup>1</sup> его отдать истцам. После тюрьмы посылать его в кандалах работать всякие изделия. А ежели первый раз и с убийством—тех разбойников и за первый разбой казнить смертью».

.....

Совет держали в рыбацкой сторожке: Михаил Заря Ванька Каин, цыган Сыч, есаул Зари—уральский башкир Хайридин, Рувим, Турустан и какой-то поп-расстрига. Спор был большой. Ванька, всем на удивление, стал доказывать, что необходимо до ниточки обобрать Макарьевский монастырь. Михаил Заря смотрел на него недобрый взглядом.

— Как же нам грабить монастырь, когда монахи лаватаге не делают, а многие из них даже помогают? И зачем нам золото? Ни больному не приносит пользы золотой одр, ни неразумному — большое счастье. Нам нужен хлеб, мир в нашем стане, а коли мы озлобим монахов—не житье уж будет нам тут. И кормить они нас не станут.

При слове «золото» Ванька краснел, потел и бил себя кулаком в грудь, уверяя, что в Москве за золото можно любую душу купить, даже сенаторскую. Глаза его делались мутными, словно от вина.

Примирил атамана Зарю с Ванькой Каином расстрига, сказав:

— Не поддавайся соблазну, раб Иоанн! Лучше жить бедняком, нежели обобрать обитель. Мир—что огород,— все в нем растет. Под небом много и других кладов земных. Не обижайся на монастырь! Где нашего не пропало?! Поверни острие глаза своего на имение бывшего царя сына любовника, ныне отдыхающего на покое в

---

<sup>1</sup> Имущество

дареной ему царицей усадьбе, в Работках... Богат он. Звать его Алексей Иванович Шубин... Сего доброго христианина едва ли можно нам оставить без нашего внимания...

Ванька Каин от радости засмеялся, пошлепал пона по плечу.

— Свет христов просвещает всех!

Повеселели и другие.

— Вельможу тем мы не обидим,—сказал с улыбкой и Михаил Заря,—все пойдет в дело: богу на свечу, царю в подать, нам на пропитание...

Посыпались шутки. А в это время к костру приблизился один высокий худой монах, приведя с собой дюжего детину, только что пожаловавшего в монастырь беглого крестьянина. Был он белокур, молод и простовато весел.

— Как тебя зовут?—обратился к нему Заря.

— Кого? Меня? Василием.

— Чей родом?

— Из-под Нижнего, деревни Монастырки...

— Попал сюда как: охотой или неволей?

— Утек по нужде, от рекрутчины.

— Души не губливал?

Глаза Михаила Зари сощурились; он пристально вглядывался в лицо присоединившегося к ватаге.

— А что?

— А коли придется—погубишь?

— Нужда заставит—отчего не так?! Согрешу.

— Присягнешь мне служить верой и правдой?

— Присягаю. Вот тебе крест честной!

— Молись на все четыре стороны.

Заря поднялся со скамьи. Встали и все другие.

— Присягаю не щадить жизни своей за атамана и товарищей. Попадусь—никого не выдавать... Умирать одному за всех...

Он послушно повторял слова присяги за атаманом.

— ..Будут истязать—стану молчать. Резать будут—буду нем, как рыба.

— ...нем, как рыба...

— ...А нарушу присягу—быть мне убитому, как собаке.

Взгляд атамана смутил Василия. Парень подсмаркивался, вертел головой.

Впрочем, Василий оказался малым со смекалкой. При



людях он не высказывал атаману всего. И только после присяги отвел его в сторону и по секрету на ухо сообщил, что у него важное дело: он, Василий, своими глазами видел, как губернаторовы люди и монахи грузили в Нижнем в одну из расшив оружие и церковную утварь. И слышал он, что-де расшиву эту отправляют губернатор и епископ. А идет она в некое место повыше Макарьева. И предназначено оружие в чувашские и мордовские земли для воевод бить разбойников, а утварь для вновь строящихся храмов. С тою расшивой плывут также пристав, малая команда, человек в десять, да монаха два и несколько бурлаков.

Василий крестился в сторону монастыря и клялся до хрипоты, что не врет, что расшива эта скоро будет даже у самых макарьевских песков.

Крепко задумался Михаил Заря, заходил, нахмутив брови, взад и вперед по берегу. Он строго-настрого приказал парню до времени хранить то, что он знает, — втайне.

. . . . .

Поздно ночью, у костра, Рувим и Турустан знакомились с башкиром.

Хайридин помнил, как объезжали башкирские деревни какие-то «бояр» на тройках, собирали сходы, поили башкир вином, давали им разных товаров. А после больших пиров и веселья — «бояр» заставили башкир подписать бумагу. И «бояр», уезжая, давали башкирам деньги, и башкиры благодарили Аллаха за неожиданное счастье. А потом... потом... деньги вышли, в лесах понастроены были новые избышки. И оказалось неожиданно-негаданно, что лес и землю башкиры, якобы, продали царским купцам. Хайридин не захотел жить в неволе у царских купцов и ушел на Волгу. Вот каким образом и оказался он в ватаге у Михаила Заря.

Тихо потрескивал валежник, искры улетали в темноту, в сторону Волги. От воды прохладило — тихо шуршали волны в сухих водорослях. На макарьевской колокольне колокол торопливо отбивал конец всенощной.

. . . . .

Утром Михаил Заря передал своим товарищам рассказ Василия, при этом заявил:

— Шубин в Работках подождет. Никуда не денется.

Снова разгорелся спор. Ванька Каин опять на дыбы! Зачем-де нам трогать государев корабль? И чего ради нам ввязываться в дела язычников?! И чорт с ними, и с оружием! Пускай подавятся им воеводы! Пускай перебьют, хотя бы, всех чувашей, черемисов и мордву! Не разбойничье это дело. Какая нажива ватаге от оружия и от дерзовых риз?! Куда их! Бунтовать Каин отнюдь не желает.

Михаил Заря слушал его и грустно качал головою: «ну и ну,—московский вор!». Когда Заря выразил Несмеянке желание познакомиться с Каином, он думал о Каине совсем иначе. Он считал, что Каин сообщит что-нибудь новое о власти; прояснит ум волжской вольнице; даст понятие, как жить бездомному люду дальше? Не будет ли какого снисхождения у властей к вольным людям? Многие, ведь, рвутся к раскаянию, к оседлой жизни, но... есть ли на милость царицы твердая надежда? Ванька Каин — московский житель, много слышал, много знает, и вдруг... такая ошибка! Надежды на лучшее может ли поддержать в измученной разбойничьей душе этот жалкий воришка?!

Сыч озабоченно следил за выражением лица своего атамана. Не он ли дал честное атаманское слово помочь мордве? Сыч начал волноваться. Он догадывался, о чем думает Заря. Всем известно, что атаман многого ждал от встречи с Каином. И в Лысково-то устремился с низов едва ли не ради этой встречи с знаменитым московским вором. Он сам, Михаил Заря, тоже ведь устал. Признавался друзьям. Два десятка лет, ведь, скрывается он от губернаторов и воевод, как затравленный зверь.

Сычу стало жаль своего атамана, с которым пережил столько горестей и печалей, и он вспомнил о своих беседах с Несмеянкой. Сыч вдруг крепко схватил Ваньку за руку, грозно процедив сквозь зубы:

— Смолкни! Утоплю! Совесть нет у тебя! Вор!

Каин вырвался, вскочил с бревна, на котором сидел, поднял громадный камень и стал ругать дыгана матерно. Сыч за кинжал. Разгорячился. Насилу его сдержал Хайридин.

Михаил Заря сказал Сычу с улыбкой:

— Избегай поспешности!

Ванька Каин, продолжая держать в руке камень, ждал.

С большим трудом удалось успокоить дыгана. Чтобы предупредить драку, Турустан и Рувим сели рядом с ним,

умоляя его не горячиться. Расстрига, мотая седой бороденкой, яростно набросился на Ваньку:

— Люби предвечного бога, раб Иоани! Все доброе в человеке божественно само по себе и не повредит сему брань с воеводою либо с епископом... Ежели волк терзает овцу— не велика честь тому волку, но ежели лев бросается на дракона, то сие не унижает достоинства льва...брось камень, раб Иоани, пускай порастет он травую, а ты—благо-разумием...

Ванька, не обращая на эти слова внимания, зло следил за цыганом.

Совет есаулов возобновился. Михаил Заря сказал:

— Два медведя не могут жить в одной берлоге...Один вытолкнет другого. Пускай же этим последним буду не я. Мой сказ: воспрепятствуем расшиве! Не дадим ей прорваться сквозь наш стан... И нам, и мордве, и прочим людям будет плохо, коли она уйдет вниз. Каин—человек чужедальний... Ему горя мало, в кого будут палить губернаторские ружья, нам же не все равно. Нам от них гибель, коли расшива доставит ружья в Воротынскую либо Курмышскую тайную канцелярию.

Выслушали атамана с выражением сочувствия в глазах. Ну, конечно! Кто же послушает заетного проходимца! Кто согласится предавать своих же? Развалить ватагу не захочет ни один разбойник, ибо, развалив ее, погибнет он и сам.

С атаманом все согласились, кроме Ваньки Каина: лучше умереть, а губернаторскую расшиву не пропускать вниз по Волге в тыл ватаге. Беда, если воротынский или васьурский воеводы умножат свои команды. Они тогда загородят ватаге ход на низы, дорогу к отступлению. Да и мордве и чувашам горе наступит великое. Губернатор и епископ хорошо знают свое дело.

## XVI

Началась подготовка к достойной встрече с губернаторской расшивой. День был серенький, ветреный, Волга—беспокойна. В прибрежья появились вороны. Возбужденные оживленьем людей, они нахохлились, каркали, носились в воздухе, садились на ближние сосны.

Атаман Заря надел шлем и кольчугу. Эти военные

доспехи сняты были под Астраханью с одного раненого ватажниками воеводы.

Заря как будто не чувствовал тяжести кованой рубахи; она не стесняла его движений, он легко ходил по берегу, покрывая на своих помощников, и словно бы не замечал Ваньки Каина. Ватажники подтрунивали: «воробей» и «кречет».

Атаман Заря подошел к цыгану.

— Надо бы спешить. Ветер попутный. Скоро подойдут.

— Рувим побежал за ними в монастырь.

— Кличь и других.

— Турустан кличет. Скоро сойдутся.

— Струги?!

— Упрятал их Никодим в заводь.

— Дай монету отцу Никодиму за старание. Бог с ним!

Сыч указал на Каина:

— Ишь, съезжился! Эх, и что за люди!

Михаил Заря промолчал.

Ветер усилился, волнуя Волгу, взбивая на воде полчища беляков; согнул дугою прутья на побережье, — вода с ревом набрасывалась на отмель, а уходит, шипела, как тысяча змей. Кто осмелится плыть по Волге в такую бурю?

Атаман озабоченно посматривал на реку.

Сыч вздохнул:

— Э-эх, кабы тихо!

— Ладно. Бывались и не с такими ветрами. Каспий побеждали. Поборемся и теперь. Пускай бахилы оденут... на бахилы—лапти... Холодно, да и намокнем, гляди... Не застудились бы.—Вина, небось, добудем на расшиве—обогреемся. Вот что!

Цыган, насвистывая, пошел к лесу, а навстречу ему и сами ватажники: кто с ружьем, кто с луком (башкиры и черемисы); кто с пиками, с саблями, с кистенями и пистолетами; в длиннополых кафтанах, в полушубках, в армяках, в чернецких рясах, подпоясанные веревками, цветными кушаками. Засиделись в скитах, на готовых-то харчах. Да и монахи поусердствовали—кормили наубой. Будь паспорт, куда бы, кажется, не ушел из керженского леса да от монастырских харчей. Но уходить надо, судьба навеки связала с ватагой. Один скорее пропадешь. Места много, а привалиться негде. Куда голову-то сложишь? А здесь товарищи клятву дали один за другого

жизнь положить, коли понадобится. К тому же, атаман—человек незаурядный, умный. Без вожака-то как? Вожак—единит всех, а удача—дружный нахрап любит. Разбойник свою судьбу знает. Атаман всегда говорит: либо в стремя ногой, либо о пень головой. И нет такого человека даже среди самых забитых крепостных, который бы стал о пень головой колотиться. У каждого нога к стремянам тянется. Отвага мед пьет и кандалы трет; бог с ней, и с жизнью! Лучше умереть в бою, чем неволя.

Вот почему с такой готовностью собираются ватажники.

Цыган Сыч напомнил о бахилах. Но и тут опоздал. Все уже были обуты, как того требовал атаман. Порядок известен.

На скрипучих телегах привезли мешки с хлебом. Рувим и Турустан хлопотали около подвод, считали и перетаскивали к стругам провизию. Доставили все это базарные торговцы. Не особенно-то весело выглядели макарьевские прасолы, но ни слова не решались говорить против. Таскали на своих же спинах взятый у них хлеб. Между колес суетилось воронье.

Из заводи ватажники с криком и смехом выводили струги и нагружали их.

Ванька Каин все время сидел на камне задумчивый, следя исподлобья за всеми приготовлениями. Атаман Заря достал уголь из кармана, подозвал Рувима и, получив от него лист пергамента, крикнул Хайридину:

— Зови!

Тот свистнул, что было мочи. Повалили ватажники к атаману.

— Волга!—сказал атаман, проведя на бумаге две черты.—Стрежень! Место около стрежня и будет твоя засада, Сыч. Бери три струга с баграми. Задержишь расшиву, когда выйдет на стрежень. Мы ударим с этой стороны, только не все разом. Ты, Хайридин,—первый, потом я. У них есть пушка. Плывите не густо. Остерегайтесь!

Толкая один другого, склонились над бумагой, засопели в раздумьи. Атаман чертил путь расшивы и расположение своих стругов. Он объяснял каждому, кто и что должен делать. Его слушали с большим вниманием. Мало того, после он расспросил каждого—хорошо ли тот знает свое место и дело. Три струга предназначались для погрузки отбитого добра. Рувиму Заря сказал:

— Спиши, что сложим в струги. Все должно быть цело. Турустан и ты будете в ответе.

Ванька Каин вздохнул, неодобрительно покачав головою. Постояв несколько минут около ватаги, он снова сел на камень и задумался:

«Э-эх! Зачем я утек из Москвы? Плохо ли там жилось?»—и с грустью размышлял он о московской жизни. Что Сыскной приказ? Не страшен он теперь! Обворованные, ограбленные кидаются туда и сюда, но нигде толка они никакого не добиваются и не добьются. И бывает так, что и вор пойман, и вещи найдены, а жалобщик остался не при чем. Знай Москву! Подьячий с полицейским офицером толк в вещах не хуже воров понимают. Первые они присваивают себе все самое лучшее из краденого, а остальное делят секретари и ассессоры. Ни одна вещь зря не пропадает. А воры отпускаются на волю. Вот тебе и закон! Ловкость человеческая превыше всякого закона. Можно кого угодно в случае нужды подкупить. Это ли не жизнь?! А что такое полицейский?! Самих полицейских при обысках москвичи бьют до полусмерти. И безо всякого ответа. «Э-эх, глупый, глупый! То ли не жизнь была тебе в Москве? По кой же дьявол залез ты сюда, в эту глушь и нищету? Много ли ты взял с Макария? Ничего. Где знаменитый золотой крест? Нет его!» Если бы он, Ванька, стяжал крест,—давно бы его уже не было здесь. «Видать, пива не сварить с этим упрямым дядей. Ломается, как арзамасский воевода... Подумаешь, завоеватель какой! Пропадут воры от таких глупых атаманов».

Пока Ванька грустил о Москве,—ватажники успели уже обрядить часть стругов и спровадить на них цыгана Сыча с товарищами на ту сторону Волги.

При отходе стругов атаман Заря двуперстно перекрестился, хмуро покосившись на Ваньку. Затем отдал приказ грузиться Хайридину. Сам распределил пули. Они были разные: одни литые и круглые, другие—продолговатые, граненые, грубо нарезанные из свинца. Эти пули назывались «жеребьями». Кому нехватило пуль, атаман давал тем смешанную со свинцовыми стружками крупную дробь.

— Пули зря не расходуй!—наставительно говорил Заря. — Жалейте! Работайте наиболее саблей и кистенем.

В полдень все приготовления были закончены. Ватажники укрылись под берегами, притихли, направили взоры

свои вверх, на Волгу. Только ветер попрежнему набрасывался на воду, на кустарники, на людей, на струги.

Михаил Заря сидел на корме, смотрел вдаль. Ванька Каин тоже влез в один из стругов и, рассматривая свой пистолет, вертел его в руках, вздыхал.

Небо темнело. Наползали облака. Холодало. Того и гляди—пойдет снег. Люди кутались в зипуны, растирали уши, руки.

Действительно, вскоре, чуть заметное, показалось судно. Люди встрепенулись, глаза их блестели—каждый из них крепко сжал в руках оружие.

— Она!—молвил Заря.

Расшива, покачиваясь под порывами верхового ветра, быстро шла вниз по течению. Громадные паруса ее надулись, сверкая своей белизной.

Гребцы приготовились. Одно слово—и струги ринутся на середину реки.

Расшива медленно огибала стрежень.

Пять стругов Хайридина стали быстро удаляться от берега. Башкирец вытянулся во весь рост на корме, обнажив свою саблю. Он пригнулся, как будто хотел прыгнуть через воду на видневшееся вдали судно. Везде и всегда Хайридин первый бросается в бой и теперь, казалось, не стерпит, вот-вот ринется через борт. Но нет... Он застыл.

Прогремел залп. Сыч начал действовать. Около расшивы заколыхались его струги. Маленькие, еле различимые на воде, они рвались вперед, к расшиве, отбрасываемые течением и ветром. Хайридин крикнул, чтобы гребли скорее, согнулся еще ниже, вытянул саблю... заскрежетал зубами...

. . . . .

На судне поднялась тревога. Пристав, вытаращив глаза, кричал на перепуганную команду, заставляя ее стрелять.

— Разбойники! Разбойники!—бешено метался он по палубе.

Солдаты растерялись не на шутку. «Много ли нас!»—думали они. Разбежались. Пристав попробовал зарядить пушку сам. Солдаты приободрились. Подскачили к пушке, начали возиться около нее, попробовали даже стрелянуть, но ничего не получилось. Ядро не вылетало. Пристав плевался, пинал сапогом то одного, то другого стрелка.

А тут какой-то бурлак влез на нос расшивы и давай размахивать красной рубахой; орет на всю Волгу, дает сигналы.

Пристав с размаху ударился в него по-бычьей головой, сбил его за борт. Над головой прожужжала пуля. Снизу, со стругов, сыпалась страшная ругань. В ужасе распластался на палубе испуганный командир расшивы.

— Бей их, окаянных!.. Бей разбойников!—вопил он, барахтаясь на животе.

Приподнявшись и заглянув за борт, он увидел быстро подплывающие к расшиве еще новые пять стругов. Он вскочил и принялся, как попало, стрелять в эти струги.

Солдаты продолжали возиться около орудия, тщетно стараясь выстрелить. Что такое случилось с пушкой?! Не испортил ли ее пристав? Зарвались солдаты. Забыли даже, что вокруг идет пальба. Только, когда один из них упал, убитый ватажниками, все они разбежались по разным углам палубы, улеглись ничком.

— Давай якорь!—ревело внизу множество голосов.

Пристав, стуча зубами от страха, дрожащею рукой заряжал ружье и снова стрелял без толку. Но вот впереди, наперерез расшиве, с того берега показались еще новые струги. Руки и ноги у пристава похолодели. Он понял — бороться бесполезно: «откуда эта чортова пропасть?!».

— Якорь! Якорь!—галдели ватажники.

Бурлаки вопросительно переглядывались между собой. Хриплые, злобные вопили внизу голоса:

— Кидай, сволочь! Хуже будет!..

— Бурла-а-аки!..

Вой ветра, рев воды, остервенелые вопли разбойников вывели бурлаков из оцепенения. Они быстро поднялись и побежали к якорю. Пристав, увидев это, подкрался к ним подзком, размахнулся и давай лупить бурлаков прикладом: «Иуды, проклятые!». Ударил одного, другого, третьего, ругаясь всячески. Один из бурлаков все же ухитрился столкнуть пристава в трюм, вместе с его оружием. Икнуть не успел, как его уже на палубе не стало. Солдаты и бурлаки бросили якорь и крикнули, что было мочи:

— Эй, не губите?!!

— Прймайте! Спускай канат!..

И кому бы пришлось в голову спорить из-за каната, когда нужно свою жизнь спасти?!!



— Сарынь на кичку!<sup>1</sup>—крикнул Михаил Заря.

Около расшивы закопошились в волнах разбойничьи струги. Ватажники стали карабкаться по канатам на палубу, стиснув в зубах ножи.

Поднялись на судно и есаулы—Сыч и Хайридин, а за ними и сам атаман.

Заря оглядел палубу деловито, по-хозяйски, и приказал привести к нему пристава. Бурлаки спустились в трюм, вытащили его оттуда. Волокли под-руки. Он плакал, упрашивал отпустить его. Не губить.

— Куда плыв?—сурово спросил атаман.

— На Суру...

— Зачем?

— Ополчение собирает сергачский воевода...

— Какое ополчение?

— Христианские храмы, вновь строящиеся, защищать...

— Так ли? Смотри, в Волгу бросим! Говори правду.

— Воры с низов прибыли... разбойники...

И пристав завыл тоненьким голоском.

— Ну?

— Хоть убейте! Не знаю я ничего...

— А церковную рухлядь куда?..

— В чувашские и мордовские деревни...

Пристав совсем растерялся—он узнал атамана. Ведь это тот же самый подрядчик, которого он видел в Нижнем и который доставил Строганову соль.

— Где деньги?—строго спросил Заря.

— Нет их у меня... Берите все! А деньги я потратил в Нижнем... Ни копейки нет!

— Где деньги?—Заря приставил к его лбу пистолет.

Пристав побелел от страха:

— Не губи души христианской, всю казну отдам. Не мои они! Губернаторовы.

— Эй, христианская душа!—крикнул ему цыган.— Скажи-ка нам, сколько ты загубил душ: христианских и не христианских?!

— Покайся, демон!—дернул пристава за чуб расстрига.

— Каюсь! Каюсь!—упав на колени, зарыдал он.

— Вставай!

Еле передвигая ноги, побрел он в трюм, сопровождаемый атаманом и есаулами. В сундуке нашлось и золото

---

<sup>1</sup> «Ватага, на нос судна!»

и серебро. В трюме было много мешков муки, круц, пороха, ружей.

Рувим, расположившись на одном из ящичков, усердно писал, а Турустан складывал переписанное в сторону для переноски в струги. Ватажники подшучивали друг над другом и, смеясь, принялись за работу.

— Дуван знатный! — радовались они, взваливая себе на спины мешки и поднося их к борту. Заботливо обвязывали веревками и с песнями спускали вниз, в струги.

Пока происходила перегрузка, атаман отбирал у солдат оружие, а у бурлаков — паспорта.

— Чтобы вы не бежали с судна, да не известили кого, по простоте душевной не проболтались, мы вас всех свяжем. Таков наш закон. Души губить бурлацкой не будем. Живите и про нас поменьше болтайте!

Солдаты и бурлаки покорно растянулись на полу. Ватажники перевязали их.

Затем атаман и есаулы обсудили, что делать с приставом. Кто предлагал его утопить, кто зарезать, кто сжечь, а кто просто связать и оставить на расшиве, не убивая. Решили не губить.

— Помни, коли расскажешь кому о нас, — карачун тебе. Везде найдем. Нигде не укроешься! — заявил Заря. По его приказу, пристава заперли на замок в «казенку».

Вход в трюм заложили досками. На палубе погрузка товаров и провианта закончилась. Пушку атаман также велел снять с судна. Выволокли и найденные в трюме ящички с церковной утварью. Поповские ризы и подрезники убрали в струги, а чаши и кресты побросали в реку.

В одну из риз укутали убитого солдата.

— Жаль сердягу! За чужие грехи поплатился.

Сам атаман и другие ватажники подняли труп и бережно спустили в воду.

— Спи, брат, опочинься, ни о чем не кручинься... Все мы, крихтя, живем. Ну, а теперь, братцы, всяк в свой струг ныряй... Погостили на корабле — и довольно.

Уселись в струги. Атаман велел обрезать якорь.

— Пускай плавает на водах, яко Ноев ковчег! Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе боже! — перекрестил расшиву расстрига.

Теперь ватажники поплыли вниз по Волге к намеченному месту для зимовья — к Чортову Городищу, что пони-

же Васильсурска. После разгрома губернаторской расшивы оставаться в Татинце было небезопасно.

Заколыхалась расшива и поползла стороною вниз тихо и неуверенно, среди волнующегося водяного простора.

В лодке атаман посмотрел книгу, в которой была переписана добыча.

— Зимовье будет безбедное...— с видимым довольством проговорил он, потрепав за вихор Рувима, которого любил за ум и трезвое поведение.

Ванька Каин сидел темнее тучи. Не нравилось ему все это. Вздыхал и говорил, не глядя ни на кого:

— Птицы божии—и те воровством живут, а вы меня оттираете... Бог вас накажет. Нешто так можно!

Общее молчание было ему ответом.

## XVII

25 апреля 1742 года в торжественной обстановке в Москве совершена была коронация царицы.

Ликовало дворянство. Ликовало духовенство.

Когда в Успенском соборе Елизавета стала на императорском месте, а выписанный ею в наследники из-за границы герцог Голштинский, переименованный в Петра,—на царицыном месте,—знаменитый оратор, архиепископ новгородский Амвросий, захлебываясь от радости, обратился к царице:

«Прииде, о Россия, твоего благополучия твердое и непоколебимое основание! Прииде крайне частых и весьма вредительских перемен твоих окончание и разорение! Прииде тишина твоя, благосостояние и прочих желаний твоих несомненная надежда!.. Церковь православная радуется, яко своего благополучия крепкую получила защиту... Радуются и весь правительствующий синклит, что как чести и достоинства своего утверждение, так и живой образ милости и правосудия от нее восприимлет. Горит пламенем любви и несказанной ревности к своей природной государыне и все воинство, яко праведную за обиды свои в произведение рангов отомстительницу и мужественную в освобождении России от внутренних разорений героиню приобрести сподобилось. Радуются и гражданские статьи, что уже отныне не по страстям и посулам, но по достоинству и заслугам в чины свои чают произведения»...

Находившийся в Успенском соборе в это время с генералитетом Петр Рыхловский искоса поглядывал на вновь испеченного обер-егермейстера фаворита Алексея Григорьевича Разумовского. Совсем недавно был он всего только простой певчий. Теперь удостоился носить за Елизаветой шлейф ее платья. Ему завидовали многие. Кроме придворного чина, он в тот же день удостоился еще другой награды: получил через плечо александровскую ленту.

Ревнивыми глазами смотрел Петр то на царицу, стоявшую во всем великолепии на возвышенном государевом месте, то на Разумовского. Высокий, румяный, он вытянулся во весь рост у подножия царского трона. Оглядывал окружающих с явною надменностью.

Амвросий прослезился, прославляя новую царицу. Затем обвел испытующим взглядом генералитет и всех присутствующих вельмож, продолжал уже в гневно изобличительном тоне:

«...но, о Россия! — сверкая белками, гремел он. — Посмотри притом и на себя недремлющим оком, и рассуди совестно — как-то бог милосердный не до конца гневается, ниже ввек враждует? Наказал было тебя праведный господь за грехи и беззакония твои самым большим наказанием, т. е. отъятием Петра Второго, первого же внука императора Петра Великого. И сколь много, по кончине его, бед, перемен, страхов, пожаров, ужасных войн, тяжких и многотрудных гладов, напрасных смертей и прочих бесчисленных бедствий претерпела ты! Будь впредь осторожна, храни, аки зеницу ока, вседражайшее здравие ее императорского величества, тако же и его императорского высочества. А притом бойся всегда бога и страшного суда его! Трепещи крепких и неизбежных рук божьих! Бежи от греха, яко от лица змеиноного, перестань беззаконствовать!.. обманывать!.. насильствовать!.. пьянствовать!.. блудствовать!.. похищать!.. обижать!.. прелюбодействовать!.. и прочих творить грехов и беззаконий, да не понудише опять бога к наказанию!»

Ни с того, ни с сего Петр Рыхловский перекрестился, а затем тайком взглянул на императрицу. Величественная, неподвижная, как всегда слегка улыбающаяся, — Елизавета смотрела на все снисходительно, и Петр, зная ее, почувствовал, что происходившее в соборе ее не трогало, а лишь забавляло. Косой луч дневного света падал сверху

на ее горностаевую накидку, на украшенную бриллиантовым ожерельем глубоко открытую грудь. Елизавета любит себя собой.

«Амвросий со своими обличительными словами обращается к России, к народу, — думал поручик Рыхловский, — но народ их не слышит, а если бы и услышал, то все равно не понял бы ничего. Не есть ли перечисленные архиепископом грехи — плод роскоши, произрастающей во дворцах, около трона? Не хитрит ли старик? Не намекает ли на дворцовые порядки? Не намерен ли святой отец изменить нрав царедворцев?»

Разумовский слушает, насмешливо скривив губы, будто слова Амвросия не касаются его. «Тупой хохол! Плует он и на Амвросия, так же как и на Фридрихов, и на короля французского и английского, и на других королей!.. Кто уж больше его пьянствует и блудит при дворе?»

Прошли дни торжества.

После коронации Елизавета странно и заметно переменялась. В этом скоро все убедились. Убедился и он, Петр Рыхловский.

«Капитан гренадерской роты» (как звали ее в казармах) и шеф и возведших ее на престол лейб-компанцев, — раньше она поощряла посещение ее в разное время знакомыми ей офицерами и даже прощала им, если они бывали в нетрезвом состоянии. Теперь она ввела определенное время для посещения дворца офицерами, издав к тому же следующий приказ: «...штаб и обер-офицеров, пропуская в покои накрепко того смотреть, чтобы оные были во всякой приличной по офицерской чести чистоте и убранстве, и ежели кто не убран, в разодранном платье или не в состоянии (пьяный) придет, таковых не пропускать».

В полках было много разговоров об этом, — уж не хочет ли отшатнуться царица от лейб-компанцев?!

Петр Рыхловский и тут винил всеильного Алексея Григорьевича.

Солдатчина не хотела подчиняться вводимым строгостям. То там, то тут гвардейцы допускали бесчинства, наводя страх на население Москвы. Обыватели усердно молили бога: поскорее бы он убрал царский двор из Москвы.

Полицейские, и те начали роптать на гвардейцев. При отправлении полицейскими обязанностей, команды солдат нередко набрасывались на них и отбивали людей, взятых под караул. Самих же полицейских били и всячески ругали. Мало того, они разбивали съезжие дворы и осуждали сидевших там под замком воров. Солдаты от заздравных чарок по случаю коронации перешли к грабёжам винных погребов. Пьяные, опухшие, в синяках, — с песнями посреди улиц, — толпами, бродили они, не давая никому прохода. Обыватель голову потерял: что же это такое творится?!

Много слухов было о насилиях гвардейцев над женщинами, об ограбленных ими путниках и домах...

Начали поговаривать даже об опасностях, якобы угрожающих и самой императрице.

15 июля в церкви Московской духовной академии ректор Кирилл Флоринский во всеуслышание стал громить каких-то заговорщиков:

«Как же ужасно и подумать, что осьми месяцев не протекло, егда провозсия на престоле венценосица Елисавет и уже на иное торжники<sup>1</sup> устремляются. Странная весть: давно ли вожделенная и уже ненавидима Елисавет. Давно ли в сердцах и устах сладка и уже ныне горька Елисавет! Давно ли оживотворившая нас, уже опасна жизнь ей посреди дому! Давно ли обрадовавшая нас и уже в слезах опечалеема посреди дому! Давно ли мать — и уже тяжка и немилосердна! О, непостоянство злоковарных торжников!»

Тайная канцелярия начала обнюхивать каждый уголок в Москве и раскрыла заговор. Обличены были: камер-лакей Александр Турчанинов, Преображенского полка прапорщик Пётр Ивашкин, Измайловского полка сержант Иван Сновидов и другие. Поставили они своей целью схватить Елизавету и умертвить. Подобное же — и с ее наследником, никому неведомым герцогом Голштинским. На престол возвести вновь младенца Иоанна Антоновича. Заговорщики всячески позорили Елизавету, утверждая, что она и сестра ее Анна прижиты были вне брака и потому незаконные дочери Петра Первого. (Когда царице сообщили это, она горько расплакалась, говоря: «Я не могу перенести сего тяжкого оскорбления, которым оные воры позорят моего отца!»)

---

<sup>1</sup> Торжники — люди, торжествовавшие победу.

Тайная канделария наказала обвиняемых кнутом; кое-кому вырезала языки и ноздри и выслала всех их в сибирскую тайгу.

Пожары и грабежи в Москве разрослись до того, что люди по ночам не спали, ходили вокруг домов с дубинами, молились о своем благополучии и ворчали на петербургские порядки, перенесенные в Москву.

С отъездом дарицы в Петербург — утихнут и грабежи и пожары, и вообще станет гораздо спокойнее!

Наконец-то Москва дождалась этого!

Случилось это в декабре.

Петр Филиппович с великой радостью уселся в свою кибитку, рядом с музыкантом Штроусом. Они сговорились ехать вместе. Петр заметил, что Штроус теперь стал к нему особенно лнуть.

Царица, выйдя из дворца в сопровождении Разумовского, застегнула ему у всех на глазах шубу и поправила шапку, — к великому удивлению сопровождавших. Наследник, принц Петр, стоял тут же, дожидаясь, когда Елизавета отойдет от Разумовского.

Царский обоз густо облепило духовенство с хоругвями и иконами. На морозе стояли попы красноносые, волосатые, в одних ризах, и униженно, жалобно, дрожа от холода, тянули:

«Тебе, бога, хвалим, тебе, господа, исповедуем...»

Царица усталая, недовольная, поместилась в одном возке с наследником, который с оскорбительным любопытством и глупой улыбкой разглядывал поющих попов и хоругви.

Штроус бубнил Рыхловскому на ухо:

— Рвалась ехать с Разумовским... Бабы отговорили: народ, мол, осудит. Посадили к голштинцу чуть ли не сином. Позор! Мы тут время все убиваем, а в Питере вся жизнь заглохла... Иностранные послы истомились... Сколько лошадей загнали их курьеры, гоняясь из Питера в Москву с депешами от государств...

Загрохотали кремлевские пушки, закричали форейторы, скрипнули полозья, и царский поезд двинулся в путь. Петр Рыхловский сидел молча, уткнувшись в тулуп. То, что он узнал вчера, окончательно подавило его и оттолкнуло от двора: старушка Марья Ивановна во хмелю, за ужином, сказала ему, что на-днях-де царица повенчалась с Алексеем Григорьевичем Разумовским тайно, в Перове,

в сельской церкви. Она одарила эту церковь дорогою утварью, богатыми ризами и воздухами, шитыми золотом и жемчугом, собственной ее работы. Недаром она слыла большой рукодельницей. Не зря она просиживала многие вечера в обществе своих старушек с вязаньем и шитьем, отдыхая от разгула.

Марья Ивановна хоть и пьяна была, а рассказала это со слезами на глазах, вся сморщившись от обиды за царицу:

— Такого ли жениха ей, сиротинушке, покойный батюшка Петр Алексеевич прочил? Из хама не сделаешь графа...

Но так как эта царицына свадьба была тайной и держалась в секрете, то и Марья Ивановна, опомнившись, притихла, жалко оглядываясь по сторонам.

. . . . .

Дорога была долгая, утомительная. Царедворцы и государынины гости, расположившись так же, как и Петр со Штроусом, в кибитках парами, «удобными к собеседованию», — от скуки стали перешептываться о событиях последнего времени. Сильно взволновала всех история с выходом замуж Елизаветы за Разумовского.

— М-да!.. — нашептывал один русский князь, старичок лет шестидесяти, своей жене: — Что бы ей за нашего Мишеньку выйти... Дворянских кровей отпрыск... больше бы чести! А то на холопа польстилась... Ох-хо-хо-хо-хонюшки!

— Пресвятая владычица, не отвори вновь своего пресветлого лица от многострадального дворянства нашего... Ах, господи! Солнышко ты наше! — и перекрестилась. — Дай бог здравствовать на долгие годы покровителю вотчинников любезному батюшке Алексею Петровичу<sup>1</sup> и его преподобию духовнику ее величества отцу Дубянскому...

Вслед за этой княжеской кибиткой тащился другой княжеский возок, а в нем тоже велась беседа о тайном браке Елизаветы Петровны с Разумовским.

— Сего мужа мы знаем. И-и-к! — самодовольно говорил толстый, краснолицый вотчинник, притиснув к козлу возка свою тучную супругу. — Сей наш!.. Да и в дела

---

<sup>1</sup> Виде-кандлеру Бестужеву-Рюмину.



он когти не запускает, проводя жизнь в изобилии яств и простодушии... И-и-к! И в перевороте не участвовал... А это — знак! Стало быть, не алчен. Француз Шетарди тот свою цель от того имел, лекарь Лесток знатно ему помогал, из корысти же, выскочка — еврей Грюнштейн и вовсе низостно выгадывал, а этот никуда не лезет... Тихий человек... Бестужев и Дубянский дворянство не обидят!.. Молиться за них мы должны, вот что!

«О, скромность! Ты величайшая из добродетелей. Ты щедро украсила собою великого фаворита государыни! Ты крепкою любовью придворных окружила его». Об этом знают все с мала до велика в Санкт-Петербурге. После свадьбы при посещении дома одного из гофмаршалов Разумовский при всех и в присутствии Елизаветы бросился на шею дворецкому и стал его целовать. Елизавета гневно спросила его: «Вы в уме ли?». — «Это мой старый друг!» — ответил Разумовский. Вот и все. И не он ли писал Елизавете: «Лиза, ты можешь сделать из меня, что хочешь, но ты никогда не заставишь других считаться со мною серьезно, хотя бы как с простым поручиком». Разумовский был насмешливого нрава, но без всякой злобы и не обижал никого. Дворянству ли это не любо?

В возке немецких дипломатов шел угрюмый разговор о русских делах. Все было не по-ихнему. Сенат — одна видимость создания рук царицы. Сенат — плод рукоделия русских бояр. Он — покорный слуга ненасытного мздоимца Бестужева, который втайне не добра, а зла желает царице и государству. Что такое Разумовский? Маленький ничтожный человек. И когда он считался «ночным императором», то ни одна держава в мире против того не могла иметь никаких претензий, но теперь, после венчания его с царицею на супружество, — едва ли может идти речь о немецком влиянии при русском дворе. Саксонский секретарь, мечтавший о соединении в супружестве Елизаветы с принцем Морицем, дал клятву товарищам написать царице письмо, позорящее поведение дворянства. Нет ничего худого в том, что в России возобновили петровский Сенат, но надо, чтобы он законодательствовал с ведома царицы и по ее указанию, а не выпускал указы только в интересах русских вотчинников. Надо, чтобы он прислушивался к голосу немецких государей. Саксонский секретарь согласен и с тем, чтобы Сенат положил в основу своего правления национальную политику, но нельзя же все другие

нации считать недостойными справедливости и внимания со стороны Сената! «Пускай царица величает себя «истинно русской императрицей»; пускай съедает по две дюжины блинов и выпивает множество разных вин в обществе с Разумовским. Но ведь даже главный кулинар ее величества, господин Фукс — немец, как же могла она допустить борьбу вельмож с немецким влиянием! Саксонский секретарь поклялся прямо, без стеснения и страха, написать царице, что «она, ее величество, и отолстевает оттого, что так жирно и слишком сытно ест, и что-де Разумовский, — увы нам всем, любящим вашу венценосную красоту! — наносит ущерб и ей, портя ваше пресветлое величество».

Довольные своими делами, вельможи-сенаторы, возглавлявшие «русскую партию», вели в кибитках секретный разговор о необходимости начать самую жестокую борьбу с лейб-компанией, с «азнавшейся ордой солдат». Много натворили лейб-компанцы в Москве во время коронации, а главное осмеливались показывать перед дворянами свою спесь: «Смотрите, это мы, любимцы царицы, это мы ее возвели на престол!». И главный из них, самый упрямый и смелый — нахальный красавец, еврей Грюнштейн. Царица явно ему покровительствует. Этому надо положить конец. А двадцать девятого апреля, когда ее величество изволила ехать из кремлевского своего дома в Зимний императорский дом, что на Яузе, сама царица повелела, «чтобы адъютант лейбкомпанец господин Грюнштейн верхом сопровождал ее карету во главе кавалергардского корпуса, на одних правах с именнейшим офицером Петром Шуваловым».

Об этом все знают, и много было о том разговоров. Сам тайный советник и сенатор вице-канцлер господин Бестужев после этой истории стал посматривать в сторону Грюнштейна с усмешкой. Грюнштейн сумел завоевать любовь и преданность лейб-компанцев, которые считают его своим вожаком. «Вот бы с кого начать! Вот бы кому крылья обломать. Немцы немцами, а этого тоже из вида не след упускать... Чернь!»

С надеждой в глазах вельможи потирали руки: «Все во власти божией и государевой!». Путь открыт. Сила боярская несокрушима. Сенат — твердыня русского дворянства — всему глава. Вот почему вице-канцлер Бестужев, сидя в одном возке с дряхлым канцлером князем Черкас-

ским, посматривал из возка на снежные равнины и леса с лукавой, бодрой улыбкой: «Ладно, мол, было бы здоровье у нас, а все остальное приложится!».

. . . . .

По пути следования царицы из Москвы в Санкт-Петербург начальство городов и сел выгоняло на дороги рабочих людей. С великою поспешностью, обливаясь потом, несмотря на мороз, разного звания люди и крестьяне валили в лесу елки, нагружая ими воза, и втыкали их по обе стороны московской дороги. Воеводы, хотевшие выслужиться перед царицею, воздвигали среди пустынных полей и лесов громадные арки из еловых лап, обвитых лентами. По ночам, в каком-то диком оживлении, жгли смоляные бочки, озаряя испуганные толпы крестьян. Большое, желтое, расплывалось в морозном воздухе пламя. Мужики втихомолку молились о предотвращении от них всяческих бед и несчастий, тревожно поглядывая во тьму декабрьской ночи, в ту сторону, откуда должна была надвинуться на них «государева орда».

В Клину, Твери, Торжке, Валдае, и Новгороде толпы обывателей были выведены за городскую ограду. Воеводы расставляли их по обе стороны дороги, по правую — мужчин, по левую — женщин. При появлении царского обоза все должны были падать лицом в снег и лежать так, не шевелясь, до тех пор, пока самая последняя кибитка не исчезнет из глаз.

Ужас овеял все живое, ютившееся вблизи дороги, по которой шествовала в Петербург коронованная особа, ужас глядел из чащи лесов, из придавленных серым небом сумрачных полей; из занесенных сугробами, похожих на кучу разбросанного по снегу мусора, убогих деревушек; из мертвенно-унылых окон обывательских домов в городах; ужас в глазах детей, их матерей и отцов.

Таков был путь царицы... И везде митрополит восклицал: — Берите пример святости с матушки императрицы!





# Ч А С Т Ь В Т О Р А Я







# I

Чортово Городище—лесная трущоба на правом берегу Волги пониже Васильурска, у Хмелевских островов. Место дикое, защищенное.

В давние времена здесь укрывались черемисские мольбища; со временем черемисы перешли на противоположный берег, забросив Чортово Городище.

Это место и выбрал для своего становища атаман Заря. Посоветовали новые его ватажники—черемисы. Они же указали и все потайные тропинки для прохода к берегу Волги и к Большой Казанской дороге. Это та самая дорога, по которой после покорения Казани победоносно шествовал с войском в Нижний царь Иоанн Грозный.

Деловито осмотрел Михаил Заря Городище, его рвы и овраги. Верхом на конях он и его есаулы объехали окрестности. Побывали и на Казанской дороге, проехали вдаль по направлению к Васильурску, расставив караул близ дороги. И на других подходах к урочищу кое-где

тоже вырыли землянки для часовых. Им дали рожки, купленные на Макарьевской ярмарке, на случай тревоги.

Зимовье еще более сближало атамана Зарю с его ватажниками. Свыше двухсот человек насчитывалось теперь в ватаге. Самый сильный, самый выдающийся был великан — беглый дьякон Тобольского собора Яков Никитин. Волосат, басист и угрюм. Поутру вылетал из землянки голый, падал в снег, рычал по-звериному, растирал свое обросшее волосами тело докрасна, а потом мягкой крадущейся походкой возвращался вновь в землянку. И так каждый день. Товарищам говорил, что делает это, дабы избежать «наистрашнейшего зла в жизни — сластолюбия»; разбойник не должен поддаваться бабьим чарам. «Многих из нас губили они».

Цыган Сыч, со вздохом, невинно пожимал плечами:

— Дурак ты, дурак, а еще дьякон! Господи!

Дьякон глядел на него честными глазами. Ватажники, почему-то, его за это жалели, но втайне гордились тем, что среди них оказался такой подвижник. Им даже нравилось в нем его нравственное превосходство над ними. В их ушах, как музыка, звучали слова дьякона:

— Кто тайно грешит, тот омрачает печалью лик пресвятой богородицы...

Михаил Заря любил беседовать с дьяконом. Он прозвал его Пересветом. За ним эта кличка и повелась.

Полюбил еще атаман двух братьев Лукиных — Василия и Вавилу, бежавших с каторги. Молодые, похожие один на другого, как близнецы; всегда веселые и расторопные. Оба крестились двумя перстами, староверы. В ватаге они были добытчиками продовольствия, шныряли по селам и деревням; водили ватагу в леса на охоту; били рыбу в прорубях.

Много было и беглых солдат в ватаге, дворовых и посадских людей; рекруты, помещичьи и экономические крестьяне, купеческие приказчики, но больше всего бурлаков, давно забывших и родину свою, и семьи, и едва ли помнивших имена, полученные при крещении, — слишком часто приходилось менять имена по обстоятельствам и по паспорту, попадавшему в руки. Михаил Заря вновь проверил у всех паспорта и опросил каждого — чье имя теперь носит он, какой губернии, уезда и села. Не попал бы, в случае чего, впросак. У кого паспортов не было, тех зачислили в разряд «беспаспортных», обязав их добыть

себе паспорт на большой дороге. В землянках урочища были большею частью «беспаспортные». Люди с паспортами разбредались «на хлеба» по деревням.

Однажды, на рассвете, среди сугробов ватажники схватили какого-то человека. Повели к атаману. Оказалось — Несмеянка Кривов. Дорогу в Городище указал ему один чувашин, хорошо знавший эти места.

Тучи на нас надвигаются... — покачал грустно головой Несмеянка, войдя к Заре, и провел в волнении ладонью по своему затылку. — Беда ждет наши деревни.

Он рассказал о том, что в Нижнем, узнав об ограблении губернаторской расшивы, снаряжают роту солдат в мордовские земли на постой. Может быть, и врут, но слух такой есть. Старец Варнава оказался ловким человеком и, несмотря на худую славу, сбивает многих на свою сторону.

Наслушавшись, Заря послал в деревню за цыганом. Сыч не внял голосу посланных, отказался идти в урочище. Насилу вытащили. Атаман не на шутку рассердился на него, чуть звания есаула его не лишил.

Дело в том, что Заря надумал по ту сторону реки Суры, вблизи мордовских деревень, заслон поставить, сторожевую охрану. Она должна служить местом встречи с окрестными жителями, с чувашами и мордвой, и для разведки.

Несмеянка взялся проводить ватажников в одно подходящее место — опустелое селение Керлей. Там заброшенные дома — глущь непроходимая.

Михаил Заря смягчился, хлопнул цыгана по плечу.

— Кого же и послать, кроме тебя. А Хайридин под Казань пойдет. Бегут и оттуда. Он встречь им.

Цыган тяжело вздохнул и с грустью на лице показал в сторону деревни:

— Там она, бедняжка!

— Ладно. Только скорее! — улыбнулся атаман. — Видать, тебя не исправишь. Седина в бороду — бес в ребро.

— Любить не люблю, а отвязаться не могу. Что делаешь?..

Цыган скорехонько помчался на лыжах в деревню.

С Ванькой Каином творилось неладное. Похудел, осунулся, бородатым стал.

— Ну, и что тут за жизнь? Ну, и чего же ради разбойничать! — плакался он. — В берлогах живем, яко зверье.



Холодно и душно. И грабить некого. Что же мы собою представляем? Не воры и не добрые люди. А, по-моему, вору — воровское, а доброму — доброе. И на кой нам сдалась мордва? И какая нам польза от войны с губернатором?

Михаил Заря терпеливо слушал эти жалобы. В землянке горела лучина. Слезились глаза от дыма. На воле бушевала вьюга. Атаман лежал на койке, покрытой ковром, и внимательно разглядывал Каина.

Ванька стал хвалиться веселой и «порядочной жизнью» в Москве, где есть многие дома множеством достояния, принадлежащего зело глухим людям. Он звал с собой Михаила Зарю «промышлять совокупно». Уверял атамана, что в России наступило время «малых воров». Власть занята ловлею царицыных врагов, разбойников и искоренением крамолы, а ворующих по домам и лабазам наказывают «нечувствительно» и врагами их не считают. А главное — надо быть набожным. За это все грехи ворам прощаются. Недаром в Москве и в Санкт-Петербурге с главных улиц иностранные церкви снести приказано. Самое главное — богомолье! На нем трон царицы держится. Да еще на князьях и дворянах, и то лишь на русских. Ванька сказал после этого, оживившись:

— И проживать в Москве есть где добычу, наравне с добрыми горожанами. И веселиться в Москве куда как хорошо! Кукольные комедии и райки, медведи с козами тешат народ на гуляньи, и народу там бывает превеликое множество, тысяча жарет разъезжает за городом на Немецких Столах... И нет веселее гулянья, кое бывает на Трех Горах.. Вся Москва стекается туда для забавы... Народу, словно маку насеяно, а на прудах разукрашенные лодки с шатрами плавают... Музыка на них. И множество девок и женок в Марьиной роще песни поют и любят. Только монету покажи! За каким же бесом в дикой дебри тут далее пребывать? Могу ли я теперь страдать здесь вместе с вами, не ведая чего ради?! Да и тебе охота ли с оною ордою разбойников старость доживать? Брось их, уйдем от них в Москву. Ну их к бесу.

Выслушав Ваньку, атаман сказал спокойно:

— Довольно! Оставь нас. Прощу тебя! Свет не баня — места всем хватит. Не держим. Иди в Москву. Чужой ты нам!

На лице Ваньки блеснула радость.

Утром он исчез, захватив пистоль, лыжи и у некоторых товарищей деньги.

Турустан с Рувимом, выслеживавшие в оврагах волков, видели, как мчался Ванька на лыжах с горы к Волге. Всем веселее стало, когда узнали, что Ванька совсем покинул ватажников. Тоску он на всех своим нытьем навел.

Поутру явился дыган Сыч. Как сказал, так и сделал, но явился с подбитым глазом. По его словам, в темноте о косяк печально ушиб. А там кто его знает! Да и не до этого ватажникам, чтобы о синяках его думать. Мысль об устройстве заставы близ мордовских деревень была одобрена всей ватагой. Все, что будет делаться в Арзамасском или Сурском воеводствах, либо на дорогах к Нижнему,—все станет известно заставе через мимоходящих людей. И нетрудно, послав гонца в случае опасности, уведомить обо всем и главное становище ватаги.

Сыч по своему вкусу подобрал людей. Взял Турустана и Рувима. Грамотей, ведь, всюду нужен. В заставе, пожалуй, нужнее, чем в урочище. Ватага зимует, отсиживается, а у заставы многие дела могут быть. Атаман согласился, велел лучшую одежду, лучшее оружие выдать уходившим за реку Суру товарищам. Трех самых бойких коней взял Сыч, для доноса о могущих случиться происшествиях. Несмеянка обещал в Терюшове раздобыть новых коней.

Полтора десятка самых отчаянных парней вошло в артель к Сычу. Среди них были три башкирца, двое черемисов и трое чувашей, остальные русские беглые крепостные. Все были довольны, что окончилось их скучное, бесплодное сидение в ямах. Несмеянка вскочил на лошадь. Сыч тоже. На третьего коня, по общему согласию, сел Рувим, «войсковой писарь», как его назвал Заря. Бодро тронулись в путь.

Михаил Заря отправлял ватажников с шутками и прибаутками.

У него была своя скрытая мысль.

Он возлагал большие надежды на раскол. Ему казалось, что раскольники, забиравшие торговлю в свои руки и на Дону, и на Волге, и на Урале, да и в самой Москве,—люди будущего. О раскольниках он думал, как о большой силе, с которой власть не может не считаться, а если так, рано или поздно и ему самому удастся стать под их защиту. Раскольники были бойчее православных. Всегда

и везде они были грамотнее остального населения. Целые деревни старообрядцев занимались переписыванием древних книг печатными буквами. В этих деревнях изготовлялось неисчислимое множество книг, которые и развозились по всему государству. А в Литве и Польше заведены были даже книгопечатни, где старые книги печатались и тайно, и явно, и даже с разрешения «его крулевского величества». Сила раскола укреплялась повсюду. Это хорошо знал Михаил Заря.

И даром ему засело в голову: восстановить, как о том хлопочет раскольник епископ Анфиноген, разоренные Питиримом скиты на Керженце. Епископ Сеченов холоден к расколу, ему сейчас не до этого: он поклялся царице окрестить всех язычников. Тогда помещикам и властям легче будет с ними ладить. Этим он теперь занят. На Керженец должны вернуться многие бежавшие ранее оттуда раскольники. Они снова возродят скиты. О том мечтали и на Дону, и в Иргизе, и на Ветке, и в Польше, и во многих иных местах богатые раскольничьи купцы. Атаман Заря и дальние старообрядцы верили, что если вновь открыть скиты и если о том узнает сама царица и Синод, то власти все равно не решатся попрежнему разорять их. Времена другие. Не было тогда такого богатства у раскольников.

Михаил Заря даром решил всеми своими силами помогать мордве, и не напрасно трое суток подряд они просидели с Несмеянкой, раздумывая, как поднять мордву и как и чем Михаил Заря со своею ватагою поможет терюханам. Недавний налет солдат на кереметь сильно возмутил народ, хотя на другой же день все притихли. Против силы ничего не поделаешь. Несмеянка пробовал расшевелить народ, но никто его не послушал — боятся; а некоторые и вовсе просили его уйти из избы, страшась близости к нему.

Михаил Заря советовал Несмеянке выждать. Не зря отдал лучших людей, лучшее оружие и лучших коней дыгану Сычу. Несмеянка, уезжая с отрядом, опять пообещал раздобыть на деревне коней для остальных ватажников заставы. Конница больше сделает в этих местах, чем пешие.

Атаман крикнул дыгану вслед:

— Береги молодцов! Зря не губи!

Долго стоял он на занесенной снегом Казанской до-

роге, провожая озабоченным взглядом удаляющихся товарищей. Он был рад, что намечается какое-то «дело», в которое можно будет вовлечь своих людей.

Он обошел после этого все землянки. Сказал ватажникам, что, наконец, близится час. Предстоят большие схватки с солдатами.

— Поможем мордве. Она поднимется и пойдет на Нижний. Будет большая пожива, и каждый из вас, набрав добра и денег, уйдет тогда на Урал, на Дон или в Сибирь и там заживет тихо, спокойно, довольный своею жизнью. Были бы деньги, был бы богатый дуван!

Он сказал, что каждому следует об этом подумать и приготовить, починить обувь, одежду, оружие и потеплее содержать лошадей, получить их кормить.

Слова атамана были встречены шумно, радостно.

## II

Настоятелю терюшевской церкви отцу Ивану Макееву постоянно казалось, что он чего-то и где-то недобрал, что он простофиля, чудака и ротозей и что другие священнослужители в разных местах живут несравненно сытнее и веселее его. Он считал, что, будучи заброшен духовными властями в языческую глушь, он имеет полное право широко пользоваться безгрешною мздою и не подчиняться никаким указам — ни гражданским, ни синодским.

Вчера получен указ от Синода: «сбирать на свечи перед приходским праздником оставить впредь, и таких сборов отнюдь не чинить, ибо по сему делу ходят люди невоздержанные и пьяниды, люди, лениющиеся трудиться, евские не свой хлеб, которые, прельщая простой народ, собирали деньги, не к славе божьей, но употребляли оное на свое пропитание, паче же на пьянство и прочие потребности».

Отец Иван зло усмехнулся: никаких людей, кроме него, со свечным сбором не ходит и что это такое за «простой народ»? Разве новокрещенцев и язычников-мордву можно назвать простым народом? И потом — что значит: «евские не свой хлеб?».

Поразмыслив, отец Иван решил, что синодский указ к нему не относится. Да если бы и относился, кто на него, Макеева, осмелится жаловаться?

Всей мордве объявлено, чтобы отнюдь никаких челобитных никому не писали под страхом тяжкой за это ответственности.

Отду Ивану казалось, что он проявляет великую снисходительность, беззаботность и нерадение в отношении надзора за мордвою. Многое он оставляет без внимания, выказывая непостижимое и зазорное для других попов бескорыстие. В этом убеждении сильно подкрепляла его попадья Хиония Андреевна, которая постоянно укоряла мужа, что он мало берет, и уверяла, что они скоро пойдут по миру. Между тем, близится рождество — самое удобное время для сбора денег на церковную необходимость.

Перед рождеством отец Иван позвал к себе попадью и сказал:

— Любезная моя Хиония, супруга наша и мать детей моих, звезда пресветлая, на склоне моих лет предомною блистающая! Думал я, сидел-думал и придумал: не служба нас кормит, а место. Служба убогая наша есть, мало кого привлекающая, и дело сие такое, в коем никакие законы плодов не приносят. Живем мы в глухих языческих местах, в противности всяким указам являющихся, о чем и сам губернатор мордву уведомил на предмет неприятия от нее жалоб и писем и прочего подобного. Сами же новокрещенцы и язычники совести не имеют и о нас никогда не сострадают. А духовная архиерейская власть склонна преболевшее иметь число христиан, денег же платить не хочет, обрекает нас на прожитие добротными подающими нивесть от кого.

Хиония прослезилась. Обругала нехорошо мордву, еще хуже того Синод и совсем неподобающе — епископа Сеченова, требующего окрестить в короткий срок всю терюханскую мордву и угрожающего жестоким наказанием «за нерадивость в апостольских делах» ее мужу — отду Ивану.

— Да будет так, — сказала Хиония, — в канун рождества и пойдем. Откладывать не след.

. . . . .

Рождество подкатилось незаметно, и вот Иван Макеев двинулся с женой, сыном и причтом в село Большое Сескино собирать с новокрещенцев, с русских мужиков и с мордвы языческой деньги, скот и овчины, а буде что подвернется иное — также и то. Жена возмечтала о холстах, о пряже, о льне и шерсти.

Вечер был ясный, морозный — приятно поскрипывали полозья. В розвальнях сидели: на одних — дьякон, на других — пономарь (кроме Макеева с семейством).

Около каждого дома сани останавливались. Сначала вылезал сам отец Иван, затем Хиония, затем восставал со своего седалища тяжеловесный, угрюмый дьякон, тяжело дыша и читая про себя молитвы. Все они барабанили сперва в дверь, потом в окно.

Дальше шло разно. Где встречали их низкими поклонами и сами несли дань, где притворялись спящими, а поднявшись с ложа, начинали всячески отговариваться.

Выходя из домов, где не подавали, отец Иван пылал негодованием и, угрожая, ругался матерно, а из других выходил веселый, легко, с молитвой на устах.

— Что, мы одни, что ли? — говорил он дьякону, заботливо укладывая добро в сани. — У чувашей, в Ядрине, премного обильнее и согласнее одаривают духовных отцов и то, говорят, мало. Сам Михаил жаловался. Нехватает. А мы здесь живем, яко отрекшиеся, либо преподобные какие великомученики. Будет, потерпели, пора, пора и нам подумать о себе.

Дьякон поддакивал:

— Кого, батюшка, чорт рогами не пырля! Не найти такого человека. И-и-их, господи!

Пономарь, как «малый чин», был постоянно в обиде на батюшку и на дьякона, он упорно молчал. Отец Иван, заметив это, многообещающим голосом тихо произнес, глядя на него презрительно:

— Всем хватит! — и добавил: — Мордва — народ самостоятельный.

Отец Иван был на слово находчив и умел утешить человека. К тому же был он и начитан и красноречив. Когда в одном доме ему глава семейства сказал с упрёком: «Ведь мы не от лениности, а от трудов своих добро копим», — Иван Макеев собрал всю семью сего новокрещенца и произнес перед ними чувствительную речь:

— Труд — святое дело, поэтому бог наложил на человека труд не в наказание или мучение, но для вразумления и научения его. Если бедный, работный человек и спит, и ест, то с большим удовольствием, нежели богатый. Адам, когда жил без трудов, был изгнан из рая... Не будем же кичиться трудом, пренебрегать работою, потому что от них мы получаем еще прежде царствия небесного

величайшую награду—сопровожающее их удовольствие, и не только удовольствие, но что еще важнее—цветущее здоровье. Богатых, кроме лишения этого удовольствия, постигают многие болезни, а бедные не выпадают в руки врачей... Бедность—сокровище некрадмое, жезл несокрушимый, приобретение неутратимое, убежище безопасное...

Говорил он долго, а уходя, захватил с собою полведра меду и банку соленых грибов, за что благословил крестом и удостоил приложения к собственной руке обильное чадами семейство.

В одном доме, как ни старался Макеев проникнуть внутрь,—его не пустили. Дом этот стоял на самой окраине села и принадлежал новокрещенцу мордвину Несмеянке, Васильеву сыну, Кривову.

Макеев насторожился. Наслышан был давно об этом человеке и об его неизвестном прошлом. И теперь, как обыкновенно в таких случаях, начинал его мучить вопрос: не скрывается ли кто у него? Нет ли «явной вины к сыску» в этом доме? Но в окнах было темно, и чей-то голос оттуда басил:

— Хозяина дома нет. Проходи с миром! Хозяина дома нет—проходи с миром!—и так раз десять и все одним и тем же однообразным унылым голосом. Даже жутко стало.

Иван покачал головой, недоумевая. Так собаки изумляются, когда, желая схватить ежа, натыкаются на его иглы. Постоял он, постоял и пошел к саням, взяв себе на заметку негостеприимный дом.

Поехали обратно. Справа и слева деревья, украшенные снежными мехами,—тихо в лесу. Фыркают лошади,—как казалось попу,—самодовольно помахивая хвостами.

— Скотов не забудь, Митрич!.. Утресь прибавь им овседа... Нельзя забывать... Говорить скотина не умеет, лишена она сего дара божия. Однако мысли ее могут быть превосходнее человеческих... Сего мы, всеконечно, не знаем... Может быть, мыслию своею она дерзнет состязаться даже с самим митрополитом или епископом. Бог ведает!

— А с царицею дерзнет ли сия тварь состязаться?—задал вопрос пономарь.

Иван насторожился: «Сукин сын!—возмущился он внутренне.—Поймать хочешь? На-ка, выкуси!.. Поползень злосчастный».

— С нашей царицею мудростию своею может ли, хотя бы, одна скотина сравняться? Пресветлая матушка наша превыше всех тварей земных... И ни французский, ни швейский, ни англиканский, ни один царь земной не достоин ее.

Лошадь на подъеме остановилась, не в силах везти весь этот груз в гору. Отец Иван схватил кнут и, крепко выругавшись, изо всей мочи начал хлестать свою «премудрую тварь». Кое-как общими усилиями сани, все-таки, удалось сдвинуть, и лошадь, снова помахивая хвостом, двинулась в путь.

Снежные ветви сосен заискрились от лунного света, проникшего в чащу зелеными и синеватыми огоньками.

Поп опять пришел в восторг, широко перекрестившись:

— С мордвою можно жить не хуже, чем с чувашами или черемисами... Я со всяким народом, даже с эфиопами, могу ужиться... Почему? Потому что помышляю о справедливости... Никому не завидую... Друзей почитаю... В человеке прежде всего я вижу раба божьего... Какой ни на есть, пускай мордвин — даже и язычник, — но тоже раб божий... Что ты скажешь на это, Митрич?..

— Выходит, значит, батюшка, царица-государыня и мордовка — одинаковые люди?

«Дать ему в морду, что ли? — мысленно возмущился батюшка. — На грех, сволочь, наводит».

— Собственно говоря, царица может быть сравнена единственно с божьей матерью или другою какою непорочною святою девою.

Дальше отец Иван заговорил раздраженно.

— Ты поминай о простых, о грешных людях... Язва! Какого ты лешего все в разговор вплетаешь царицу?! Не восхотел ли ты того ради в Тайный приказ... Смотри!

— Нас тут никто, чай, не слышит... — зевнул пономарь равнодушно.

— Деревья слышат. Не знаешь? Фефела!

Дьякон затрясся от страха.

В чаще послышался хруст сучьев и, будто бы, человеческие голоса. Все прислушались. Батка дернул за бороду начавшего что-то бубнить пономаря. Дьякон прошептал в ухо отцу Ивану: «волки!».

Тот изо всей силы хлестнул посохом лошадь по хребту. Та рванулась, побежала через силу, переваливаясь.



— Эй, не мучь коня!..—раздалось над самым ухом отца Ивана. Дьякон сидел, уткнувшись в тулуп, пономарь нахлобучил шапку—одна бороденка видна.

В это время из леса выскочили люди и окружили сани.

— Стой!—гаркнуло несколько голосов.

Какой-то детина схватил под уздцы лошадь. Она стала, как вкопанная. Дьякон без чувств брякнулся на спину. Пономарь на него. Позади, как поросенок, которого режут, визжала попадья. Макеев закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чей-то палец ткнул его в лоб. Открыв глаза, он увидел вокруг саней кучу неизвестных. Он узнал только одного, одетого в звериную шкуру, Тамодеев, узнал по седой бороде и громадному росту.

— Тебя-то нам, батя, и надо,—сказал самый расторопный из них.

— Отпустите меня! Возьмите все, ничего мне не оставляйте. Только душу мою не губите!..—застонал отец Иван.

Попадья не растерялась—успела спрятать себе под юбку связку льняных тканей и бочонок с медом.

— По своей ли ты воле ходил в священную рошу на моляны или тебя кто послал туда?—спросил Макеева Тамодеев, тяжело дыша.

— Ничего я по своей воле не делаю... Воля государева и святой церкви...

— Но ты мог не ходить на моляны, а просвещать мордву в иное время...—дерзко тряхнув попа за плечо, произнес другой из нападавших.—Мог бы и теперь дома сидеть. Мордву грабить ездил?

Макеев, давась слезами, возразил:

— Ах, человек! Разве ты не знаешь, что русские иереи в весьма худом состоянии?.. Власть духовному чину ничего не дает, а обирать народ не каждому совесть позволяет... К тому же, разве мы не слышим сокровенный народный ропот? А как сказать о том? Немало наших сидят в кандалах. О митрополите Филиппе слышивал ли? (Отец Иван осмелел, решил прибегнуть к помощи своего красноречия.)

— Нет, не слышал.

— Московский митрополит Филипп указал царю Ивану Грозному, что царская власть дана ему богом для управления людьми, а не для сечения голов. Слуга Грозного—Малюта Скуратов задушил его за это. Так отблагото-

дарил за правду государь. Так же может поступить и наша матушка-царица! Что?!

Пономарь слушал и запоминал слова своего пастыря. «Царицу осуждать?! Сосчитаемся с тобой, боров ненасытный!»

Макеева сняли из саней, дали ему по загривку, стукнули и дьякона с пономарем и, переложив добро в другие сани, поехали обратно к Сескину.

Из кучки этих людей выделился человек в громадной косматой барашковой шапке, подошел к Макееву, поднес к его носу пистолет:

— Смотри, если выдашь — убьем! Ни слова не скажи о нас. Рук о тебя не хочется марать.

Остановившись около попады, страшный человек спросил:

— Сколько тебе, красавица, лет?

— Сорок восемь.

— Проезжай с господом богом дальше! Лучше умру, нежели до тебя дотронусь. Не бойся!

Проходя мимо дьякона, он дал ему понюхать пистолет, а затем сказал пономарю:

— Всех живьем съедем, коли проболтаетесь... И ребенка в котел бросим и съедим... Слыхали?!

Свою угрозу он произнес так, что не поймешь: шутит он или серьезно.

Попадьа, как ни была напугана, услышав от него такие слова, невольно засмотрелась на этого бравого бородача... Даже подметила у него веселые черные глаза и очень белые красивые зубы... «Вот бы мой был таким», — вздохнула она. — «Грех один!»

Бородач вывел из леса коня, а за ним вывели коней и еще другие четверо молодцов, сели верхом и поехали догонять сани с отнятым у попа добром.

. . . . .

Батка заплакал. Хиония укутала своего сына еще крепче. Под подолом у нее так и осталась связка льняных тканей. Дьякон опустился на колени прямо в снег и принялся молиться богу. Пономарь размышлял о том, как же он теперь донесет на отца Ивана, коли воры грозятся убить за рассказ об этой встрече?

— Ну-ка, матушка, потеснись! Чего растопырилась?! — проворчал сердито отец Иван, усаживаясь в сани. — Братия, влезайте!

Луна щедро разбросала кругом зеленые и синие огоньки, они повисли на снежных еловых лапах, будто маленькие сказочные цветы.

— Чего ради сияешь, светило небесное? — вскрикнул отец Иван. — Чего ради одеваешь радостным великолепием сию воровскую дебрь?!

Затем, нащупав бочонок с медом, он воспрянул духом и долго грозил кулаком вслед уехавшим в Сескино разбойникам... До тех пор грозил, пока Хпония не взяла его руку и опустила книзу:

— Будет уж тебе! Никто тебя не боится! И зачем только я вышла за тебя замуж?! За такого несчастного... и некрасивого... Дура я была... о!.. о!.. дура!..

И залилась попадаья горячими слезами.

### III

Елизавета, распустив волосы, склонила свою голову на колени к бабке Василисе. С гребнем в руке бабка рылась в золотистых косах царицы.

— Преподобная Елизавета еще от утробы матери была избрана на служение богу, ибо матери ее до родин было еще возвещено от бога, — родится-де у тебя дочь, которая будет избранным сосудом святого духа...

Из-под волос донесся голос царицы:

— Како же, матушка Василиса, господь бог уведомил о сем ее мать?

Старуха насупилась и сердито дернула ее голову:

— А ты слушай!.. Не перебивай!.. Молода еще старым людям перечить!.. Говорят тебе не зря... Каково мне-то слушать, когда про тебя судачат? Дитятко ты мое, знаю я тебя, как облупленное яичко, а твои косматые офидеришки, словно бесы, округ тебя винтуют и речи разные говорят... И чего-то им надо, и о чем-то они один перед другим усиленно помогают!.. Особливо те, кои помогали тебе немку изгнать и на престол тебя поставили... Ух, кобели, проклятые! Если бы да на твоём месте... я бы их!

Старуха затряслась от злости.

Елизавета вскочила, гордым движением головы откинув косы. Глаза ее стали большими, удивленными.

— Про меня судачат?! Может ли то быть, Василиса? Все оные офицеры и солдаты получили от нас награду

немалую, и в ножки нам они кланялись и богу за нас молились, и умереть по единому слову нашему клятву давали.

Старуха ехидно рассмеялась.

— Не забудь, дочка! Дьявол осьмую тысячу живет. Всех он мутит, всех он обманывает, а царей много больше всех и много злее всех. Уж на что твой батюшка, Петр Алексеевич, был умен, а дьявол и его так обманул, что и распутаться до смерти не смог. И даже после смерти его те путы не распутаны. Меньшикова Сашку не дьявол ли подослал Алексеевичу, а твою матушку не сатана ли погубил? И она его обманула. А Петра Второго на тот свет скорее скорого не он ли увел? Толстопузую Анну так бесы опутали, что весь народ от неметчины едва богу душу не отдал... Морили они, морили крестьян, но никак всех переморить не угнулись... Вот он — дьявол-то! И к тебе тоже он нагнал своих посланцев, своих слуг злоехидных... Не верь! Не верь никому! Дьявол влез и к нам во дворец... Берегись его!

Елизавета вздрогнула от страха, прижалась к старушке.

— Ой, как страшно! Милая Василиса, что же мне делать?

— А вот что, золото мое, изгони-ка от себя всех своих благодетелей. Гони их вон из дворца... Пошумели — и довольно. Теперь не нужны. Гони, кого в Сибирь, кого в иные дальние края... А сама молись, яко ангел твой — святая Елизавета. Воздержание ее было — чрезмерное, ибо она проводила многие годы, не вкушая хлеба и питаясь только одними плодами и овощами, масла же и вина она не вкушала во всю свою жизнь. Сиди и ты на престоле, на высоком, порфиною приукрашенном, окруженная херувимами и серафимами. Поменьше обращай внимания на предметы земные...

Царице стало жаль себя. В глазах у нее появились слезы. Василиса еще крепче прижала ее голову к груди. Она была довольна действием своих слов на царицу. Она честно выполняла приказ Бестужева и других старых бояр, засевших в Сенате, которые подняли поход против простого звания придворных из солдат.

— О чем же тебе плакать, птишка ты моя ненаглядная? Ты — царица. Вся власть у тебя.

— Боюсь... боюсь, Василиса!

— Кого же тебе бояться, коли в твоих руках и воин-

ство христово и целый сонм преданных рабов? У тебя есть Сенат, твое верное исконное дворянство... Родовитое, не то, что эти...

— Дявола боюсь и прежних согрешений своих... Загубила и я немало душ и введена не однажды в соблазны наихудшие. Грех, грех, грех кругом меня и во мне... Дявол сильнее царей, что и сама я вижу... Хотела бы я видеть грешницу грешнее меня!

— Успокойся, дочка! Грех большой отчаиваться в милосердии божием, нежели поклоняться идолам земным... Царь согрешит, бог простит. Не малое множество у тебя силы, дабы искупить прегрешения и спастись во-время от происков сатаны. Не жалея своих, якобы, благодетелей, а по сути врагов твоих лютых. Вон их! А прежде всего твоего же дохтура, француза окаянного, сводника проклятого, убийателя плодов в грешных утробах дворцовых блудниц. В пьяном виде о телесах не только дворцовых девок, но и о твоих, болтают сии змееныши.

Елизавета вскочила. Лидо ее нахмурилось.

— Кто смеет обо мне сквернословить? Загублю без остатка, и ворону поживиться будет нечем!

— Ну, ну, ну! Садись! Успокойся! — всполошилась Василиса. — Вся в своего батюшку — горячая. Уймись! Не гоже так, а особливо государством править. Не гоже! Не гоже! У царя и без того руки долги. Царю рассудок нельзя терять. Народ — тело, царь — голова. Не торопись, а потихоньку, потихоньку изводи своих благодетелей, вознесенных тобою в дворянство из простых солдат.

Елизавета шлепнула ладонью по столу:

— Кто болтает про меня? Откуда ты знаешь? Говори!

— Есть люди верные, преданные рабы твои...

— Давай их мне сюда! Хочу слышать...

— Изволь!

Старуха вышла из дарицыной опочивальни и крикнула дежурному капралу:

— Демьяныч, позови-ка слепого-то!

Вернувшись, она нашла Елизавету уткнувшейся в подушку. При входе мамки дарица поднялась и строго взглянула на нее.

— Причесывай! Скорее!

— Ничего, матушка государыня! Человек этот слепой... Какая бы ты ни была, ему все одно не видно. Музыкант он, играет у них,

Елизавета, оттолкнув Василису, встала перед зеркалом, собрала в пучок косу, налепила мушку около рта на щеке, подвела брови...

Василиса с хитрой улыбкой следила за своей воспитанницей:

— Буде уж тебе! И так хороша, красавица ты моя! Лучше тебя и девок-то в мире нет! Что ротик, что носик, что косы, что ушко... Господи! Пресвятая владычица!

Василиса знала, что надо говорить.

И чем больше приговаривала старушка, прославляя елизаветину красоту, тем более ласковой и приветливой становилась дарица. Она крепко обняла бабуку и поцеловала.

— Ах! Как у меня болит голова от государственной усталости! И кого же мне слушать, коли не тебя! Сирота я круглешенькая... Пожалей меня... Глупая, маломысленная я!

В это время послышался стук в двери. Елизавета приосанилась, оправив на себе платье.

— Входи! Кто там?

Дверь отворилась; в опочивальню, подталкиваемый капралом, вошел слепой человек в потертом, бедном камзоле и в стоптанных туфлях. Войдя, он упал на колени:

— Владычица наша, государыня! Униженный раб твой Егор Соловей, музыкант без роду, без племени, бьет тебе челом, желая царствовать многие, многие годы!

— А ты чего белма выпучил? Вон отсюда! Ишь ты, — закричала Василиса на капрала. Тот исчез.

Елизавета подняла слепого и посадила в кресло.

— Ты не видишь? — спросила она сочувственно.

— Да, слепой, — жалобно ответил он.

— Так-таки ничего и не видящий?

— Хотя и слепой я, но чудесным образом, при помощи Христа бога нашего, зрю, матушка-дарица, твою неизъяснимую красоту лучезарную, якобы, и оба глаза мои видят и дурной воды в них нет... Вот ты стоишь и ярко сияешь над миром, подобная вифлеемской путеводной звезде, и смотришь на меня, будто солнце яркое, теплое, полуденное...

Василиса прервала его.

— Скажи-ка лучше ее величеству, что ты там слышал у французов и в кой вечер?

— Скажу все, как есть и как было, и нечего мне

скрывать от пресветлой нашей благодетельницы. Было то в один от беспутных вечеров в покоях лейб-медика вашего величества графа Лестока на Фонтанке, а я находился в то же самое время в оном же доме, музыки ради. И был там маркиз Шетарди. Перед гостями говорил он много по-французски, а о чем? Разобрать я не мог, ибо не знаю того языка. Однако слышал их многое и гнусное посмеяние. И как я мог понять, были там же и некоторые офицеры, и, между прочим, всех смешил своими словами бригадир Грюнштейн. Ему хлопали в ладоши. Был там еще поручик Рыхловский, обер-кригс-комиссар Зыбин, генерал Румянцев, штабс-ротмистр Лилиенфельд, адъютант Степан Колычев, подпоручик Акинфов, дворянин Николай Ржевский, поручик Иван Путята и другие. Напившись изрядно, подняли они споры и разговоры о тебе, государыня-матушка, и о жене адмирала Лопухина. А что они говорили,—непристойно мне передать вашему величеству, неприлично с подробностями всего его, шетардиева, дерзостного поношения и других офицеров. Пускай простит уж меня господь всевышний и ты, великая царица, но не могу я тебе того донести.

— Говори! — почти крикнула Елизавета, капризно топнув ногой... — Могу ли я выпустить тебя из дворца, пока не откроешь мне все оное воровство?!

Слепой съезжился. Испугался. Лицо царицы стало жестоким.

— Говори! — прошипела она, испугав даже свою мамку.

Слепец, еле переводя дух от страха, продолжал:

— Шетарди называл тебя, матушка-государыня, неблагодарной и того хуже. Похвалялся: будто бы милостию своего короля он тебе денег передавал несть числа, когда-де ты была принцессою, а на те деньги, якобы, ты овладела царскою короною. Говорил он, что ты тогда была бедная, одинокая и льстилась к нему. И он тебя жалел. А Грюнштейн каялся в том, что водил гвардейцев в Зимний дворец для тебя... Он говорил, что, если бы не он, да не его гвардейцы, не видать бы тебе царского престола, что он в ту ночь захватил Ивана Антоновича с матерью и принца Ульриха... Обижается он на твоих вельмож... Не для них, мол, мы старались, а скипетр им попал... После опять говорил Шетарди... Смеемся над Сенатом.

Слепец закашлялся, хрипло произнёс: «не могу».

— Не тужи! — топнула на него Елизавета.

Слепец продолжал:

— А потом, когда стала царицей, обманула-де и короля французского, не заключая с ним союза, обманула и его, Шетарди, а он-де близко сошелся в те поры с особю твоего величества... После сих речей он спросил Лестока: «Рыхловского тоже оттерли от двора?». Лесток сказал: «Спросите его самого, он сидит тут же!». Все стали кричать наперебой, спрашивать поручика Рыхловского.

Елизавета побледнела. Опустилась в кресло.

— А поручик что?!

— Он вскочил со скамьи, стукнул кулаком по столу и крикнул: «Подлые речи слушать не желаю! Про царицу клеветать не дозволю! Достоит ли офицеру позорить клеветою какую ни на есть женщину, а не токмо матушку-императрицу?!». И, хлопнув дверью, поручик ушел. Его пытались задержать, но не смогли. После его ухода граф Лесток сказал: «Теперь он опасен. Надо его застрелить!».

Слепец заупряился: «Не могу, не могу больше!.. Не губи, красавица-государыня! Не заставляй хулу на тебя устами моими повторять!..».

Елизавета вынула из шкатулки пригоршню золота и отдала слепцу.

— Говори! Я должна все знать, а после ты сыграешь мне пиесу... Будешь награжден мною за свою музыку и за свою правду.

Жалобным голосом продолжал слепец:

— И сказал Шетарди, якобы, женщины такие, да еще коронованные, имея власть великую над мужчинами, не могут удовольствоваться единым мужем, хотя бы и законным, тому-де свидетельством являются истории многих дворов. И называл он Елизавету Великобританскую, и поминал Марию Стюарт и всяких иных заморских цариц, у всех-де были любовники, и все-де тем промышляли, ища себе поддержку среди войск и даредворцев. И спорили они о том, чья фигура лучше и лицо также, царицы или жены морского генерал-комиссара Лопухиной. Лилиенфельд и Грюнштейн сказали, что, по их мнению, конечно, Лопухина много прекраснее вашего императорского величества и много лучше танцует менуэты, чем ты, царица.

Заметив, что Елизавета почувствовала себя нехорошо,



Василиса засуетилась, подала ей кувшин с водой, к которому та и прильнула с жадностью.

— Довольно,—прошептала она,—благодарствую. Иди.

Василиса толкнула слепого в плечо, и тот исчез.

— Однако же, слава богу, что я про то узнала. Я сама опасалась шетардиева предательства и не оставляю его втуне,—сказала Елизавета.—Могу ли я после того быть союзницею Франции? А Лопухина? Гадкая баба! Фу!

Василиса назвала ее в угоду дарице коротко, по-солдатски. Елизавета снова крепко обняла и облобызала свою мамку.

— Теперь я знаю, что всего одного причиною,—сказала она,—все те офицеры, солдаты и прихлебатели моего двора времен, когда я была принцессою. Возведши меня в степень государыни, они хотят, чтобы я была таковою же и на престоле и не спрашивала бы с них строгости своею повиновения... Бывая временами мне равными, они хотят, чтобы я оставалась в оном положении и с державою и скипетром в руках и не считала их холопами своими! Не бывать сему! Царица я!..

Елизавета крупно, по-мужски, зашагала из угла в угол. Она погрозила в окно кулаком.

— Пойдите! Увидите —какая я. Все увидите! Меня судят, а я хочу по-своему жить. Чрезмерная воздержанность означает слабость и хилость, иногда осмеяния достойную, как в мужчине, так и в женщине. Притворная стыдливость —украшение трусов. Повинен ли человек, имеющий голову, в том, что мыслит? За что винят меня, имеющую первостепенную красоту?..

Сказав это, она снова остановилась перед зеркалом. Затем голосом командира произнесла:

— Советоваться будем. Вечером, после всенощной, собери у меня моих советниц: Мавру Егоровну Шувалову, Воронцову Анну, Елизавету Ивановну и нового духовника моего отца Дубянского, а теперь, дорогая Василисушка, собирайся к вечерне... Пойдем наши прегрешения замалчивать. Думается —велики они, коли так много о них говорят во всех заграницах даже... Соберайся.

Василиса втайне торжествовала. Наставление Бестужева она выполнила в точности. Значит, теперь будет награда от него.

После богомолья Елизавета, в скорбном молитвенном настроении, хотела расположиться на отдых, но ординарец доложил, что в приемной просит разрешения войти Александр Иванович Шувалов, один из помощников начальника тайной канцелярии Ушакова.

— Опять?!— недовольно вздохнула она, раскрыв псалтырь.— Ну, пускай идет!..

Шувалов, как всегда, касаясь пальцами правой руки пола, низко поклонился царице.

— Что, Иваныч! Иль неотложность?— спросила она.

Шувалов, согнувшись, мягко ступая по ковру, подошел к ней и поцеловал ее руку.

— Прости, государыня!.. Бью челом тебе, матушка! Охрани люди твоя от беса полуденного!..

Елизавета озадаченно вздернула тонкими бровями, улыбнулась.

— Слушаю тебя, озорник.

— Позорно мне, пресветлая наша владычица, и говорить-то тебе о сем блудодеянии врагов царей и церкви... Ни геройства, ни добродетелей, ни самоотвержения не жди, государыня, от оных людей... Вот взгляни своими святыми очами.

И Шувалов подал Елизавете небольшую железную табакерку, покрытую лаком, с рисунками на крышке.

— Видите, ваше величество, се табакерка, а на крышке у нее намалеван пасквиль — пять персон мужских и одна женская... Женская бесстыдно нагая, без одежды, лицо полное и волосы такого же цвета, как и у тебя, матушка, а на голове у нее царская корона... И тут же, как изволишь видеть, государыня, намалеваны те персон разговоры, зело неприличные, на английском языке...

— Где ты взял?!— побагровела от волнения Елизавета, бросив в угол табакерку.

— На Гостином дворе... Жиды привезли... Купцы пхние... И такую же именно табакерку видели мои сыщики у известного вам лейб-компанца Грюнштейна... еврея...

— Грюнштейн? Ах он, блудник! Прелюбодей! Осквернитель царствия божия!..— вся затряслась от негодования Елизавета.— Взять его и, наказав кнутом, выслать вон из нашей столицы! Об изъятии сих табакерок объяви генерал-прокурору князю Трубецкому издать приказ...

— Слушаю, ваше величество!

Шувалов поклонился и хотел выйти, но царица его остановила:

— Оставайся. У нас совет будет. Готовьтесь. Дело есть.

Некоторое время Елизавета сидела в тяжелом раздумьи, слезы выступили у нее из глаз...

— А слышала ли ты, Василиса, какую проделку сей мой тайный служака Шувалов сотворил? Хитер и блудлив пес! Свои люди мне донесли... Посадил он под шумок одного бедного писца, жена того человека ему приглянулась... приписал ему легкую вину... несколько суток тот человек обливаясь слезами сидел, горюя о жене и детенышах. Распутница жена его и глазом не моргнула, когда уводили ее мужа... А до сего твердила мужу о своей верной любви к нему... И в тое время, когда бедняк горевал под замком, она проводила время с Шуваловым в любовных утехах... Шувалов осведомил ее, что беднягу скоро выпустят, а потому и спокойно она делала свое дело: муж-де всегда при тебе, а боярин потешится да и уйдет, у него свои дела. Хотелось бы мне повидать сию блудницу... Дивные дела творит сатана... Василиса, мне думается, сия жонка еще грешнее меня... Приведите мне ту женщину, надобно на нее наложить эпитенью... Царица и та кается в своих грехах, а сия обманщица думает поклониться от раскаянья.

На следующий день вышел указ:

«О неупотреблении в продажу табакерок и прочих вещей с насквильными фигурами», и, кстати, выпущен в свет изготовленный еще 2 декабря именной указ Сената «О высылке, как из великороссийских, так и из малороссийских городов, сел и деревень всех евреев, какого бы кто достоинства и звания ни был, со всем их имением за границу и о невпуске оных на будущее время в Россию, кроме желающих принять христианскую веру греческого исповедания».

Грюнштейна наказали кнутом и выслали в подаренную ему царицей вотчину в Пензенском уезде, оставив в его собственность 3591 четверть земли и 927 душ крепостных крестьян.

Придворные недоброжелатели нашептывали царице, что этого наказания мало и что «еврею не гоже иметь вотчины и толикое множество православных душ у себя в крепости». Но царица своего решения не изменила, при-

ведя этим в великое удивление своих вельмож, хотя они и знали, что и он был фаворитом государыни.

Указ об изгнании евреев из России Сенат разослал немедленно же губернаторам и воеводам по всей стране.

. . . . .

По дворцовым коридорам поползли шопоты:

— Слыхали?

— Что?

— Фаворит Рыхловский-то уже!..

— Когда?

— Вчера приказ издан не допускать в караул к покоям...

— За что?

— Никто не знает...

— Бедный!..

— После сего отдаления будет иное чье-нибудь приближение.

— Ох, ох, ох! Каким источником новых горестей для России явится сей новый неизвестный?..

— Ш-ш-ш!

— А Алексей Григорьевич что?

— Пьет в Царском Селе... Генералы, царские гонцы, привезли к нему мать... Он устраивает пиры в честь своих родственников...

— А царица?

— Я вижу ее среди изобилия... Наскучив всякими великолепиями, вместо забав, она начинает получать одну тоску... Окруженная многими обожателями, привлекая их любовью сердца своего, она часто плачет...

— Она и должна плакать!

— О чем?

— О том, что Лопухина красивее ее... Я видела Рыхловского. Он танцевал с Лопухиной в присутствии царицы... Сам Разумовский посматривает в сторону супруги вице-адмирала... Она поражает своею красотою многих...

— Вчера на балу она при всех поставила на колени Лопухину и ударила ее по щеке.

— Быть беде!.. Вчера же царица так разгневалась, что не пожелала принять калмыцкое посольство. Уже две недели калмыки, привезя царице подарки, обивают пороги в иностранной коллегии...

Хотя Елизавета была не в духе, она, все-таки, с боль-

шим интересом приняла неверную жену приказного писца Сергея Гнутова. Ее привела Василиса.

С большим любопытством царица оглядела смело стоявшую перед ней грешницу, явившуюся с ребенком на руках.

— Она недурна... — шепнула Елизавета своей бабке. — И не похожа на такую.

И, действительно, на лице женщины не было ни испуга, ни раскаянья. Было видно, что она раскраснелась и с трудом подавляет улыбку.

— Не ты ли обманула мужа своего в дни его сидения в темнице?! И как то могло случиться у крещеной рабы божьей! Скажи нам имя свое!

— Евпраксия.

— И греха ты не побоялась так осквернить супружеское ложе?!

Женщина смущенно потупила взор.

— Боялась ли греха?

— Боялась, — тихо ответила она.

— Боялась и грешила?!

— Скушно мне было!.. От бедности!..

Елизавета расхохоталась.

«Забавная!» — прошептала она на ухо Василисе.

— Мои дворцовые девки грешат от веселья и роскошества, а ты от бедности и скуки?! Но твой грех превышает всех грехов наших. — Царица была несказанно довольна, что нашла грешница грешнее ее... — Ты что же! Мужа, видать, не любишь, по любви ли венчалась?!

— По любви... — и как бы опомнившись: — я его даже люблю... люблю...

Царица и Василиса еще более повеселели:

— Ты мне нравишься... О такой жене и в библии, гляди, не написано... и нигде не читано... А каялась ли ты на духу в храме?!

— Не успела, матушка-государыня.

— Василиса, отведи ее в нашу дворцовую церковь, чтоб наложили тяжелую эпитемью, да три десятка батогов ей дали...

Вдруг Василиса в испуге зашептала на ухо царице: «а в евангелии сказано: кто в блудницу бросит камень и никто не бросил»...

Елизавета перекрестилась:

— Батогов не надо... Дай ей деньгу. Накорми и напой ее... и ребенка...

Василиса ласково взяла за руку грешницу и вывела ее из дарицыной горницы. Потом вернулась, ведя за руку приказного писца Гнутова.

Писец упал в ноги царице и заревел на всю горницу:

— Прости меня, окаянного, владычида-государыня!

— Вставай! Ведомо ли тебе, что тебя жена обманула в те поры, когда ты сидел в каземате?!

— Ведомо, матушка-государыня, прости меня!.. Боюсь и слышать и рассказывать о том... И много раз, матушка-императрица, неверности от нее снес...

— И чего же ради ты просишь прощенья и чего ты боишься?!

— Не... не... не... могу... Прости меня, государыня!.. Трое детушек у меня... Бог с ней!.. Все плачу я... А она меня всяко ругает... Видать, рано я вернулся домой...

— Убивалась ли она, когда ты там сидел...

— Суседи говорят, будто веселая была... Прости, матушка-царица, ничего мне не надо... все одно я утоплюсь!

— Уведи его, Василиса, пускай его отольют студеной водой... А потом, чтоб двадцать батоков ему дали... дурость чтоб из него выбили, чтоб умнее был. Уведи! Непристойно мне смотреть на сего мозгляка!

Оставшись одна с Василисой, она сказала:

— Василиса, тебе кого больше жаль: ее или его?..

Василиса со всей поспешностью и готовностью ответила самодовольно улыбавшейся царице:

— Ее! Доброе дело ты сотворила, царица, господь не оставит тебя за твою доброту.

— А коли он утопится?!

— Худую траву из поля вон!

— Однако, какой проказник Сашка Шувалов!

— Шустрый! Парень хват! Закрутил ей голову!

— Ну, и сама она, видать, к тому великую склонность имеет: по глазам вижу птицу... — сказала Елизавета.

— Потаскуха!

Помолившись на иконы, царица и Василиса вышли из горницы.

#### IV

Тихо дремлет в снежных горах Поволжья Нижний Новгород. Горят свечи в доме Гринберга. Залман молится. Что же ему, старому человеку, гонимому властями, оставленному

сыном,—что же ему теперь делать, как не молиться? Превыше всего бог! Талмуд учит: «Всею душою твоею люби бога и тогда, когда он отнимает у тебя душу твою, когда для прославления имени его тебе приходится жертвовать жизнью твоею». По впалым морщинистым щекам Залмана текут слезы и тонут в курчавой седой бороде, обрамляющей лицо. Близость страданий предчувствует он. Вчера один русский мелкий торговец потихоньку передавал Залману, что в Нижний пришел какой-то приказ против евреев. На губернаторском дворе приставы болтали о нем, о Гринберге. Что именно?—торговец того не слышал.

Рахиль сидит у окна. Она видит большую яркую звезду. И мысли ее растут.

Ночь холодна. Вдали, там, во мраке, занесенные снегом Ока и Волга, а за ними дремучие леса, и где-то далеко, в лесных пустынях, скитается Рувим, отыскивая место, где можно было бы жить еврею, куда бы и отец и сестра могли перебраться из Нижнего.

—Что же такое совершается кругом? И что сильнее: правда или царь?

Много всего передумала Рахиль после ухода Рувима.

Сегодня утром она читала книгу пророка Ездры. Был большой пир у персидского царя Дария, после чего царь уснул. Трое юношей-телохранителей решили положить под изголовье ему записки, в которых написали — что в мире всего сильнее? И чье слово окажется разумнее других,—даст, пускай, тому царь Дарий великую награду. И будет тот одеваться багряницею и пить из золотых сосудов и спать на золоте и ездить в колеснице с конями в золотых уздах, носить на голове повязку из виссона и ожерелье на шее.

Один написал: сильнее всего вино; другой — царь; третий — женщины, а над всеми победу одерживает истина.

Дарий велел юношам объяснить их ответы.

Первый сказал: «О мужи! Как сильно вино? Оно делает одинаковым ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого. И всякий ум погружает оно в веселье и радость».

Второй юноша сказал: «О мужи! Не сильны ли люди, владеющие землею и морем и всем содержащимся в них? Но царь превозмогает и господствует над всеми. Если скажет, чтобы люди ополчались друг на друга, они исполняют; если пошлет их против неприятелей своих, они идут и разрушают города и стены и башни, и убивают и быва-

ют убиваемы, но не идут против слова царского. А когда победят, они все приносят царю, что получат в добычу. И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю, — после посева, собравши жатву, также приносят к царю. И понуждая один другого, несут царю дани. О мужи! Не сильнее ли всех царь, когда так повинуются ему люди?».

Третий сказал: «О мужи! Не велик ли царь и многие из людей, и не сильно ли вино? Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщина ли?».

«Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землей. И от них родились и ими вскормлены насаждающие виноград, из которого делается вино. Они делают одежду для людей и доставляют украшение людям. Если собирают золото и серебро и всякие драгоценности, а потом увидят женщину, хорошую лицом и красивую, оставивши все, устремляются к ней более, чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи. Из этого должно вам познать, что женщина господствует над вами».

«Берет человек меч свой и отправляется, чтобы выйти на дороги и грабить и красть, а похитит и ограбит,— относит то к возлюбленной».

«Многие сошли с ума из-за женщины и сделались рабами через них. Многие погибли и сбились с пути из-за женщины, но... несправедно вино, несправеден царь, неправды женщины, несправедливы все сыны человечества и все их дела таковы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей, а истина пребывает и остается сильною ввек и живет и владычествует из века в век. Она есть сила и царство, и власть и величие всех веков: благословен бог истины!»

Раздался стук в окно. Рахиль вздрогнула. Мысли оборвались. Залман тоже вскочил, уронив одну из свечей.

Кто-то неистово забарабанил в дверь; слышались многие голоса на дворе.

— Кто там?!—крикнула Рахиль.

— Отворяй!— долетало снаружи.

— Отвори...— оцупившись на скамью, тихо сказал Гринберг.— Пришли...

Девушка отперла. С улицы в горницу ввалились полицейский комиссар и солдаты.

— Бери его!— указал полицейский на Залмана.

Солдаты окружили старика. Быстро, на память, как за-



ученную молитву, полицейский затараторил что-то, поглядывая в бумагу. О чем он говорил — понять было невозможно. Одно уловила Рахиль, что «по поручению венценосной, благочестивой государыни императрицы Елизаветы Петровны» явились они за тем, чтобы отвести «нижегородского купца Гринберга» в острог. Рахиль бросилась к отцу, но ее грубо оттолкнули. Старик не понимал, в чем дело, глядел слезящимися, недоумевающими глазами на полицейского, тихо повторяя: «Майн готт! Либер готт!».

Рахиль снова бросилась между отцом и полицейскими: — За что?! За что?! Уйдите!

Пристав опять оттащил ее в сторону, приказав держать ее солдату.

— Того требует закон!.. — раздался его грубый голос. — Сами виноваты!

Залман очнулся, выпрямился и сказал: — Прощай, Рахиль!

Отец и дочь крепко обнялись.

— Ну, ну, иди, иди! Пророк Елсей!..

Залмана подхватили под руки, поволокли на улицу. Рахиль, вскрикнув, без памяти, повалилась на пол. Ее большие пышные косы раскинулись по сторонам. Лицо было бледным, безжизненным.

. . . . .

С зажженными факелами вели Залмана по улицам города в кремль. Дорогою к ним присоединилась еще одна команда солдат — и тоже с факелами, и тоже с арестованным. Залман, как ни был поражен случившимся, все же распознавал немца Штейна.

Через Дмитровские ворота арестованных провели по кремлевскому съезду к Ивановской башне и заперли в каземате, где некогда сидел раскольниковый вождь — диакон Александр, казненный на Благовещенской площади перед кремлем. В эту башню сажали наиболее опасных преступников.

. . . . .

Рахиль очнулась, но не могла понять, что случилось? Возникали сумбурные мысли и образы в сознании. Вот он — третий юноша стоит перед царем Дарием и говорит об истине. Юноша Зоровавель, Но где же отец?! И где же истина?!

Рахиль с испугом и удивлением огляделась кругом. Значит, это не сон, а правда, что отца увели в тюрьму?! Свеча тихо догорала на столе, на котором осталась рукавида одного из солдат. Рахиль опустила голову на руки и зарыдала. Одна! одна теперь осталась.

## V

Епископу Димитрию Сеченову стало известно о случае с отцом Иваном. Кто донес — тайна. Сам он, конечно, ни за что бы на свете не сказал. Нападение разбойников на церковных служителей не на шутку обеспокоило епископа и губернатора.

Недавно ограблена ими расшива (пристав до сих пор в смиренной рубашке сидит, — помутился рассудком). Бурлаки утехали кто куда, не желая ничего говорить о разбойниках. Всполошился и работкинский вотчинник, бывший фаворит (еще в солдатском чине) ее величества, Шубин. Его тоже навестили непрошенные гости. А этот может и самой царице пожаловаться. Чего ему стоит? Когда-то очень близким человеком к ней был, первая любовь ее. А князь Баратаев? Этот уже и вовсе не замедлит донести царевичу Грузинскому в Питер. Ведь и его не оставили без внимания непрошенные низовые гости. А теперь, можно сказать, под самым городом они напали на преданнейшего начальству священника.

Что делать? А главное, где их ловить? Говорят, логово их под Козьмодемьянском на земле казанского губернатора.

— И чего тот дремлет? — угрюмо разводил руками Дружкой. — Пошлю гонца к нему с промеморией. Пускай ловит их. Ему ближе, да и солдат у него больше. А что я могу? Хотя бы мордву в страхе держать — и то бы хорошо с моим гарнизоном!

Епископ, видя, что теперь от губернатора толку не добьешься, решил повести следствие сам, через своих людей. Тайно ночью вызвал к себе старца Варнаву.

Окна велел наглухо загородить ставнями, лишних людей удалил из соседних помещений.

— Человек ты правдивый и бесстрашный... — тихо заговорил Сеченов, — слово божие в твоих устах живет не праздно, а с пользою для государства и церкви... И поэтому прошу тебя сказать мне чистосердечно: что ты зна-

есть о расплотившихся в нашей губернии ворах?.. Кто они? Сколько их? Откуда явились? Не могу я добиться толка ни у кого... Губернаторские сыщики, видимо, сами боятся... На кого же мне положиться, как не на своих людей?

Варнава хитро улыбнулся. Веселые морщинки разбежались у него по лицу.

— Верно, ваше преосвященство, малые и большие воры рыскают по лесам... — вкрадчиво заговорил старец, иногда останавливаясь, пожевывая губами. — Приходили и ко мне, а с ними сескинский мордвин Несмеянка Кривов... Но ушли посрамленные... Не устояли перед словом Божиим... Самый опасный из них — Несмеянка. Это их герой! Вожак!

— Заковать его в железа... — сурово произнес епископ. — Нечего потворствовать!

— Нельзя, ваше преосвященство... Убьют они меня... И многих наших побьют... Надо бы миром. В полном согласии...

— Как же ты мыслишь?

— Пойду я к ним сам... Пойду со словом уветливым, простым и добрым... Жду вашего к тому подвигу наставления.

Епископ задумался. В самом деле — о чем может духовное лицо повести речь, придя к вору? У разбойников свои интересы, у духовного чина — свои. Два разных мира. Над этим недолго, однако, ломал свою голову Дмитрий Сеченов. Привык он обращать в христианство и повинование всяких людей. Вдруг он весь просиял, поднялся с своего кресла и быстрыми тяжелыми шагами в надетых на босую ногу татарских сафьяновых туфлях заходил из угла в угол по келье.

— Правильно! Христос показал нам пример. И воры тоже имеют сердце... И у них есть душа. Мы — слуги всевышнего — отличаемся от слуг государевых своим милосердием и человеколюбием. Наша душа открыта для людей.

Сеченов взял с полки маленький серебряный молоточек и резко постучал им в медную чашу на столе.

В дверь высунулся худой шупенский человек с гусиным пером за ухом. Его нос был длинен, худ и прозрачен.

— Садись, Михеич! — указал на скамью Сеченов и размашистым движением взял с полки листы пергамента.

Епископ медленно, с расстановкой, начал говорить, а его секретарь торопливо записывал:

*«Житие преподобного отца нашего Давида, иже прежде  
бе разбойник».*

«Сей святыи и преподобный отец наш Давид был прежде разбойник, в пустыне живший и не мало зла сотворивший. Многих убивая, так зол и суров был, яко никто иной. Имел он под своею властью дружи-ну более тридесати человек, разбой с ним творивших. Однажды, сидя с ними на горе над Волгою, раздумал-ся он о житъе своем и убоился своих согрешений перед богом, ибо много зла содеяно было им. И, оставив всех, бывших с ним, он пошел в монастырь. Ударил он в ворота, и к нему вышел вратарь, который и спросил его: чего он хочет. Давид ответил ему: «Черноризец, пусти меня!». Вратарь сказал: «Не можешь зде быти, яко много ты согрешил, и мног труд в обители имеет зде братия и великое воздержание, ты же иного права, человек, и заповеди монастыр-ские не можешь хранить». Давид, молясь, сказал: «Все, что велите мне, все себе сотворю, токмо примите меня!». Игумен взял его в монастырь. И начал Давид подвижаться воздержанием и обучать себя смиренню, и в скором времени всех, которые были в монастыре черноризцы, превзошел добродетелями. Однажды сидел он в келье, и явился ему архангел Гавриил и сказал: «Давид, Давид, простил тебя господь за грехи твои, и будешь ты отныне чудеса творить!». И после этого он многие чудеса сотворил: слепых просветил, хромых ходить вразумил, бесноватых исцелил. И пожил лет порядочно, и предстал перед господом богом защитником душ наших. Аминь!»

Сеченов начал молиться. Вслед за ним коленопреклоненно принялись отбивать поклоны старец Варнава и архиерейский секретарь. Помолвившись, Сеченов спросил Варнаву:

— Внял ли ты сему сказанию о праведном отце нашем Давиде?!

— Вразумлен, — смиренно, но с замешательством ответил старец.

— Теперь видишь, что и разбойники — люди, и могут исправиться, покаявшись.

— Вижу.

— Солнце непрестанно изливает свой свет на весь мир, —

продолжал епископ, — так и священнослужители должны свое милосердие и божие слово направлять ко всякому человеку, особенно заблудшему. Не так ли?

— Так, ваше преосвященство.

Сеченов кивнул секретарю, чтобы вышел, и, глядя хмуро в упор на Варнаву, произнес строго:

— Благолепие святых украшает церковь, подвиги и христианское отречение от земных благ украшают старцев-схимников.. И не было бы для тебя радости служения господу богу, если бы, находясь в темных лесах, среди диких зверей и разбойников, ты не попыталась бы смягчить их.

Старец склонил голову.

— Воистину так, ваше преосвященство!

— Своим толмачам и писцам прикажу я писать житие святого Давида во многих листах и на русском, и на мордовском, и на черемисском, и на татарском, и на чувашском языках, и вручу их тебе... Бесстрашно и отважно, как подобает апостольскому чину, ты отнеси их в разбойничьи гнезда и призывай несчастных на путь спасения. За подвиги эти ждут тебя великие награды из губернаторской и епархиальной казны... Идешь ли?

Старец Варнава стал на колени перед епископом.

— Иду. Благослови, владыко! Не сребролюбия ради, а желая народам быть полезным.

## VI

Немду Штейну спросонья показалось, что серые холодные стены каземата надвигаются на него, постепенно сжимаемая комната. Вот-вот задушат.

Он вскрикнул, разбудив Залмава Гринберга. Красные пятна холодной вечерней зари легли на лица испуганных колодников. Тихо. Только слышны царапанье и торопливая беготня крыс под койками.

— Страшно! — прошептал Штейн.

— А что не страшно?! — вздохнул Гринберг. — Когда нас вели в тюрьму, разве не слышал ты, как пристава и попы кричали людям, чтобы они плевали в еврей?.. Разве это не страшно?! Что мы можем сделать? Противиться? Будет от этого еще хуже. Людская ярость огню подобна...

Штейн некоторое время сидел задумчиво, опустив го-

лову на колени. Гринберг тоже погрузился в размышления.

Штейн простонал:

— За что меня посадили?!

— А разве я знаю, за что меня оторвали от детей? — отозвался Гринберг, разводя руками. — Царице в угоду, но едва ли на пользу.

Немец глядел на него и думал:

«Не достойна ли порицания дерзость сего старого еврея, имеющего намерение равняться с немцем, сыном великого племени тевтонов?!»

Еврей думал, глядя на немца:

«Несчастный! Неужели ты не видишь, кто с тобою сидит и дышит единым воздухом с тобою! Я — еврей, сын народа, избранного богом. Одни только евреи происходят от Адама, Авеля, Авраама и Моисея, а немцы от дьявола, Каина, Исава и Иисуса Христа».

Думать — думали, но ни Штейн, ни Гринберг ничего не сказали друг другу обидного. У каждого были свои мысли. Каждый вспоминал виденные раньше сны. Штейн вспомнил, что ночью ему снилось, будто бы король Пруссии Фридрих, возмущившись гонением на немцев в России, собрал несметное войско и двинулся с ним к Петербургу, взял его, пошел затем к Москве — взял и ее, оттуда к Нижнему — разрушил город до основания, а губернатора Друцкого утопил, и освобожденный от щей Штейн собственными руками стал убивать русских... Волга вся окрасилась кровью от убитых им людей... Фридрих, сидя на белом коне, любовался им, Штейном, похваливая его за поголовное истребление россиян.. «Только немцы должны существовать на земле!» — гордо сказал король. Король вдруг увидел Гринберга, указал Штейну на него рукой, воскликнув: «Ты с большим мужеством и благородством разделился с русскими свиньями, но почему же ты бережешь еврея?! Евреи — враги Христа, враги немецких купцов, они хитры и коварны, они опаснее русских! Губи их!». И немец Штейн воткнул нож в сердце Гринберга.

Когда Штейн увидел перед собою сидящего на койке живого Гринберга, он похолодел от страха и стыда.

Залман читал молитву, прикрыв рот рукой, чтобы не заметил немец: «Господи боже наш! Ты желал, чтобы люди на земле росли и множились, и сам сказал некогда праотцам нашим: «растите и множьтесь и населяйте зем-

лю!». Не допустишь же ты гибели моей Рахили, моего Рувима и преданных твоих рабов Моисея и Ревекки? Не для того же они родились, чтобы быть убитыми, сидящими в тюрьме, в цепях и побитыми камнями от руки сынов Исавовых<sup>1</sup>. Пролей гнев свой на народы, не знающие тебя, и на царства, не призывающие твоего имени. Ибо поругали они Иакова и жилище его разорили. Пролей на них ярость твою, и пламень гнева твоего на них!».

Немец спросил с усмешкой:

— О чем, старик, шепчешь?!

Гринберг вздохнул, смутившись.

— Я молюсь, и только.

Вскоре Штейн снова уснул, Гринберг не заметил того, как он тихо и с упоением начал всхрапывать. Штейн вообще много и крепко спал, а Гринберг иногда целые ночи просиживал на постели, поджав под себя ноги, и все думал и думал, и нередко слезы катились по его впалым щекам.

Вчера пристав, явившись в каземат, объявил в последний раз Залману, что если он не примет православия, то все его имущество будет отобрано в казну, а сам он будет выслан на китайскую границу, в монгольские степи, а дочь его пустят по миру.

Гринберг молча выслушал объявление пристава. Немец рассмеялся. Пристав зло на него покосился: неуважение к власти!

— Я бы не стал противоречить, принял бы православие, ибо оно открыло бы мне путь для еще большей жизни. И, кроме сего, не лишнее — пожалеть своих детей.

«Детей?—думал теперь Гринберг.— Но живы ли они?» Не вещий ли то был сон, когда ему так ясно, так живо показалось, что у него выпали четыре зуба?»

Опять ночь, полная тоски и безнадежности. Приподнявшись на койке, Залман увидел непроглядную темень в стороне Волги. В небе из-под серых ледяных туч выступил чуть заметный круг луны.

## VII

Филипп Павлович с утра не находит себе места: Мотя — тихоня, слезливая девочка, какою она была вначале, — через три-четыре месяца превратилась в тирана. А отче-

<sup>1</sup> Христиан.

го? Сам слаб! Сам виноват! Домоправительница Феоктиста давно твердит, что избаловал он мордовку, но... для кого же теперь жить, кого любить, кого баловать, на кого радоваться?! Феоктиста — холодная, спокойная женщина, деловая и умная; все это хорошо, а душа к ней не лежит. Погрешил и с этой, правда, — еще при жизни ныне покойной супруги Степаниды, но... не привязался. Сухарь была — сухарем и осталась. А эта... даром что молода, так хитра, бойка, настойчива и... горяча, — что дай только бог сил и терпенья! Одним словом, — неприятность получается!

Вот и сегодня — куда девалась? Кто знает? Видели, будто бы, в поле мчалась верхом по дороге, как ошалелая, а куда? Зачем? И тут сам виноват, не кто другой: приучил ее, на свою голову, к верховой езде. Сначала ездили вместе по окрестным полям и лесам, гуляли, а теперь уж, гляди, понравилось одной. Спросил ее: «Зачем ты едешь без меня?». А она: «Надоел!». Вот и все. И ничего не бонется.

Как тут быть! Всякая илеть бессильна. Поневоле махнешь рукой — будь, что будет! Авось...

Села и уехала. И все тут! Ух, эти бабы! Хотел пуститься вдогонку, проследить ее, да вьюга поднялась. Не поехал. Жутко.

Все глаза проглядел Филипп Павлович с вышки своего дома. Ничего не видать, пустыня, снег, а вдали черные пятна леса. Небо ровное, серое, низкое. В полях ни души. Этак, ведь, и волк может на нее напасть, и разбойники (господи благослови, не к слову будь помянуты!). Больше всего он страшился их.

Вчера был старец Варнава. Принес описание жития святого Давида, раньше бывшего разбойником, и просил совета: как ему передать эти листочки разбойникам? Бонется итти отыскивать их, хотя нашлась одна баба, которая, якобы, точно знает разбойничье гнездо. Старец Варнава уверяет, что как только разбойники прочитают это жизнеописание, так придут и покаются! Тут-то их власти и заберут и посадят в тюрьму. («Не кайся!»)

Филипп Павлович посоветовал Варнаве рассеять эти листочки среди мордвы; отцу Ивану тоже не мешает сунуть их, игумену Оранского монастыря, отцу Феодориту, — также. Они будут читать их с амвона в церкви своим прихожанам, а те повесут весть об обращении разбойника Давида — дальше, по селам и по деревням... Хо-



рошо бы дать листки новокрещенцу-мельнику Федору Догаде и мордовским жрецам тоже: они, хотя и не на стороне святого Давида, но обязательно передадут разбойникам...

— Так-то так, Филипп Павлыч... Мудрая у тебя голова, но не поможешь ли ты мне в оном?..

— Чем же я тебе помогу, святой отец?

— Слаб я стал ногами... Уходилась тут у вас. Нехватит мне сил обойти всех... Не поможешь ли ты мне людьми?..

— Людьюми помочь не могу, а созвать тех чудодеев у себя сумею, — сказал Рыхловский с улыбкой. — Хочешь, соберу?!

— Да будет так! — просиял Варнава.

— А ты мне, святой отец, помоги написать письмо сыну моему Петру... Надо просить у него защиты... Пускай доложит дарице о наших делах. Пошлю в Питер человека... Обязательно.

Письмо писал Варнава, а Филипп Рыхловский говорил, что писать.

Листочек о разбойнике Давиде, ушедшем в монастырь, Варнава оставил и Рыхловскому. Но где этот листок? Все обыскал Филипп Павлович, а найти не смог. Куда девался? Надо узнать у Моти — не спрятала ли она его куда.

Поджидая в этот вечер Мотю, много всего передумал Филипп Павлович. У него появилась даже охота оправдать Мотю. Как никак — под пятьдесят уж, а ей всего восемнадцать! Присвоил дуду на свою беду. Нечего и жаловаться, что слезы текут!

Наконец, услышал Филипп Павлович шум на дворе. Сердце забилося. Выбежал в сени. Снежный вихрь так и ударил в лицо. Отворилась дверь: Мотя. Вся в снегу, румяная, веселая. Из-под меховой шапки с наушниками глядят бедовые, игривые глаза. Этот взгляд обращал Филиппа Павловича в кроткое, ласковое существо.

— Где ты пропадала, голубушка, в такую непогоду?

— Гуляла.

— Была ты мордовка, мордовкой и осталась... Никак тебя не обратишь в нашу веру, — добродушно заворчал Рыхловский.

— Вера твоя — воля моя!..

— Не видала ты у меня бумагу?.. Про святого Давида она. Пропала куда-то. Все обыскал.

— Видала.

— Где же она?

— В огонь я бросила.

— Зачем же?

— Неправда там. Куда же он других дедал? Своих товарищей?!

— Они остались разбойниками.

— А он святой?

— Да.

— Неправда. Они бы его убили. И бог бы наказал его: зачем оставил своих. Так не бывает.

После этого Филипп Павлович помог ей снять теплый, на меху, зипун. Усадил ее и давай ласкать.

— Скоро гости у нас будут. Новый сарафан тебе сошью.

— Гости?! Знаю,— задумчиво проговорила Мотя, как бы раздумывая о чем-то другом.

— Знаешь?— удивился Рыхловский.

— Слышала я, говорил ты зубастой щуке...

— Не надо ее так называть... Она хорошая...

— Она погубила твою жену... Э-эх, человек! Когда-нибудь я убью ее. Я могу!

Филипп Павлович вздохнул.

Некоторое время сидели молча.

— Скоро ли ты отпустишь меня?— спросила она вдруг.

Филипп Павлович взглянул на нее с удивлением.

— Никогда!— ответил он сердито.— Будет тебе дурить!

— Я сама уйду.

— Не уйдешь! В цепи закую.

Мотя не стала спорить. Вынула мясо из печки и хлеб, принялась молча есть. Филипп Павлович следил за ней и думал: «Ого! Меня стращать! Медведь боится ли зайцев?! Да я везде тебя найду. Со дна моря достану. Войско приведу. Всю мордву перестреляю, а тебя не выпущу. Не надейся».

А сказал:

— Если ты уйдешь, я умру,— и поставил ей кувшин с брагой:

— пей!

Мотя посмотрела на него и рассмеялась.

— Чего же ты смеешься?— спросил он.

— А ты чего умирать хочешь?! Живи! Вам ли не жить?!

— Без тебя умру. Полюбил тебя.

— Кто же нас пороть будет? Кто на нас губернатору

жаловаться будет? Подумай об этом. Бедняга! Без этого вам не жизнь!

Сказала она это так задорно, что Рыхловский невольно задумался, почему она вернулась из своей прогулки такая веселая, а уезжала такая сердитая.

— Мотя! Ты — моя крепостная!.. Это верно: захочу — выпорю тебя, захочу — обласкаю. Как захочу, так и будет. — Девушка сидела и зевала, слушая речь хозяина. — Что же ты молчишь?..

— Спать хочу.

Рыхловский начинал сердиться:

— Когда же ты меня полюбишь?

— Когда отпустишь.

— Ты опять смеешься?

— Чего ради мне плакать? — сказала она. И задумчиво запела по-мордовски:

«Егорынькань дератьне — чить алашань салытьне, ведь утомонь грабитьне...»<sup>1</sup>

— Ты что же, как деревянная? Ты моя раба. Я твой господин. Поняла? — сказал он, наливая себе кружку браги.

— Чей лес, того и пень!.. — улыбнулась Мотя, тоже наливая брагу. Белая, нежная рука ее обнажилась из-под рукава.

Филипп Павлович, бледный, с перекошенным лицом, вскочил и снял со стены плеть. Мотя мгновенно бросилась к полке и схватила нож.

Молча остановились друг против друга. Глаза Рыхловского сузились, стали злыми, Мотя вспыхнула, изогнулась, закинув руку с ножом назад.

— Заколю! — зло засмеявшись, крикнула она.

В это время послышались шаги в соседней комнате. Рыхловский бросил плеть в угол, сел опять за кружку с брагой. Мотя положила нож снова на полку и тоже стала пить. Вошла Феоктиста. Она ревнивыми глазами оглядела Мотю.

— Явилась?

Мотя повернулась к ней спиной.

— Горе нам, Филипп Павлыч!.. — заскулила Феоктиста. — Кругом разбойники!.. Пришел тут нищий из Рабо-

---

<sup>1</sup> «Егоровы сыновья днем крадут лошадей, а по ночам грабят клетки».

ток... Опять, говорит, там пограбили Шубина... А в одном селе, недалеко от Оранок, мужики дерковь очистили. Уж третья дерковь!.. Господи, страшно стало тут нам жить... Господи, охрани нас! Надо бы послать опять гонца к губернатору... Мордва глядит зверем... Почуяла поживу. Когда же спокойно будет на Руси?!

— Ватракшт ватордыть пиземенень!<sup>1</sup> — с усмешкой сказала Мотя.

— Не мордовь тут при хозяине! — огрызнулась на нее Феоктиста. — И чего ты только на нее, Павлыч, смотришь?! Я бы с нее три шкуры спустила! — Домоправительница погрозила кулаком и, сердито хлопнув дверью, ушла.

Мотя встала, приблизилась к Рыхловскому и нежно погладила его по голове:

— Бедный ты!..

Филипп Павлович прижал руку девушки к своим губам.

— Пожалей!.. Пожалей меня!..

Мотя села рядом и обняла его.

— О чем ты думаешь, Мотя? — вкрадчиво спросил он.

— О мордве. О чем же мне думать?! Не о тебе же!

— Чего же о ней думать?! Думай о целомудрии нашей великой государыни, подающей нам пример святости!

— Ты просишь пожалеть тебя? А кто же мордву пожалует? Не ты ли?! А? Отпусти лучше меня!

Рыхловский освободился из рук Моти и задумался. Вьюга бушевала на воле.

## VIII

Иван Макеев деловито нахлестывал лошадь, пробираясь по занесенной снегом дороге к Рыхловскому. «Грешный человек я, — размышлял он. — Во гресех зачаты мы есмы, во гресех родились, во гресех, видимо, и умрем!»...

— Н-но! Тоска-кручина! Верти хвостом! Помилуй, господи!..

Филипп Павлович Рыхловский собирал сегодня у себя «тайный совет» по важным, всех касавшимся, новокре-

---

<sup>1</sup> Лягушки квакают к дождю!

щенским и разбойным делам. Много вина заготовил, много рыбы зажарил, барана и двух гусей. (Как видится, предстоит длительный разговор.)

Вспомнив о разбойниках и мордве, Макеев нахмурился. «Сколько веков православное духовенство и даже святители и князья боролись с разными инородцами,— думал он,—и сколько копий и мечей о них изломали, а они кем были, тем и остались, и нет такой силы ни человеческой и ни божеской, чтобы их сравнять и переродить по образу и подобию нашему...» А главное, не в этом суть: дворяне воют — мало, якобы, им пользы от неверных... Церковь-де на то и существует, чтобы дворянскую власть укреплять. Вот откуда все сие!

Грустно стало отцу Ивану от этого. Невольно вспомнился рассказ приезжавшего в Москву бывшего воеводы свияжского, а ныне начальника казанской новокрещенской конторы, Ярцева. С целью изъятия новокрещенцев из языческих и мухаметанских деревень правительство учредило специальную «переселенческую команду» и во главе ее поставило Ярцева. Однако, сколько он ни бился с татарами, сколько ни уговаривал их,—ничего не вышло: не хотят переселяться, да и только, что тут поделаешь?! И даже заявили резко, что-де «хотя бы было прислано солдат сто человек, не послушают и их, и все помрут, взять себя не дадут, а ежели он, советник Ярцев, сам с ними приедет,—то он у них костей своих не сыщет». У чувашей, по словам Ярцева, и вовсе его «ругательски бранили и хотели бить».

«Эх, милый! — пожалел Ярцева отец Иван. — Вскуе беснуешься, вскуе пот свой проливаешь? Едва ли не предвижу я гибель твою от руки просвещаемых тобою неблагодарных иноверцев. Пускай живут по-своему, а мы по-своему. Всем хватит места и вина. Господь бог обо всех позаботился».

Падал мокрый снег из темного, низко нависшего над полями неба. Кричали в сером воздухе стаи воронья.

«Чего уж тут пенять на мордву? Свои клирики и те не лучше. Тот же пономарь, так и смотрит, как бы на злобить! Позавчера пришли в церковь вечерню петь... Пономарь в колокол бух два раза! Стал ему внушать: надлежит-де звонить три, а он — в спор. Взял его за рукав и повел к уставу. Он вырвался и хват за железную клюку! Если бы во-время не увернуться — аминь бы!

На другой день, сукин сын, приходит, в ноги кланяется, прощения просит... А что, если бы да по голове да клюкою-то хлестнул, тогда бы у кого стал он просить прощения?! М-да!»

— Н-но, красавица! Лети-винти!—Ох, жизнь ты наша! Господи! Сколько греха-то кругом! (Оглянулся.) Все от тебя, матушка-императрица! (Закашлялся.)

. . . . .  
Со стороны Оранского монастыря и по направлению к Рыхловке бойко неслась запряженная в две лошади богатая кибитка, а в той кибитке сидел вместе со своим казначеем благочестивый игумен Феодорит, настоятель Оранской обители.

Всю дорогу глава оранских монахов мычал в ухо своему казначею, старцу Сергию, проповедь: «Об уклонении от бескорыстного служения отечеству, равно как и от повинностей общественных». Причиною тому—несколько неосторожных слов казначея, сказанных им при отъезде из обители в Рыхловку. Слова следующие: «Стоит ли, ваше благочиние, время убивать на посещение сего господина?».

Феодорит был глубоко потрясен этим. Потрясен настолько, что целый час читал в ухо проповедь старцу Сергию:

— Дело великое для государства — борьба с языческим мордвою и иными соседними иноплемениками. Дело важное. И коль скоро ты усумнился, напомню я тебе, как разгневался яростию господь на Моисея в то время, когда Моисей отказывался от служения в пользу соотечественников. Тем более, грех перед господом богом — уклоняться от общественной беседы, тайно направленной к ниспровержению врагов государства. Разбойники и иноплеменики угрожают всем нам, христианам. Монастырь наш не может существовать своею лишь охраною. Надо дорожить такими помещиками, как Филипп Павлыч. Первые христиане ни от каких общественных собраний и должностей не отказывались и так усердно выполняли их, что удивляли язычников. Ныне же своим упорством и трудолюбием стали превосходить нас язычники.

Казначей задыхался от скуки, слушая архимандрита. В голову ему закрадывалась коварная мысль: не фальшивит ли игумен и не надоеда ли и самому ему его тягучая

проповедь? Как бы там ни было, монастырь не в обиде и не раз приумножал земли свои за счет разоренных язычников. Кроме того, всем известно, что Рыхловский, главным образом, трепещет за собственную шкуру, равно как трепещут за нее и другие здешние помещики. Ходят слухи о бунтах в Башкирии, на Дону и на Украине. И даже есть слух о возможности бунта в Нижегородской губернии. Верный признак — появившиеся с низов разбойники. Почуяло воронье кровь. И чем Рыхловский может выручить монастырь?! Православные христиане, свои же русские мужики, недавно пытались его поджечь. На монастырь они тоже ведь глядят косо. «Хитрит и философствует воевода, хитрят деревенские власти, хитрят бояре, делают вид храбрый, а сами страхом все объаты...— думает казначей.— А я чем виноват?»

Архимандрит кончил свою проповедь, как только показалась Рыхловка и вблизи залаали цепные псы.

— Ну, готово, приехали!

. . . . .

По той же самой дороге, по которой только что приехал из Терюшей Макеев, неторопливо пробирался в Рыхловку и мельник Федор Догада. В розвальнях, с громадной кучей сена, одетый в медвежий тулуп, озабоченно озирался он по сторонам. Не хотелось ему, чтобы мордва знала, что он едет к Рыхловскому. Проехать двадцать с лишним верст, чтобы никто не встретился — представляло большую трудность. Временами из-под сена, будто из-под саней, раздавался грубый недовольный голос: «Скоро ли?». Федор Догада вздрагивал и отвечал смиренно: «Потерпи, друг, приедем!». Но «друг» становился все нетерпеливее; помаленьку начал матершинничать и проклинать кого-то по-мордовски, фыркал, чихал в сене.

Федор Догада, слушая ругань и проклятия своей беспокойной поклажи, продолжал сидеть в саях с бесстрастным видом праведника. На лице его было написано: «бог с ним, пускай проклинает, все одно ему не быть никогда в царстве небесном!». Федор Догада знал, какое важное дело он вершит в эту темную зимнюю ночь. Под сеном находится не кто иной, как терюханский жрец Сустат Пиюков, наиболее доверенное лицо здешней мордвы. Под влиянием уговоров Догады, наконец-то, решил он дать согласие на то, чтобы действовать заодно с рус-

ской властью духовной и светской, крепить помещичью власть. И теперь едва ли не самым желанным гостем у Рыхловского будет именно он, жрец Сустат Пиюков. Не мудрено, что человек этот важничает и ругается. Не он это ругается, а совесть его голос подает. Человек чувствует, на какую измену пошел. Сознает это Пиюков и, конечно, мучается, — Федор Догада понимает: когда-то и сам переживал такие же угрызения совести, отступая от своей родной веры и принимая православие. Не так-то легко, оказывается, изменить вере отцов и дедов, не так-то легко кривить душой перед своим народом, который, в конце концов, все же ближе ему, чем русские попы и пристава. Но... деньги! Но... сытая, веселая жизнь, благоволение начальства, и прочее, и прочее... А у Сустата — восемь душ детей, да хозяйка, да старуха мать... Сам одиннадцать! До веры ли тут!..

— Скоро ли? — не спросил, а прорычал он из-под сена.

— Огни! Рыхловка! Она самая и есть!

Сустат сразу притих. Федор Догада тоже съежился в своем медвежьем тулупе от непонятной дрожи.

. . . . .

В просторной, убранной звериными шкурами и коврами горнице, за длинным столом, освещенным тремя пяти-свечниками, собрались гости. Взгляды их невольно останавливались на «изобилии плодов земных», покрывавших стол.

В начале беседы Феодорит протяжно прочитал псалом. Гости (кроме Пиюкова) чинно помолились на громадный иконостас, набитый дорогими, в золоте и серебре, образами.

Макеев, почтительно следя за архимандритом, осторожно присел тоже к столу, но неожиданно бок-о-бок с собой узрел он, точно из-под земли появившегося, старца Варнаву. Макеев немало смущен был его сытым растолстевшим лицом и самодовольным видом. Жизнь «в пустыне» пошла ему на пользу. Старец Варнава крепко, по-братски, обнял и облобызал отца Ивана, обменявшись с ним смиренным приветствием по чину.

Беседу начал хозяин дома. Каждому из гостей собственноручно налил он в кубок хлебного горячего вина, только что принесенного из домовой винницы. Затем



провозгласил здравицу «светозарной» императрице Елизавете.

— Приближающееся время поста призывает нас к воздержанию, но радостное сознание того, что в сие время на троне российского государства восседает ангелу подобная владычица наша, истинно русская царица, ревностная защитница православия, дочь великого Петра — Елизавета Первая, — разрешает нам разомкнуть уста наши для принятия вина и пищи и для душевспасительного собеседования по делам христианского сближения с нашими братьями по плоти, не чуждающимися нас по вере, соседями нашими, как-то: мордвою, чувашами и черемисами.

Феодорит, грузный, веселый, косматый, одетый в шелковую рясу, важный иеромонах, поднялся после Рыхловского и широко благословил стол.

— Благодать святого духа над вами... Да будет трапеза оная свята и благорассудна и богу угодна. Аминь.

Кубки были дружно, в степенном молчании, осушены до дна.

Филипп Павлович не заставил ждать, наполнил кубки крепкой «приказной» водкой, приготовленной из красного вина и настоенной корицей.

— Бурлаки говорят, — сказал он при этом, — что на Волге вино по три деньги ведро: хоть пей, хоть лей, хоть окачивайся! Не пожалеем же и мы вина и провозгласим здравие его преосвященства, равноапостольного пастыря и доброго начальника Нижегородской епархии епископа Димитрия Сеченова... Воздадим светлому лику нашего наставника достойную честь и уважение...

В голову ударило отцу Ивану: государынин кубок, да епископский за ним — сразу дали себя знать; он конфузливо покосился на старца Варнаву — тот в полном самозабвении следил за рукою Рыхловского, которая снова приблизилась к кувшину.

— Теперь попотчую вас, друзья, заморским вином, именуемым ратафия.. Сие вино басурманами на-двое растворено: на веселие и похмелие, и я думаю по-своему, что надо нам выпить и одного редкостного вина! Пейте за наших соседей — терюханскую мордву!

Ратафию Иван схватил с такою поспешностью, что поперхнулся. Соседи бросились к нему на помощь. Варнава, прожевывая пареную репу, равнодушно стал коло-

тить его по спине. Ну, и ратафия! У всех сразу потекли слезы, а отец Феодорит тяжело вышел в сени. Вернувшись, сказал: «У тебя, Филипп Павлыч, дверь-то наружная отстает»...

Так началось!

Затем все принялись с новою силою жевать гусятину, баранину, да рыбу, да моченую бруснику, да соленые грибы и многое другое. Филипп Павлович, который поровил напоить других, сам сидел с одним бокалом. Он повел речь о том, что пора бы мордве и русским, крестьянам и вотчинникам зажить дружно, как братьям. Напомнил многие слова из евангелия и ветхого завета о любви, о дружбе, о мире всего мира. Все-де люди — братья!

— До сего времени, гостюшки мои, у мордвы и чувашей общение с монастырями и приходом было либо принудительное, либо добровольное. Пастырями замечено, однако, продолжительное уклонение мордвы, чувашей и других иноверных от христианских обязанностей. Чуждаются исповеди и святого причастия, хождения в церковь и иного... Но более всего вред приносит язычество. Об этом и должны мы сегодня подумать. Как нам правду и веру в некрещеном народе и в новокрещенцах, носящих крест,—внедрить? Угроза великая от сих людей, которые Чам-Паса и Тору ставят превыше истинного бога Иисуса Христа, единственного заступника нашего и спасителя...

Отец Иван, сильно захмелевший, ударил со злом кулаком по столу, пробасив фальшиво:

— И воскресшего в третий день по писанию!..

Старец Варнава дернул его за рясу, шепнул:

— Застынь! Не к делу!

Феодорит исподлобья следил за отцом Иваном и, улучив минуту, молча, погрозил ему кулаком. Отец Иван, к великому ужасу присутствовавших, тоже погрозил ему кулаком.

— Владычествую, в кротости суди!—огрызнулся он, ехидно подмигнув.

— Зубы вышибу! — прошипел Варнава.

— Молчи!.. Прелюбодей!.. Помни: цари римские допustiше невозбранно мужу, аще застанет жену свою прелюбодействующу, убити обое: и прелюбодея и прелюбодейцу... Берегись, Варнашка!.. Стерегут тебя! Не пользуйся слабостью бабьей похоти.

Пьян был отец Иван, а прошипел это старцу Варнаве тихо, на ухо, так что никто слов его не слышал.

— Настал час! — загремел Феодорит. — Немцы при дворе сокрушены!.. Восхотели они проглотить русского человека, а подавились. Напомню слова его высокопреосвященства, архиепископа новгородского Амвросия: «был ли кто из русских искусный, например, инженер, художник, архитектор, или солдат старый, а наипаче, если он был ученик Петра Великого, — они, немцы, тысячу способов придумывали, как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвести, и таким образом или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно неизбежно и самому умереть от голода за то одно, что он инженер, что архитектор, что ученик Петра Великого... Всех людей добрых, простосердечных, государству добродетельных и отечеству весьма нужных и потребных, под разными протекстами губили, разоряли и вовсе искореняли. Равных же себе — немцев — весьма любили, в ранги великие производили, вотчинами крепостными и многими тысячами денег жаловали и награждали»... Так сказал архипастырь Амвросий. Ныне сего не будет. Православная царица прекратила власть иноземцев. Прижал в Нижнем Новгороде и его сиятельство князь Друцкой немецкую знать, заточив в Ивановскую башню заводчика и купца Штейна и отобрав его заводы; и других немцев он взял и держит в тюрьме на Полях. Татары, чуваши, черемисы и мордва, поелику к ним обратилась церковь и власть, будем надеяться, откроют сердца свои для христианского вероучения, не доведут епархию до раздоров и не воспоследуют коварству немца Штейна и упрямству еврея Гринберга. А посему я и задаю вопрос находящемуся среди нас мордовскому жрецу Сустату Пиюкову: может ли власть и церковь надеяться на благоприятный исход и не придется ли власти предержащей поступать с язычниками руками?

Сустат Пиюков, тяжело дыша, расстегнул ворот у рубахи и громко, грубо сказал:

— Не надейтесь!

После надменного словотечения Феодорита голос Сустата прозвучал так, будто бы откуда-то сверху свалилось бревно.

Отец Иван и тот посмотрел на него со страхом и удивлением, хотя и был в «знатном хмелю». Хотел крикнуть: «в кандалы!», да отрыжка помешала.

Пиюкова стал выручать Федор Догада.

— Трудность великая,— сказал он,— привести язычника к православию проистекает из того, что проповедники во многих деревнях великие неправды учиняют, на цепь в церковные подвалы сажают, и бьют их там, и пытаются своевольно...

Отец Иван вспомнил о кандалах, подаренных ему Филиппом Рыхловским, и крикнул:

— Каков грех, такова и расправа! Без одного нельзя!

Федор Догада уставился на него, продолжая:

— На отца Ивана жаловаться нет надобности, он не бьет и не насилует, а есть другие, которые...

Феодорит стал громко кашлять, словно пытаясь заглушить Догаду. На его казначея напал еще более сильный кашель, а Филипп Рыхловский, как бы невзначай, задел кувшин с пивом, который с грохотом полетел на пол... Варнава забубнил себе что-то под нос, а потом засуетился на полу, подбирая черепки... В этом шуме дальнейших слов Догады никто не расслышал.

Филипп Павлович вскочил и незаметно ускользнул в комнату к Моте, запел, обнимая ее:

Ах, когда б я прежде знал,  
Что любовь родит беды!  
Ах, зачем вы обманули,  
Полуночные звезды...

Мотя слушала, и в глазах ее сияла насмешка. Филипп целовал ее руки и ползал перед ней на коленях. На лице Моти было такое выражение, будто ей нравится, как ее барин унижается перед ней, холопкой. Ей, действительно, было приятно, что она в эту минуту сильнее его, что она заставила слезы лить своего хозяина. И другие дворовые девушки — подружки ее — рассказывали, что им приятно мучить Филиппа. Пускай завтра, послезавтра, он снова наказывает их розгами, но когда он унижается,— это облегчает боль розог и обиды, и хочется в этот момент, чтобы он от любви совсем «сдох». Туда ему и дорога! Мотя, глядя в эту ночь на его слезы, готова была растоптать его, оплевать и выбросить вон, за дверь, на снег—«пускай замерзнет, поганая харя».

Слюнявя ей руки, Филипп шопотом упрашивал:

— Пойди, спляши!..

В дверь постучали. В комнату вошел Феодорит. Глаза

его сердитые, брови нахмурены, сам весь взлохмаченный.

— Отринь рабыню!—громко сказал он.—Вернись к столу мудрости и спасения... Телеса да не соблазнят тебя!

Рыхловский побежал, сгорбившись, за Феодоритом; в темном коридоре архимандрит сцапал в свои цепкие объятия Филиппа и сказал торжествующе: «Подался! Иди, помогай!».

Когда вошли в горницу, Варнава продолжал елеин уговаривать Сустата. Филипп счел нужным присоединиться к разговору:

— Что лучше: на чужом горбу сидеть и «ти-ли-ли-ли» петь, либо всегда под плеткою ходить? Возьми вон Федора Догаду. Плохо ли он живет? Богат. Пользуется уважением у властей, а у крещеной мордвы почитается едва ли не святым.

— Истинно!..—скромно опустил глаза Догада.

— А ты что скажешь, Сустат Пиюков?

— Скажу, что живу небогато, народ любит и если узнает... Не выдавайте меня, не губите. Душу вам продаю.

— Да молчит всякая плоть человека и уста наши сию тайну сохраняют до последнего часа, — провозгласил Феодорит, перекрестившись. Перекрестились и все остальные, кроме Сустата.

После этого Варнава ушел с Сустатом в соседнюю горницу за листочками о разбойнике Давиде, а Филипп опять побежал к Моте. Сердце его горело; мучила жажда ближе быть к Моте, чем раньше. Она стала скрытна, задумчива. Не убежала бы?! От этой мысли сделалось страшно. В опочивальне Филипп застал Мотю перед зеркалом. Да, она стала совсем не та, что была, когда он взял ее к себе в дворовые девушки. Того смирения уже нет. Особенно последние дни.

Не успел он снова стать перед ней на колени и сказать несколько нежных слов, как в дверь постучали. Опять Феодорит! С негодующим видом он отозвал Филиппа от Моти и увел в коридор: сообщил на ухо, что ему удалось выпытать у Сустата Пиюкова о готовящемся в скором времени в Терюшах бунте. Сустат назвал имя Несмеянки и нескольких русских мужиков, указал место, где хоронятся разбойники... Их много!

Феодорит захлебывался от радости и потирал руки:

— Теперь, друг мой, епископ наградит нас... Воспоследует его высочайшая благодарность... Пиюкову готовь сто рублей, Оранский монастырь оную сумму тебе возвратит... Человека надлежит одарить. Нужный. Епископ разрешил.

Филипп беспрекословно выдал Феодориту деньги, а сам побежал к Моте. У Феодорита раздувались ноздри. Он тихо последовал за Рыхловским и стал обшаривать дверь — нет ли какой щели, чтобы посмотреть. Не нашел и с грустью вернулся обратно к гостям, кусая губы.

Мотя сказала Филиппу:

— Нехороший ты человек...

— Чем же я плох для тебя?..

— Чего ради ты назвал их к себе?.. она указала пальцем в сторону монахов.

— Хочу жениться на тебе... по-христиански. Советуюсь.

— Не обмануть вам меня! Знаю все. А чего ради Сустат Пиюков?

— Не надо мне никого... Хочешь разгонию всех?

— Зря я тебя не отравила! — с ненавистью выкрикнула Мотя. — Скажи мне спасибо! Но все равно, ты умрешь.

Филипп вытаращил на нее полубезумные глаза и вдруг, уткнувшись ей в ноги, зарыдал: «Мо-тю-шка!».

За дверью раздались голоса, звавшие Рыхловского. Он вскочил, прислушался. Забарабанили в дверь. Вытер слезы.

— Девок! Девок! — иступленно вопил Феодорит.

Филипп Павлович притворился веселым. Открыл дверь. Ворвались Феодорит и Варнава.

— Веди девок... Нехай спляшут!.. — и кивнули в сторону Моти. — Веди и ее. Мать пресвятая! Гуляем сегодня!

Рыхловский сбегал к Феоктисте, а через несколько минут десять дворовых девушек, прячась одна за другую и стыдливо закрывая лицо, вышли к гостям.

— Мотя! — крикнул Рыхловский. — Ну!

К его великому удивлению, Мотя с большой охотой, веселая, вышла на его зов. Быстрым взглядом оглядела всех.

— Начинайте! — торжествующе, любуясь на своих дворовых девушек, кивнул головой Рыхловский.

Они запели робко, стараясь не смотреть на гостей,

потому что песня была площадная, сквернословная. Песню эту Рыхловский перенял у соседнего помещика и обучил ей своих девушек.

Глаза у Феодорита, у казначея Сергия, у Варнавы разгорелись. Монахи похотливо рассматривали голые плечи и руки девушек, одетых в одинаковые сарафаны и при том без рубашек.

Когда кончилась эта песня, Рыхловский крикнул, чтобы пели плясовую.

Мотя вышла вперед. Как только девушки запели, она пустилась в пляс. За ее движениями трудно было уследить, так они были быстры и легки. Сам Филипп Павлович, красный, возбужденный, вскочил на скамью и давай прихлопывать в ладоши. Монахи тоже прихлопывали в ладоши. Мотя, казалось, обезумела... Она бедово играла глазами, проходя мимо Феодорита, как бы невзначай наклонялась к нему, то заламывала в истоме руки за шею, то наклонялась, как бы подметая снег, то простирала в бурном порыве вперед руки, как бы желая обнять кого-то.

Наконец, монахи не выдержали и тоже вскочили со своих мест и начали кружиться. Поднялся шум, смех, визг девушек.

Вдруг дверь распахнулась, и на пороге, в большой косматой шапке, какие носят в татарских горах за Доном, появился незнакомый человек. В руке громадный пистолет. И, несмотря на то, что шея его была высоко окутана шарфом, так что лицо было почти закрыто,—Филипп Павлович усмотрел знакомые черты, а когда зазвучал мягкий, насмешливый голос незнакомца, то у Рыхловского ноги подкосились и язык отнялся от страха. «Цыган Сыч? Да, да, да! Он!»

Наведя пистолет на собравшихся, Сыч с улыбкой сказал:

— Хлеб да соль! К самому веселью подоспел!—а затем обратился к Рыхловскому:—Вот, Филипп Павлыч, заставил ты меня, однако, пожаловать к тебе в гости! Много же лет мы не видались с тобой, а поговорить не о чем. И что такое—объясни?!

Сустат Пиюков незаметно спрятался под стол. Федор Догада повернулся спиной к Сычу. Иван с испуга стал икать и креститься.

— Не думаешь ли ты, будто мы забыли тебя? Нет, не забыли. — Сыч надвигался на Филиппа. — Нет, не забыли.

Рыхловский затрепетал, попытался к двери, но только что он хотел шмыгнуть в нее, как прогремел выстрел, и он со стоном повалился на пол. Поднялась суматоха, визг, крики. Девушки одна за другой бросились вон из горницы. Старец Варнава пополз к двери, тоже намереваясь исчезнуть, но его настиг Сыч.

— Стой! — крикнул он. — Это твои писульки о святом разбойнике Давиде?! Атаман! Покинул своих! А вы его в святые за это! Так вот же тебе за твоего святого Давида!

Другим выстрелом Сыч прикончил и Варнаву.

Остальные все разбежались. Одна Мотя подошла к цыгану и взволнованно сказала:

— Подожди, я оденусь.

— Скорее. Коня ждут.

Испуганно прижалась она к цыгану и, указав на корчившегося от раны Рыхловского, попросила Сыча оттащить его в сторону от прохода. После этого она скрылась в двери. Цыган сел за стол и допил из кувшина вино, насмешливо оглядываясь кругом: «Ишь, как зажил кунавинский кузнец!».

Через несколько минут Сыч и дожидавшийся его в саду Турустан, а затем Мотя, сели на коней и помчались вон из Рыхловки.

## IX

Два заброшенных просторных дома в лесной глуши заняли ватажники. Привели их в порядок, утеплили, поставили стражу. И назвали «Оброчная слобода». Сыч стал повластно управлять ею. Зажили тихо, домовно. Свадьбу тайно сыграли — женили Турустана на дому у родителей Моти. В число гостей попали и Сыч с Рувимом. Невеста появилась позже. По мордовскому обычаю, ее внесли на руках в дом. Закон требовал, чтобы жених без оглядки убежал в это время в церковь, где и происходило венчание новокрещенцев; из церкви жених опять-таки должен был, сломя голову, бежать домой и прятаться в клеть. Все это с большим усердием и проделал Турустан, очень насмешив Сыча и Рувима. Бегал он, как чумной, красный, весь в поту. На пиру и поп Макеев погулял на славу, и Федор Догада, и Несмеянка. Было весело. На



окраине села, по снегу, в дозоре бродили остальные ватажники, охраняя гуляющих на свадьбе людей. Поп Иван не узнал цыгана Сыча. Напившись, стал ругать епископа, а затем вспомнил о Рыхловском:

— Слава тебе, господи, что нашелся добрый человек, отправивший его к дьяволам в ад...— широко перекрестился отец Иван.— Еще бы надо тут двоих, бог с ними!.. И Варнаву так и надо!.. Легче дышать на Руси стало. Бог с ними!

На Несмеянку он грозился пальцем и говорил:

— Думаешь, не знаю?! Все знаю. Под рождество, кто отнял у меня в лесу мордовские подарки? Ты.

Цыган Сыч рассмеялся:

— Вот и ошибся, батя! Не он, а я...

Поп долго всматривался в цыгана.

— Нет. Не ты!— сказал он.— Да ладно, я не обижаюсь. Насмехайся!

— Не слышал ли ты чего о разбойниках?— спросил Несмеянка.

— Вот им скоро покажут!— угрожающе метнул бороденкой отец Иван.— Я слышал, губернатор облаву готовит... Перепугались помещики после убийства Филиппа, а епископ, говорят, так рассвирепел, что сам хочет сюда с солдатами ехать... Ой, что будет! Батюшки! Старца Варнаву, считает он, убила мордва... Ой, дела будут!

Так и не понял Макеев, что гуляет на разбойничьей свадьбе.

Ночью Турустан увел свою молодую жену на заставу. В деревне было опасно оставлять Мотю, а тем более оставаться самому. Ватага в торжественной тишине, ночью, на конях, провожала на хутор Мотю, ехавшую верхом, рядом с Турустаном и Сычом.

— Аде ервэне одо кишнь панима, пси ламинь пидимо!<sup>1</sup>—сказал Несмеянка, тоже сопровождавший молодых в Керлей.

Мотя стала хозяйкой в Оброчной слободе. Она готовила вкусную похлебку из грибов и корней, которыми снабжали ватажников мордовские деревни, чинила их одежду, а по вечерам пела им старинные мордовские песни.

---

<sup>1</sup> Иди, невеста, большой хлеб печи, горячи щи варити! (мокш.)

Несмеянка стал часто бывать в Оброчной; целые дни иногда проводил у ватажников. Заботился о них. После свадьбы Турустана он привел как-то раз в Керлей своего друга, деда Ивана Рогожу, который по просьбе молодых спел им под струны кайги песню.

Тедє веде  
Садонь мазысь эзь кирьдевь;  
Тедє веде  
Садонь мазынек ливтязь тусь.  
Кува ливтясь — пух полдась,  
Кува ливтясь — толгат тувць.  
Сонзэ мельга минь сынек,  
Сонзэ следга панинек<sup>1</sup>.

Старик играл, и слезы текли у него по щекам, хотя он и улыбался. Несмеянка понимал Ивана Рогожу, и от этого лицо его было сурово. (Обоих сыновей убили у старика на войне, а жена умерла с горя о них.) Рувим задумался об отце, о сестре, слушая унывные звуки кайги. Несмеянке жаль стало Турустана. Как хрупко, как ничтожно счастье его!

Но сам Турустан был счастлив. И в то время, когда Сыч и другие ватажники провожали Несмеянку обратно в Сарлей,— он бойко запел в ответ на песни Ивана Рогожи:

Вай пасиба, пасиба!  
Пасиба пазнэнь паронэнь:  
Сия човоргадь пиже юткс,  
Пиже човоргадь сия юткс,  
Дуганок човоргадь минек юткс,  
Монь човоргадаынь од родняс,  
Апак содак ломань юткс<sup>2</sup>.

Все сначала насмешливо переглянулись между собою, а потом рассмеялись.

— Без вина хмельной!— покачал головой Несмеянка.

— Что ему!— причмокнул Сыч, кивнув в сторону Моти.

---

<sup>1</sup> «В эту ночь из сада наша пава улетела, в эту ночь краса нашего сада улетела. Где она летела — пух пускала, где она летела — перья ронила. За нею мы пришли сюда, по ее следам пригнали мы».

<sup>2</sup> «О спасибо! Спасибо богу доброму: серебро смешалось с медью, медь смешалась с серебром, сестрица смешалась с нами, я смешалась с новой родней, с незнакомыми людьми».

Турустан будто не слышит, но когда после этого его слух коснулся разговор между Несмеянкой, Сычом и Рувимом, который они вели в сених, то беспечность с него мигом слетела.

— Управляющий царевича Бакара князь Баратаев вчера призвал Федора Догаду и Тамодей к себе и прочитал письмо епископа. В том письме приказ о разорении татарских мечетей и о понуждении мордвы и прочих иноверцев к обязательному крещению... Епископ требует, чтобы светская команда помогала монахам обращаться в православие язычников. Говорят посадские, что из Москвы солдат высылают, чтобы мордву бить. Поп Иван не зря болтал на свадьбе у Турустана: что-то готовится. Быть грозе!

— Какой же ответ дали Догада и Тамодей князю? — спросил Рувим Несмеянку.

— Тамодей сказал, что мечетей у нас нет и приказ тот к нам не подходит, а креститься в православие заставить насильно мордву нельзя. И дабы убытка не было царевичу от сего несогласия с духовною властью, надлежит просить его не допускать духовных отцов к устройению смуты среди мордвы и иных народов, живущих на Волге, на Суре и на Кудьме.

— Ответил ли князь?

— Просил успокоить мордву и обещал вновь послать письмо царевичу в Петербург о нас.

Турустан прислушался к этому разговору, и стало ему вдруг страшно. Выйдя из горницы в сени, он сказал товарищам:

— Надо бы поднести подарки царевичу от мордовского народа... Надо бы его уважить нам... Пускай знает — мордва хочет мира.

Несмеянка взглянул на Турустана внимательно.

— Нуждается ли он в наших подарках? И не торопись, Турустан, искать милости у них! Не бойся богатых гроз, бойся бедных слез.

Разговор этот почему-то обеспокоил Турустана. И не столько его печалили своими словами Несмеянка, сколько дьяган Сыч. С первых же дней прихода Моти в Оброчную он много раз выказывал свое сочувствие Турустану, подмигивал, прищипкивал и вообще радовался его счастью. Не мог не обеспокоиться этим молодой мордвин. Во время скитаний с Сычом по разным местам был он не

однажды свидетелем того, до чего доводят сычевы ласки всякую женщину, которой он оказывает внимание. Не дай бог! Было у цыгана немало столкновений в деревнях. По его милости приходилось и Турустану не раз обращаться в бегство, спасаясь от ярости обиженных мужей. Правда, избежав опасности, Сыч обыкновенно с презрением осуждал обманутых им мужей. «Лучше, — говорил он, — погибнуть от чумы, чем от паршивой собаки!»

Турустан никогда не был на его стороне в таких случаях. Теперь он не на шутку задумался: не попасть бы и ему в «паршивые собаки»!

Что будет дальше? Конечно, хорошо, что Мотя стала его женой. Но будет ли он счастлив с нею среди разбойников? И не погубит ли он Мотю, бродяжничая с ней по лесам и пустыням? Вся беда в том, что нельзя ее поселить у отца в дому. Об этом он уже советовался с цыганом. Сыч сказал: «Из дома ее опять уведут, и уже не к помещику, а прямо в тюрьму, ибо она не что иное, как жена вора и разбойника, о чем и в государственных приказах есть: «родню разбойника, как и самого его, хватать где ни на есть и бросать в тюрьму, пытая, а затем казнь смертию».

Как поступить? Поневоле придется таскать и ее с собой. Да и то неизвестно: согласится ли атаман Заря? Турустану приходилось не раз слышать, как атаман неодобрительно отзывался о женщинах.

Обращался Турустан за советом к Рувиму, которого полюбил, как брата, но и тот не утешил его ничем. Сам он раньше мечтал увести Рахиль из Нижнего и поселить здесь же, в Оброчной, но теперь видит, что трудно женщине и опасно находиться среди беглых.

Попытался было Турустан поплакаться на судьбу перед Мотей, — она ответила: «Не боюсь я ничего!».

Не понравилось все это Турустану. Раньше Мотя не такая была. Маленькая, слабая, совсем девочка. Откуда же эта дерзость и бесстрашие? Мордовская женщина должна быть тихой, покорной, должна молиться и плакать, да мужа слушать. Он не сдержался и сказал ей об этом. Тут она еще более его удивила.

— Я жила у врага и перестала быть доброй.

— Но я не враг тебе...

— Не надо говорить об этом... — Мотя отвернулась от Турустана. — Ты — слабый!

Цыган Сыч, слушая это, утешал раскисшего окончательно Турустана. Он даже спел песню:

Будь же сердце твое, парень, молодецкое  
Крепче твердого булата, крепче камня.  
Унывать ли тебе о том, молодцу,  
Что найдешь ты, молодец, смерть в бою?..

И улыбался весело, обнажая свои белые зубы.

Получалось: пожилой человек Сыч, с сединой в голове, а куда веселее, бодрее и будто бы моложе Турустана.

Многим песням научился Сыч на низах, и пел их каким-то тоненьким, дьявольски лукавым голосом. Мотя с удовольствием его слушала. Самое ужасное то, что ей нравились его песни.

Турустан в это время был сам не свой.

День ото дня она все более свыкалась с ватажниками, исправно работая на них, всегда веселая и приветливая. И к тому же очень разговорчивая. Все Мотю полюбили. И каждый по-своему, кто и как мог, старался выказать ей свое внимание: кто на прорубь сходит, на коромысле водицы ей принесет, кто из лесу тетерьку или рябчика; цыган Сыч и она на конях съездили в соседнюю деревню за овощами. Ему завидовали. Турустан смотрел на всех исподлобья. Насторожился.

Беззаботно зажили ватажники в Оброчном в ожидании песни, — один Турустан становился все беспокойнее... Мотя как будто не замечала этого. Сыч исподтишка наблюдал за ним.

— Э-эх, ты! — сказал он ему однажды. — Для того ли ты сошелся со мной, чтобы добиться невесты и, взяв ее в жены, забыть всех? И можно ли выше своего народа ставить бабенку?! Ты думаешь — легко тебе будет расстаться с вольной бродячей жизнью?! Э-эх, тихоня! Запомни: кто, увидав в стороне ягоду, свертывает с главной дороги, тот увязает в болоте. Бог с ними, и с ягодами, если идешь на брань, когда опасность кругом. Глупый разбойник тот, который две жизни прожить думает.

Долго рассуждал цыган Сыч, стараясь вселить в душу Турустана доверие к молодой жене:

— Либо всем гибнуть вместе, не добившись, чего хотим, либо побьем врагов и сообщая будем пировать и радоваться, а баба — так бабой и останется. Никто ее у тебя не отнимет. Никому она не нужна. Много и без нее.

Говорил он это нарочно при Моте. К своему великому

удивлению, Турустан заметил, что Моте слова Сыча нравятся, на щеках у нее играл румянец. Почему же она не обижается?!

Турустан, озабоченный, расстроенный, убежал после этого разговора в лес, будто бы на охоту, а сам лазил по снегу и все думал, думал: куда ему деваться с Мотей? Как ему устроить свою жизнь, чтобы они были только вдвоем и никто бы им не мешал любить друг друга и никто бы его не учил, как жить.

Со своими тревогами и мыслями он ходил, как в тумане, не замечая, что товарищи его озабочены другим. Они бродили по селам и деревням, притворяясь странниками, убогими, и выведывали везде—не слышно ли что о губернаторе, о епископе, готовится ли в Нижнем поход на мордву или на разбойников? Узнавали вообще все новости по окрестностям.

Сустат Пиюков на молянах ругал Несмеянку, Турустана и Мотю. Называл их изменниками. Ему верили. Стали бояться Несмеянки, избегать его. Он говорил, что только языческая мордва имеет такого великого бога, как Чам-Пас, который только один и заботится о мордве. Всех других людей он учил презирать. Называл собаками даже соседних чувашей и черемисов, ибо они—нечестивые. Они верят богам своим, чуваша—богу Тора, а черемисы—богу Юма и не признают Чам-Паса. Может ли быть дружба когда-нибудь у праведной мордвы с нечестивыми иноплеменниками? Все несчастия мордвы происходят от того, что Тора и Юма мешают Чам-Пасу, подобно Шайтану, разрушают многие добрые дела Чам-Паса. И страдает от этого мордва.

Несмеянка пытался заступиться за чувашей, мордву и русских, но язычники его не слушали, убегали от него.

Такова была сила Сустата Пиюкова.

Обо всем этом было много разговоров у ватажников, все видели, что эта проповедь жрецов к добру не приведет. Только одного Турустана не трогало поведение Пиюкова, и вообще он ни о чем не думал, кроме, как о Моте.

## Х

Дворцовый дежурный генерал граф Александр Шувалов отдал распоряжение: «Карательным солдатам и часовым приказать,—ежели кто из них во дворце ее император-

ского величества, или где инде, могут усмотреть пропа-лого из комнаты ее императорского величества кота серого большого, передние лапы белые,—оного, изловя, объявить в дежурной генерал-адъютанта».

Давно не было такого переполоха во дворце. Тайная канцелярия и полиция, и разные близкие к трону люди—все были поставлены на ноги. Царица в последнее время и без того стала подозрительной, а теперь и вовсе потеряла покой.

По ночам ей снились разбойники—страшные, лохматые, грязные, «похожие на мужиков», они оскаливали зубы, глядя на царицу, и дико хохотали... Они протягивали к ней волосатые руки с медвежьими когтями, как бы желая схватить ее. Царица вскакивала с постели, звала к себе на помощь мамку Василису или Разумовского. Василиса, вместо успокоения, только еще больше пугала ее:

— И день ото дня их делается больше и больше. И диву я даюсь—чего смотрит на них твой защитник Андрей Иванович Ушаков?

— Ах, Василиса, у него так много дела в тайной канцелярии...

— Срам, матушка! Срам! В шести верстах от Петербурга воры убили французского курьера.. Грабят днем и ночью—и пешего и конного. Осадили ведь и Петербург... Ни прохода, ни проезда! А полиция заодно с ворами.

— Не пугай, Василиса! Я велела окружить Петербург заставами... везде теперь у нас—рогатки, дозоры, караулы...

— В Москве тоже, матушка, разбойники кишмя кишат... Пришел один странник, рассказывал.

— Москва, Василиса, далеко от нас... Не бойся!

И, вместо того чтобы получить утешение, царица принималась успокаивать Василису.

Разумовский вносил бодрость и оживление в опочивальню царицы. Он всегда являлся с золотым кувшином, наполненным французским вином, и с блюдом, на котором были устрицы и любимая им кислая капуста в глиняном горшочке. Рассказы о разбойниках он встречал с веселой усмешкой. Не считал он достойным своего графского титула разговаривать о них. Он уверял царицу, что целые шайки он мог бы разогнать своей саблей и пистолетом. Разбойник—тля! ничтожество! Разбойники испугаются одного его взгляда—вот он какой! Разговаривая с царицей,

он наливал в кубки вино и, чокнувшись, выпивал его залпом немедленно.

Слухи о разбойниках, пропажа кота явились причиною целого ряда строгих личных распоряжений Елизаветы:

1.

«...Стоящим в верхних и нижних садах часовым накрепко приказать, дабы в тех садах никаких из подлости людей<sup>1</sup> отнюдь не пропускать, и о том по всем постам всегда наблюдать и смотреть. Через мосты в нижнем саду челобитчиков и других подлых людей не пускать. Нищих к дворцу близко не пропускать и выбивать их вон из сада».

2.

«...Чтобы внутрь двора из господских служителей и других подлых людей в серых кафтанах и лаптях не ходили; часовые чтоб за тем весьма смотрели, и ежели кто в таковых серых кафтанах и в лаптях люди являются, оных брать под караул».

3.

«Во время приезда ко двору цесарского и английского полномочных послов пропускать из их лакеев в переднюю по одному человеку, а более того, и прочих посланников, и других знатных персон людей в переднюю не допускать...»

4.

«Под заложу, в проходных сенях, поставить двух часовых, которым приказать, чтоб в тех сенях нечистоты отнюдь не было, также ходящим теми сенями людям мочиться и лить помой отнюдь не допускать, тако же, чтобы шуму и крику от проходящих людей не было. Мною лично усмотрено, что унтер-офицеры на часах сходят неосторожно и, оставляя ружье, отходят от своих постов, чего для указать им, чтобы будучи на часах, стояли осторожно под опасением тягчайшего перед военным судом ответа».

---

<sup>1</sup> Людей простого звания.



Посыпались разные наряды на гвардию; жители Петербурга были встревожены необычайным усилением караулов вокруг дворца, а также и великой суетой среди полицейских чинов.

. . . . .

Были морозные ночи. С моря на столицу накатывался ледяной вихрь. Вокруг дворца караулы с трудом разжигали костры, то и дело потухавшие от ветра. Солдаты ругались. В одну такую ночь из черной тьмы вынырнул и подошел к дворцовым караульщикам человек в лаптях и с котомкой за плечами. Он спросил: как ему пройти к царю во дворец («нужно видеть одного человека»). Гвардейцы расправили мускулы. Давно уже не попадалось им в руки такого простачка...

— Ты откуда?! Или неведомо тебе, что к оному месту подходить строго-настрого запрещено?!

— Не здешний я.. С Нижнего города, с Волги.

Подошел офицер, осмотрел незнакомца внимательно и ударил его кулаком по лицу.

— Пес!

И уставился пытливо в опущенное иноем бородатое лицо лапотника.

— Сам ли я по себе, ваше боярское степенство?! Подумайте! Послан бысть хозяином, не кем иным.

— Разинь пасть! Дыхни! Питуха злосчастный!

Лапотник густодохнул в нос офицеру.

— Тверезый!—удивился тот.—К кому?

— К молодому барину.

— Кто он?

— Служивый, что ль, какой при царю—не ведаю. Батюшка ихний просили передать ему... Вот! Петр Филиппыч он... Рыжковский... Знаешь ли?

— Не мое то дело! В караулю!—крикнул офицер, вырвав у него письмо. Лапотника окружили солдаты и с ружьями наперевес зашагали рядом с ним.

Окна дворца были плотно занавешены. Караульного офицера в саду на каждом шагу окрикивали часовые, спрашивая пароль. Офицер отрывисто отчеканивал: «ветряная мельница». Лапотнику сделалось страшно. Тоненько заскулил: «Куды, братцы, ведете?». Солдаты молчали. Поблизости прогрехотал пушечный выстрел. Двенадцать часов.

Вплотную выросла мрачная, темная громада дворца.

— Стой и жди!.. Караульные, глядеть!

Офицер скрылся.

— Братцы!.. родненькие! — взвыл нижегородский ходо-  
док. — Отпустите меня!.. боюсь я!.. Ух, страшно! Куды  
привели!

Будто камни, молчат караульные.

— Многие леса прошел!.. Степан, Парамонов сын я!  
Многие дебри и трущобы, братчики! Нигде так не страш-  
но, как здесь!.. И что со мною содеялось — в толк взять  
не могу. Зверие и разный лихой народ не пугали меня, а  
тута — дух угасает, разум утеривается!.. Ой, ой, ой! брат-  
чики!..

Из дворца доносилось унылое церковное пение. Но  
что за мрак! Ни луны, ни звезд, ни одного огонька, кро-  
ме желтого беспокойного пламени костра, мелькавшего  
сквозь деревья вдали на площади.

— У-у-у!.. бра-а-атчики!.. — цеплялся в испуге за сол-  
дат арестованный.

Послышались многие шаги и говор людей. Один за  
другим по аллее поплыли факелы. Караульный офицер,  
которого лапотник узнал по голосу, говорил спутникам:

— Схватили на площади!.. Крался ко дворцу!.. Вот он.  
Лапотника осветили факелами.

Из-под бобровой шапки на него глянуло круглое, ску-  
ластое лицо, с заплывшими от жира глазами. Щелки глаз  
постепенно расширились, — и вот два горящих по-зверино-  
му зрачка впились в мужика.

— Во дворец захотел?! — прошелестел на морозе сип-  
лый голос.

Другой факел метнул пламя около лица арестованного.  
Человек в черном колпаке и с черными лоскутами на  
щеках обдал винным перегаром лапотника: «Сволочь!  
Тащите в караулку!».

. . . . .

В дни исчезновения царицыного кота было тускло и  
скучно во дворце — несколько дней подряд не было ни кур-  
тагов, ни балов, ни опер и никаких иных увеселений.  
Только сего дня, как значилось в записной книге дежур-  
ного генерал-адъютанта Бутурлина, «пополуночи в две-  
надцатом часу ее императорское величество соизволила  
отсутствие воспринять в село Царское...» к уехавшему туда

с многочисленными украинскими родственниками графу Алексею Разумовскому. Чтобы не встречаться со своими подданными, царица любила делать выезды по ночам, сопровождаемая сильным конным конвоем.

В тот момент, когда по освещенной факелами аллее проходила она, поддерживаемая под руки графом Шуваловым и духовником Дубянским и провожаемая толпою придворных кавалеров и дам, ей бросилась в глаза кучка караульных, окруживших какого-то человека.

Она громко сказала:

— Андрей Иваныч! Что там?

Шедший впереди с саблей наголо начальник тайной канцелярии заторопился к караулу и, вернувшись, объявил:

— Неизвестного подлого человека в лаптях мои сыщики задержали...

— Чей он?—болезненно поморщилась Елизавета.

— Нижегородский... С письмом, якобы, к поручику Рыхловскому...

— Веди сюда...

Царица остановилась. В голосе ее почувствовался испуг и волнение. Остановилась и вся свита.

— Не я ли приказ дала господину капитану Кутузову, дабы никого в серых кафтанах и лаптях не пропускать?! Где Кутузов?!

— Тащи! Ее величество приказали! — крикнул Ушаков человеку в бобровой шапке.

Нижегородского ходока доставили к царице. Еле живой от страха, лапотник сразу упал на колени, пытаясь облобызать ноги государыне. Она брезгливо, в страхе, попятилась, ткнув его тростью.

— Стой! Куда ты?

— Пришел, матушка-государыня, с Волги я, из лесов!.. Баринот Рыхловским послан к сыну его... Петру Рыхловскому...

Сказал он это и заплакал.

— Возьми его, Андрей Иваныч... Допроси толком. Ради чего он явился к нашему офицеру? И нет ли вины какой за ним?

. . . . .

Лапотника заперли. Письмо отдали офицеру Рыхловскому, предварительно сняв копию.

Когда от дежурного генерала к поручику явился кара-

ульный офицер и сообщил, что письмо принесено «подлым человеком в лаптях» из Нижнего, Петр, мучившийся до той поры в тоске одиночества, вскочил с кресла и весело сказал:

— Веди, ве́ди его сюда...

— Кого?

— Посланного от моего отца...

— Дежурный генерал-адъютант велели напомнить вам приказ императорского величества о подлых людях, не допускаемых в царский дворец...

Петр побагровел от обиды.

— Но он мой слуга.

— Ваши слуги — солдаты.

— Мне его надо видеть.

— Дежурный генерал сего для приказали вам явиться в караульную избу.

— Ла́дно. Приду.

Оставшись один, Петр дрожащими руками раскрыл письмо, стал читать:

«Здравствуй, наш любезный потомок, Петр Филиппов сын! Прискорбно извещаю — живу, яко воинский пленник, от мордвы и разбойников призывая на помощь всевышнего и тщетно льстясь добиться помощи у губернатора нашего князя Друцкого. В меня стрелял разбойник. Насилу я выжил. Нечистая сила язычников умножается и растет и едва ли не грозит пагубой и самому Нижнему Городу, ибо на помощь им появились разбойники, предводимые известным волжским вором Михаилом Зарю. Епископ пресвященный Димитрий в своем апостольском подвиге ни откуда поддержки не имеет, токмо от меня, незнатного и преданного раба ее царского величества. И како для батюшки ее, блаженной и пресветлой памяти государя Петра Алексеевича, такожде готов я живот свой положить и за ее императорское величество пресветлую царицу Елизавету Петровну! Но... боюсь того всечасно я, что оную счастливую жизнь мою, ниспосланный дар ее величества, — разрушат варвары лесные и возвратится она к первобытному состоянию. Убийством и зорением грозят нам враги государыни за верную нашу службу. Люди советуют мне обратиться через вас, сына моего, за помощью ограждения от кровожадных сих разбойников. И прошу я вас, сын мой, пасть к ногам ее величества и просить, дабы отпустили вас, единородного сына моего, спасения ради

отца, с солдатами или ино как—в оную нижегородскую вотчину—и дабы достойную суровость и наказание понесли разбойники и все неисчислимыя враги, купно с мордвою, чувашами и иными язычниками, оскорбляющими христианскую веру и власть. Разбой, татьба, угрозы и страх от сего заохлодили все здешнее дворянство, и все сидят невыездно в своих усадьбах, трепеща своим духом денно и нощно. И покуда сии иноверцы по вся дни не будут покорены под нозии российской венеценосицы—до той поры и мира не будет на земли. Так же мыслит и нижегородский епископ Димитрий Сеченов.

Твой я отец и пригом же раб государыни-царицы  
Филипп Рыхловский».

Рыхловский примирился с тем, что Петр не его сын, ради выгоды. Он проклинал на молитве Степаниду за ее неверность, и тем утешался. А Петр—нужный человек.

«Судьба!»—мелькнуло в голове Петра.

Во дворце жить становилось страшно: Петра настойчиво отдаляли от царицы. Одна старуха поймала его в коридоре, когда возвращались из дворцовой церкви, и прошепелявила на ухо: «Чего ради хочешь ты воспринять скорби и боли от человеков беззакония? Паутину виют округ тебя скверные дворцовые жены и мнимые девицы. Берегись!» И скрылась в темных коридорах дворца, быстрая, ловещая.

«Зачем в караульную избу?!—подозрительно размышлял Петр, одевая шинель.—Бутурлин!» Не он ли исполнитель всех самых тайных капризов императрицы? Ушаков, Александр Шувалов и Бутурлин—вот люди, которые заставляли трепетать придворных офицеров, весь служилый люд. «Когти государыни». О, не дай бог попасть в эти когти!

Петр быстро сбежал по лестнице и, выйдя в сад, пробрался по сугробам в караульную избу. Его встретил сам Бутурлин в медвежьем тулупе и бобровой шапке. Он загородил ход в избу.

— Стойте, господин офицер! Не торопитесь!

— Меня звали?

— По повелению ее величества. Сыщиками задержан некий неизвестный подлый человек, имея ваше произносающий...

— Он слуга моего отца.

— Однако, он в лаптях?!

— Дворовый, мужик...—не зная, что говорить, словно оправдываясь, пробормотал Петр.

— Русский?

— Ваше превосходительство могут спросить его...

— С мужиком я разговариваю токмо на пытке.

— Русский.

— Православный?

— Православный.

Бутурлин ядовито усмехнулся.

— Морозно, перучик, поди, озябли, войдите и погрейтесь в караульной...

Бутурлин посторонился. Петр вошел в помещение.

В караульне было душно; чадила печурка. При появлении начальства солдаты вскочили. Петр искал глазами своего человека среди солдат, но Бутурлин указал рукою на арестантское помещение.

— Там он.

У решетчатого окна появился заплаканный Степан—старый дядька Рыхловского. Умоляюще глядя на Петра, он причитывал:

— Родименький!.. Сынок!.. За что страдаю?! Господи! Господи!

— Молч-а-ать!

Бутурлин погрозил ему пальцем.

— Ваше превосходительство... выпустите его... Надо нам поговорить.

— Беседуй тут...—грубо сказал Бутурлин, сбрасывая с плеч тулуп. Около него появилось несколько придворных сыщиков. Глаза их забежали, на губах замелькали двусмысленные улыбки.

— Как здоровье батюшки?—спросил Петр у слуги.

— Филипп Павлович здоров, барин-батюшка, здоровехонек...

Вмешался Бутурлин:

— Серого большого кота, передние лапы белые,— не видал ли?

Степан застыл в удивлении.

— Серого?—тесмысленно повторил он.

— Ну, да!

— Не видал.

— Какого же кота ты видал и где?..

— Ни единого кота на пути своем не встречал, собак же изрядное множество... Истинно Христос!

— Так-таки и не видал?

— И во сне не снилось!.. Ба-а-а-тюшки! Да что же это такое со мной!—заревел мужик.

— Чего ради явился ко двору?

— С письмом из вотчины.

— Ее величество приказала знать, о чем письмо.

— Отец в опасности... Воры и мордва грозят ему смертию... Он зовет меня в Нижний... Просит помощи у царицы...

— В оном городе есть слуга ее величества, к тому назначенный, чего для просить помощи в столице? В губернии есть высшая власть—его сиятельство генерал князь Друдкой... Об опасностях надлежало бы к оной персоне и обратиться, а не гонять раба за тыщи верст к барчуку...

— Я не барчук!—с негодованием возразил Петр.— Офицер я гвардии ее величества...

— В дворцовом реестре до поры вы таким и значитесь. Не спорю.— Не ведомо ли тебе, человек, о ворах и разбойниках в нижегородских лесах?

— Полно их у нас. Сам разбойник атаман Заря под Василием стоит.

— А не ведомо ли тебе чего о мордве?

— Мордва что! Мордва ничего. Тихий, степенный народ. От них обиды нет русскому человеку.

— А не грозят ли они смертью твоему господину, а если не они, то чуваша, черемисы, татары?..

— Не слыхивал я... На попов более они в недовольстве, а крестьянину обид никаких...

Петр понял, что письмо его прочитано в тайной канцелярии, но не то его убило, что письмо известно Бутурлину,—жуть напала от другого: от того, что Бутурлин спрашивал Степана так, как будто заведомо желал, чтобы ему, Петру, стало ясно все и чтобы он не сдержался и возмутился. А за это его бы арестовали.

— Больше мне не о чем беседовать с ним,—тихо сказал Петр, делая мучительные усилия, чтобы подавить в себе возмущение, и вышел из караульной избы. Долго слышал он за своей спиной жуткие, раздражающие душу, крики Степана.

Вернувшись в комнату, лег на постель. Подложил руки под голову, и задумался: «Что же все это значит?». В глаза стали издеваться над ним. Вчера только вышел приказ

по дворцовому караулу, чтобы не назначать его в наряды к покоям царицы. Это он воспринял, как самую великую обиду. Сегодня заперли, словно вора или изменника.

Как никогда, захотелось теперь домой. О, если бы царица отпустила!

На следующий день Рыхловский обратился с просьбой помочь ему в получении командировки на родину к самому начальнику тайной канцелярии. Тот обещал переговорить об этом с царицей.

Через месяц Рыхловскому удалось получить разрешение на отъезд в Нижний.

. . . . .

Вот еще новость! Шувалов доложил царице, что после батоков приказный писец Гнутов домой не вернулся и все поиски его оказались тщетными. Есть слух, будто он убежал из столицы вместе с олонецкими раскольниками в нижегородские земли.

Царица сильно разгневалась на Шувалова, обругала его нехорошими словами за его волокитство, последствием чего явилось бегство несчастного человека, ставшего отныне врагом государыни.

— И куда бежал?!—возмущалась царица,—в нижегородскую землю, где и без того народ то и дело бунтует. Какой же ты охранитель государственных порядков?! А что грешница? Плачет ли?

— Гуляет во-всю она с гвардейцами...

— С твоей легкой руки!—рассмеялась царица.

— Она не способна жалеть. Не такая! Бедовая...

Смеется над мужем!

— Куда же он бежал?

— Всюду посланы люди разыскивать его.

— Ты виноват в этом,—строго сказала царица.—Он теперь опасен...

— Я не виноват... Она сама такая...

— Будет тебе, дядя!.. Прочь!

Шувалов быстро исчез.

. . . . .



Дворец остался позади, утонул в сырой снежной мгле. Зима все эти дни упорно сопротивлялась теплым ветрам, налетавшим с моря, но март давал себя знать.

Петр в последний раз выглянул из кибитки. Туман. Ничего не видно. Задел шляпой верх повозки: посыпался с нее на лицо и шею мокрый снег. «Прощай, Петербург! Прощайте, товарищи! Прощай...» Лучше не думать. Все кончено.

Петр вспомнил, как при прощании капельмейстер Штроус плакал. В утешение Петру он шептал: «Вчера саксонский посол камергер Горсдорф разгневался на дарицу, из дворца уехал в обиде и говорил вслух, что-де дарица меньше, чем когда-либо, занимается теперь делами... она уничтожает то уважение, какое должны питать к ней подданные... Ее поведение, обычай жизни и дурные прихоти и капризы невозможным делают пребывание иностранных послов при дворе...». И добавил Штроус уже от себя: «Завидуют тебе многие... Не печалься! Каждый страшитесь здесь за свое звание, место, значение, боится интриги, могущей ему повредить, и не заботится оттого никто о своей обязанности... Сегодня она без всякой причины жалует человека своей доверенностью, завтра безо всякой причины лишает ее, — и пекутся посему люди лишь об одном — как бы им усидеть на месте, а там хоть трава не расти»...

Старик, следуя за Петром, вышел во двор раздетый, без шапки, в одном камзоле. И долго стоял он, провожая Рыхловского, пока возок не скрылся из глаз. Не удалось ему убедить Петра в мудрости немедких правителей.

По бокам потянулись деревья пригородных рош, чернели в полях деревушки.

— Эх, Силантий! Расскажи-ка что-нибудь повеселее, — обратился он к своему ямщику. — Скучно так-то.

— О чем же, ваша светлость?! Наше дело такое. Вдохни да охни, а свое отбуди! Живешь, как в евангелии... Когда же скучать?..

Петр хорошо знал Силантия. Любил поболтать старик. Сам начальник тайной канцелярии об этом знал — и многое ему прощал, вернее — не стали обращать на старика внимания.

— Вчера танцевал я, а сегодня, видишь, в кибитке...

После веселья да кибитка!.. Вот как! Увы, свет превратен!

Силантий прикрикнул на коней, вздохнул и, спустя немного времени, заговорил:

— Многовертимое плясание отлучает человека от бога и во дно адово влечет... Не жалейте! Так мне и сам Димитрий Ростовский, покойный святитель, в юности моей говорил. Все, любящие плясания, с Иродиадою в огонь негасимый осудятся... К лучшему, что вы в кибитке.

На этот раз Силантий был неразговорчив.

Петр вздохнул, неожиданно вспомнив о первостатейной плясунье на Руси—о царице Елизавете. Вспомнился вчерашний маскарад во дворце. Все мужчины были одеты по-женски. Он и сам щеголял в женском платье. Много было смеха. Женщины, одетые по-мужски, смеялись вместе с царицею над ним. Было обидно, а уйти с маскарада нельзя, попадешь в немилость. «Ах, опять о ней!» Он жалел ее и ненавидел окружавших ее вельмож, а особенно Разумовского и Шуваловых. Ему теперь казалось, что сама она не прельщается властью, что за ее спиною стоят другие. Но так ли это? Впрочем, какое ему дело до этого?

Чем быстрее удаляется кибитка в темные, унылые просторы полей и рощ, тем дальше он становится от двора. И, может быть, эта разлука навеки. Чего же ради думать теперь о царице?! Пускай живут, как хотят!

На первом почтовом стане, пока перепрягали лошадей, у Рыхловского произошла неприятная встреча с двумя беглыми мужиками. Он не знал, что они в той же избе, где расположился и он сам для отдыха. Но вдруг один из них закашлялся.

Петр вскочил со скамьи и заглянул под нее: там прятались два парня.

— Вылезайте-ка, чего вы?—пнул Петр одного.

Не шевельнулись. Тогда он крикнул почтальона. Оба выползли из-под скамьи, начали лобызать ноги офицеру. Эти люди были крайне жалки: еле прикрытые лохмотьями, худые, костлявые.

Рыхловский с отвращением оттолкнул их ногой. С некоторых пор он возненавидел человеческую приниженность; холопство стало ему противно. И эти, валявшиеся у его ног, люди напомнили ему, как во дворцах стелются перед вельможами несчастные челобитчики. Ведь, и он сам переживал унижения, кланялся почти так же царице

и ее приближенным, бегая целый месяц с прошением об отпуске в Нижний.

— Эй, встаньте!..— приказал он сурово.— Не трону вас... Не бойтесь!

Вскинув испуганный взгляд на него, оба беглеца встали. В растрепанных лаптях, едва не босые. Один—с жиденькой бородкой, с красными белками, и без усов, лицо в болячках, другой—совсем мальчик, рябой, курносый, настолько бледен и худ, что Петр отвернулся от него. Оба заплакали, трясаясь от страха.

Мороз по коже прошел от их жалобных причитаний. Желая ободрить их, Петр достал из сумки хлеб со свиной и дал им. Они схватили его руку и начали целовать ее. После этого с жадностью принялись за еду.

— Чьи вы?—спросил Рыхловский.

Замотали головами и, делая какие-то знаки руками, забормотали на непонятном языке.

Вошел ямской староста.

— Кто они?—спросил Петр.

— Ливонские беглецы...— ответил староста.

— На каком языке болтают?

— По-эстонски. Много же их бежит здесь! Немецкие бароны люты для подданных своих. Латыш бежит на Украину и в Польшу; эстонцы, подобно нашим христьянам, наиболее бегут на Башкирию, либо в Запорожье, либо в раскол... Разно. Действия немецких вотчинников приводят всех к бегству. Ливонские шляхтичи—враги рода человеческого! Звери!—В голосе рассказчика звучала горечь,—видно, много накипело у него.

— Как с беглыми быть—и ума не приложишь! Не подумайте, ваша сиятельность, будто я их скрываю... Число беглецов ноне так умножилось, что едва ли не свыше двух тысяч человек через мой тракт прошло в зиму. Не пустишь,—убийством и пожаром грозят. Того и гляди, с голоду самого съедят, и жену, и детей—помилуй бог! В наших краях не однажды оное и случалось. Людоедство! Самовластные государи, кажись, не могут той муки наложить на долю простолюдина, кою возлагают бессовестные немецкие шляхтичи...

— Ладно!—перебил его Рыхловский.—Покуда я здесь, уведи их отсюда... Недостойно офицеру пребывать в обществе бездомных бродяг и, особенно, зная, что люди воровски утекли из дворянских вотчин.

— Ну, ну, вы! Пошли! Пошли!..— грубо стал выталкивать в шею беглых хозяин почтового поста.

Об этих беглецах и их судьбе невольно задумался Петр Филиппович, оставшись один. Конечно, царица по доброте своего сердца, может быть, была бы и на их стороне, пожалела бы их. А может быть,— думал Петр,— эта жалость притворная? Когда дело дошло бы до ее резолюции, она написала бы: «Поступите по закону! Я не буду мешать!». Вряд ли у Пилата были более преданные последователи! Она любит обнаружить чувствительность и, закрыв глаза, предоставить другим поступать по их усмотрению.

Петру стало стыдно, что он развивает такие дерзкие мысли. Но разве это не правда, что царица больше всего полагается на свой «тайный совет» и Сенат? Она боится им мешать.

Скорбя об отрубленных головах, она утешает себя, что не она тому виною, что не она вырезала язык у своей соперницы по красоте, у Лопухиной, что не она истязала беременную жену Лиленфельда. Она чиста, а виноваты ее судьи и палачи. Разве ею издан указ по империи, чтобы во всяком губернском городе было по два палача, а в уездном— по одному? Это указ не ее, а Сената. Она его не подписывала— подписал Сенат. Ее бог не накажет. Совесть ее спокойна.

И разве не она потворствует распушенности нравов и не только при дворе, но и на посадах, ибо сама всем пример полагает к тому.

Но что же это такое?! Опять мысли о царице! Долой! Прочь! Не надо думать о ней и о Петербурге.

В горницу вновь вошел станционный смотритель.

— Всю зиму — морозы жестокие, снега глубокие,— надо думать, урожайное ныне будет лето...— сказал он с намерением завязать разговор.

Петр рад был и этому. Одиночество уже начало его тяготить.

— Хорошо бы!— отозвался он.— Без хлеба плохо.

Староста вздохнул.

— Мы привыкли. Ныне да завтра — так и проводишь. И-и-их, горюшко!— зевнул он, перекрестив рот.— Час за час — все ближе к смерти. Скорей бы уж!

Опять Петр вспомнил свою службу во дворце. Вспомнил одного старательного, хорошего солдата у себя в полку,

всегда являвшего пример своей преданности престолу. И вот однажды один из фискалов донес, будто бы этот солдат сказал, «что-де недостойно в нашем великороссийском государстве женскому полу на царстве сидеть». Сказал он это в беседе с одним рабочим, который, якобы, согласившись с ним, заявил, что «у государыни-де ума нет». У парня было здоровое, румяное лицо и открытый правдивый взгляд, он был силен и высокого роста. На пытке он еще добавил: «Когда-де Грюнштейн и прочие лейб-компанцы к государыне пришли в милость, тогда-де ходили они по домам и по кабакам, народ ободряли, что государыня милостива, а против бывшей принцессы Анны и сына ее принца Иоанна в озлобление приводили». Но, «когда-де государыня на престол заступила, тех манифестов мы уже не видим, и Разумовский-де стал ей дороже народа, а бывших своих благодетелей она оттолкнула от себя»...

Гвардейца сдали в каторгу, жестоко побив палками и вырезав поздри.

Теперь, слушая старосту, Петр задумался над тем, отчего же радуется этот человек будущему урожаю, когда он все равно обречен на голод? Конечно, у старосты другие мысли, и не то он хочет сказать. О, если бы собрать воедино все эти невысказанные мысли крепостного и мелкого работного люда! И поднести их дарце!

Петр достал из сумки большую флягу, налил вина себе и старосте. Тот сначала отказывался, потом рывком схватил чарку и, перекрестившись, проглотил вино. Вошел ямщик: лошади готовы. На дворе начало темнеть. Надо было спешить. Отворив дверь, Петр натолкнулся на сидевших на приступке беглых эстонцев. С сердцем пихнул он ногой в спину сначала одного, потом другого: он все не желал их больше видеть. Они тоже что-то скрывают. Они молчат, но они думают, живут. Петр на них теперь был сердит за это. Оба упали на снег, а приподнявшись, стали на колени и, сняв шапки, низко поклонились ему вслед. Опять фальшь!

Поспешно залез он в кибитку, приказав вознице поспешить к ночлегу доехать до следующей станции.

Снова снежные поля, перелески и леса! Опять испуганные ездоками вороны и галки каркают, черня небо, затемняя прозрачную сень деревьев. И снова мучает его мысль: «Стремление к свободе у людей, подобно зрению,

обнаруживается всегда и везде, но закон прилагает все силы к тому, чтобы удержать его в надлежащих границах... Однако нет пределов в этом стремлении к свободе! Вот государыня недавно пожелала ввести подати в пользу бедноты. Но могут ли помещики, сидящие в Сенате, согласиться на это и достигнет ли такая подать желаемой цели? А потом Сенат так затянул это дело, что и царяца забыла о нем».

«Но все же это лучше, чем при Анне Иоанновне,— утешал себя Рыхловский.— Бродяга Бирон, коего курляндское дворянство отказалось даже занести в свои списки, сделался у нее герцогом и самовластным повелителем империи, а беглый студент, сын немецкого попа, Остерман, мог бросить в любую минуту русское войнство на помощь тому или иному иноземному государю и продавать Россию целиком и по частям, кому ему заблагорассудится».

Петр Рыхловский ненавидел бироновщину. Он и тогда не способен был на низкое услужничество и подлости, вредящие народу. Он любит Россию. Может быть, его ждут разочарования! Может быть, он от этого и слаб, и в общей схватке за места у трона не проявил нужной воли и настойчивости? Слабым нет места во дворце! Александр Шувалов не раз говорил в пьяном виде: «Чтобы жить на Руси с удовольствием, надо быть дьяволом».

Но разве он, Рыхловский, настолько слаб? Разве он не поражал в полку своею смелостью и отвагой, воюя со шведами?

Петр достал флягу. Не поможет ли вино?! И, действительно, жизнь вдруг показалась ему веселою, любопытною! «Петербург — это не Россия! История России — недосказанная сказка...»

Он высунулся из кибитки. Деревья вытянулись по бокам, как гвардейцы в строю, они стояли не шелохнувшись, стройные, задумчивые. Продолжал падать мокрый, предвесенний снег.

«К чему сия неутомимая деятельность ума в безделках?— думал Рыхловский.— К чему хвататься за все подробности, но ничего не довершать, кружиться около распутия, не ведущего ни к какой цели? Обо всем думать и говорить — и ничего не делать своею волею,— не есть ли это женское занятие, не идущее к лицу офицеру гвардии, который своею саблею и смелостью участвовал в сверже-

нии одного самодержца и в возведении на его место другого?»

Петр нащупал эфес сабли, крепко сжал его, почувствовав внезапно прилив появившейся в нем новой бодрости, новой отваги. Против кого же он теперь направит эту силу и оружие?!

«Против бунтующей мордвы, воров, разбойников», — так значилось в грамоте, врученной ему Шуваловым.

Сломить их упорство, подчинить своей воле непокорных — и есть его задача. Он теперь облечен властью уничтожения, он — поручик лейб-гвардии Петр Рыхловский! Он не один. Ему дадут солдат. В Москве, в Сыскном приказе ему должны все рассказать, открыть все военные тайны противника. Честь немалая — выполнять волю правительства. Кто знает, — быть может, эти бескорыстные верноподданические подвиги, оторвав его от придворной жизни, в то же время будут способствовать и его государственной вельможности, поднимут его честное имя преданного слуги престола на новую, еще невиданную им, высоту и опять вернут его ко двору, но с большею твердостью положения?.. Разве не может случиться так, что будущие бои с мордвой создадут ему славу? Рыхловский размышлялся.

Нужны поступки, действие! Никакое сильное и увлекательное красноречие не в состоянии спорить с мужеством и геройством. Герой может быть немым, но его будет окружать большая толпа людей, нежели самого красноречивого бездельника.

Рыхловский задремал. Укачало кибиткой.

Лошади бойко бежали по наезженной московской дороге. К ночи добрались до станции, где и расположились на ночлег. Петр Филиппович допил вино из фляги. Кружилась голова. Было хорошо.

Еще пять-шесть ночей — и Москва! С этими мыслями он заснул в ямской избе, полный бодрости и гордых упований на будущее, сулившее ему, возможно, снова внимание императрицы, снова приближение ко двору.. Э-х, ямщики, везите поскорее! Как жаль, что во фляге уже нет вина!..

На губах уснувшего на скамье Рыхловского застыла нетрезвая улыбка.

Утром, собираясь в дальнейший путь, он обнаружил у себя в кармане какую-то бумажку. С удивлением развернул ее и прочитал. Оказалось, длинное и злое острословие, имевшее заголовок:

«Прощение в небесную канцелярию».

«Суди, Владыко, по человечеству: какие мы слуги отечеству? До такой крайности дошли, что нечем одеться, не только в праздничный день разговеться; работаем и трудимся до поту лица, не съедем в Христов день куриного яйца; едим мякину вместе с лошадьми; какими же мы уже можем назваться людьми? Стали убоги мы, нищи, что не имеем насущной пищи, кроме одной, как мякины свиной».

«А паче всем народом вопием к тебе, небесному царю: за что такая власть дана господам и их секретарю? Вотчинники, секретарь и его приказные делают потехи разные: для своих шуток щупают, ловя нарочно, кур и уток; в работу сенокосную чинят нам обиду несносную; портят баб и девок, и много других разных издевок».

«Дошло уже до того—нечем истопить избенки; замучены наши лошаденки; никакой нет милости и свободы; для всякого особливые подводы; жены наши и ребятишки на себе таскают дровишки».

«А как придет весна, то жены наши станут ткать красна; с каждого домишку по полпуду выходит льнишку. А сверх того для их чести по фунту дадим овечьей шерсти, по мотку с двора ниток, какой ни был бы пожиток. И на таких тиранов известных решились мы беспокоить царей небесных».

«Всепресветлейший владыко! Просим слезно, простирая руки: воззри на нас—как ныне страждут Адамовы внуки! Великие тягости несем от земного царя, вотчинников и их секретаря».

Прочитав этот листок, Рыхловский стал вспоминать: кто бы это мог подсунуть ему в шинель такую бумагу?

Ночевал он один в избе, крепко запершись на задвижку. «Неужели вчерашние эстонцы?»

Теперь он припомнил, что, когда он сидел, шинель его свесилась со скамьи, под которой лежали беглые.

«Да эстонцы ли то были? Еще вчера казались они мне не кем иным, как обыкновенными псковскими мужиками?.. Но зачем же ямской староста и почтальон их скрывали,



называли их эстонцами? Неужели из боязни, что их убьют? И тут обман!»

Осмотрев свой пистолет, он грозно проворчал: «Ну, подождите!».

Самолюбие его страдало вдвойне: зло посмеялись над ним в Петербурге, во дворце, вельможи и дворяне, а теперь, при первой же встрече с подлыми крепостными людьми, одурачен он и ими... Он же их пожалел, и они же над ним насмеялись!

Зубами заскрежетал от гнева Петр, снова влезая в кибитку.

«Ладно. Сочтемся!»

Но вдруг он услышал чей-то голос. Оглянулся.

— Ваше степенство, прошу прощения! Болен я, посадите меня, хотя на запятки.

— Куда тебе?

— В Москву, либо Нижний пробираюсь.

— Лезь в возок, бедняк. Чего ради бежишь из сих мест? И как тебя звать?

— Сергей я Гнутов, писец из духовного приказа... А отчего так случилось, что бегу, прошу позволения рассказать дорогою. Причиною тому — неверная жена, бесчестной суке подобная.

— Не скучно будет ехать с тобой.

— Осмелюсь сказать и то... — тут Гнутов запинулся. — Боюсь и помянуть.

— Говори смелее, не бойся, сам я бегу из столицы по причине.

— Шувалов... — пробормотал Гнутов и замолчал, крепко сжав губы.

— Ну!

— Дозвольте сказать, коли подальше от сих мест удалимся... Горько мне! Таких баб и на свете нет. Замучила меня своим охальством. Нечестная! Ненасытная обманщица.

## ХП

В Китай-городе между кремлевским рвом и Москворецкою улицей помещался знаменитый Сысканой приказ. Центром его было большое каменное здание палаты — места заседаний начальства. К южной и восточной стенам его

примыкали два острога, а к западной, выходявшей на кремлевский ров, приткнулся только что вновь перестроенный «застеночек» (как его величали секретари приказа). Кроме этой постройке, совсем недавно были закончены две новые казармы для колодников, закладка которых состоялась в дни восшествия на престол Елизаветы Петровны.

Ванька Каин, вернувшись с Волги, из Нижегородской губернии, загорелся желанием сблизиться с этим оживленным уголком. Потянуло его сюда не без основания.

Вышло так.

Вернувшись из Чортова Городища, Ванька Каин, озлобленный на Михаила Зарю и его товарищей и видя в них «врагов отечества», прямо заявился на квартиру к князю Крапоткину, первоприсутствующему в Сыскном приказе, и объявил ему, что он, Ванька, хотя и вор, но может большую пользу принести начальству, зная других воров и разбойников не только в Москве, но и в иных краях, например, в Нижегородской губернии, и предлагает свою готовность помогать приказу ловить их всюду без пощады. Крапоткину только того и нужно было. Он направил его в Сыскной приказ, где Ванька и подал челобитную на высочайшее имя.

Так Ванька сдружился с Сыскной слободой. В реестре своем он переименовал тридцать двух московских мошенников.

В ответ на доношение Ваньки Каина, ему в распоряжение дали четырнадцать солдат и подьячего Петра Донского. Вооружившись пистолетом, Ванька храбро повел их в самый темный и грязный угол Китай-города, в Зарядье. В этом местечке ни днем, ни ночью порядочному человеку нельзя было пройти так, чтобы не поплатиться либо своею одеждою, либо деньгами, а то и жизнью. В эту же ночь он захватил тридцать два человека. В следующий поход еще четырнадцать человек «воровского промысла» взяты были им «в плен».

Имя Ваньки Каина с этой поры стали с уважением и удивлением называть даже в Сенате и в других высших правительственных местах. Сама царица Елизавета, находившаяся в те поры в Москве (терзаемой ворами и пожарами), — возликовала, выслушав от князя Крапоткина доклад о подвигах Ваньки Каина.

Ванька теперь стал в Сыскном приказе немаловажною персоной. Он не только ловил воров, но выполнял кое-

какие поручения и по хозяйственной части приказа. Парень оказался на все руки.

В то утро, когда, побывав у первоприсутствующего Сысского приказа князя Крапоткина и передав ему письмо от Александра Ивановича Шувалова, поручик Рыхловский явился по указанию Крапоткина в Сысской приказ, — там происходила горячая работа.

Члены приказа, судьи, приказные и канцелярские служители в составе секретарей, протоколистов, регистраторов, канцеляристов, подканцеляристов, копистов и коллежских юнкеров, а также сержант, вахмистр, солдаты, сторожа, тюремные старосты, заплечные мастера (палачи), пожарные, рассыльные, актуариусы и архивариусы и многие другие — все высыпали во двор и толкались, заглядывая один другому через плечо, около вновь перестроенного застенка. Событие немаловажное, как узнал Петр Рыхловский, должно было совершиться в это утро. Ждали архиерея с надлежащим синклитом клириков для совершения молебствия по поводу перестройки некоторых зданий Сысского приказа.

Когда Петр Филиппович поближе подошел к центру этого собрания, он увидел восседающего за столом какого-то генерала, а рядом с ним юркого, среднего роста, румяного мещанина. Он был одет франтовато, в расшитую гладью рубаху, а поверх ее в серый, шитый серебром кафтан.

За столом же сидел один из секретарей и записывал то, что выкрикивал прилизанный мещанин, с жирными кудрями до плеч. Выкрикивал он жиденьким голосом, но громко, пронзительно.

— Белая и серая епанча на дело хомутов в застенке!..

Рыхловский заметил, что в том месте около стола, куда косился мещанин, называя ту или иную вещь, была навалена груда разной рухляди, около которой возился солдат, поднимая и показывая генералу выкрикиваемый предмет.

— Цепи!

— Уголие!..

— Липовая кадка на держание при горне воды!..

— Плети!..

— Конды и ремни!..

— Инструмент железный, смыкающий ручные и ножные пальцы!

- К тому же инструменту замок!
- Порох для клеймения телес!
- Топоры!
- Лестница для казни!
- Олово для залития горла!
- Сруб для сожжения человека...
- Рубаха и порты, надеваемые на осужденных к смерти!
- Железный венец для тиснения головы!..
- Войлок для полов в застенке!

Окончив свою перекличку, этот человек тряхнул кудрями и с откровенно насмешливой улыбкой оглядел всех окружающих.

Петр Рыхловский спросил стоящего рядом обывателя— кто это такой? Обыватель с подобострастием прошептал на ухо Рыхловскому: «Ванька Каин».

«Так вот он какой!»—Петр принялся с любопытством рассматривать знаменитого вора, с которым и ему, к сожалению, придется иметь дело, от которого он должен будет получить сообщение о разбойниках, предводительствуемых атаманом Зарею, и вообще о положении дела в Поволжье и на берегах Суры. Одним словом,— человек крайне необходимый теперь, перед отъездом в Нижний.

Кто-то зычным голосом выкрикнул, что было мочи:

— Его преосвященство!..

Разношерстная толпа пришла в движение. Бестолково загалдела. Сидевший за столом генерал вскочил. Ванька Каин пригладил волосы, усы и бородку, откашлялся и, высоко подняв голову, пошел, толкая всех, на улицу. Раздались окрики сержанта и вахмистра, собиравших в строй тюремную стражу. Где-то ударили в барабан. Взбеленились сторожевые тюремные псы, косматые, зубастые. Тронулись со своих мест и одетые в красные рубахи и бархатные жилеты заплетные мастера и начали скромно, заботливо собирать вместе с секретарем пыточный инструмент, цепи и другие предметы, только что переписанные в книгу. Взяли себе на плечи и, слегка сугуясь, поволокли все это добро в обновленный застенок. Толпа ринулась на улицу, чтобы посмотреть на архиерея, а может быть, и удостоиться его благословения.

Рыхловский поспешил протолкнуться сквозь пеструю, шумную толпу на улицу, где должен был вылезти из своей колымаги архиерей. Высокий рост помог ему разгля-

доть старика в белом клобуке, а около него с обнаженной головой начальнически озиравшегося на толпу князя Крапоткина.

Строгий взгляд начальника Сыскного приказа произвел свое действие: заработали кулаки и плети, чтобы расчистить путь его преосвященству. Обыватели приняли на свою долю положенное количество тумачков и плеток и отступили за черту, указанную властью, продолжая низко кланяться неизвестно кому с непонятным им самим усердием.

Молебен отслужили в большом зале палаты Сыскного приказа.

Рядом с Рыхловским оказался один из чинов канцелярии приказа, гладко выбритый, с живыми, быстро бегающими глазами, одетый в желтый камзол.

Когда вблизи архиерея появились в облачении три священника, чиновник, хотя и не был знаком с Рыхловским, но дернул слегка его за рукав, прошептав ему на ухо:

— Тюремные попы: один из Чудова монастыря, другой из Покровского собора, третий от Спаса, что у Москворедких ворот... Для исповеди и увещевания осужденных они... Вот тот протопоп... — указал чиновник на толстого рыжего священника — отец Григорий... ученейший и искусный в исповедах муж.

Попы низко кланялись архиерею и смиренно косились в сторону Крапоткина. Видимо, они чувствовали себя неважно, находясь между двух огней. Колодники, которых вывели к слушанию молебна, и те выглядели бодрее, чем эта испуганная тройка попов, обливавшихся потом от излишнего волнения.

После пышных, торжественных богослужений в присутствии царицы в дворцовой церкви — эта нелепая суета, овеянная унылым пеньем охрипших клириков, эта пестрая толпа, состоявшая из приказных, из палачей, из генералов, из попов и кандальников, повергли Петра Рыхловского в великое смущение.

Архиерей рядом с князем Крапоткиным, попы, клирики, начальство и все прочие люди, присутствовавшие на молебне, двинулись теперь в обход старых и вновь выстроенных тюремных казарм. Их оказалось десять. Самая большая из них — десять аршин длиною и три шириною; в ней помещалось шестьдесят человек. В другой — пять-

десять девять колодников; в третьей — пятьдесят семь... Всего по всем палатам было пятьсот человек. В каждой казарме начальство встречали караульный офицер и тюремный староста. Колодники были построены шеренгами — растерянные улыбки появились на изуродованных лицах. Находились здесь люди и с озверелыми волчьими глазами, страшные, на все готовые. Они были кругом окованы: и ручными и ножными кандалами, и опутаны густо двойными шейными цепями. Были и хилые, жалкие, с потухшими глазами.

Князь Крапоткин нагибался и осматривал, крепко ли закованы люди. У одних он обнаружил худые и ветхие кандалы, у других — неисправные замки, заклепки.

Архиерей, не теряя времени, обрызгивал колодников «святою водою». В женских палатах арестованные были закованы лишь в ручные кандалы. Они встретили архиерея разухабистыми песнями и кричали зазорные слова, а посему он не удостоил их кропления.

Во время этого обхода, около большого острога, у трубы, солдаты задержали жену одного колодника и при ней пузырь с вином, который она, воспользовавшись тюремной суетою, хотела передать в окно мужу своему, завязав пузырь в платке. Колодничью жену мгновенно спал Ванька Каин и представил ее самому князю. Вина при ней оказалось с четверть ведра, которое у нее услужливо отобрал Каин.

Жену колодника арестовали, потащили в каземат, она ругалась, сыпала проклятия, рвалась из рук тюремщиков, а начальник тюрьмы, также и архиерей с попами и все другие остановились, наблюдая за этой женщиной, и смеялись. Больше всех потешался поймавший ее Ванька Каин.

Когда кончился обход казарм, пошли в застенок. Архиерей усердно окропил святой водою застенок и особо — четверых заплочных мастеров, благоговейно склонившихся перед святым отцом.

На обратном пути в палату Крапоткин жаловался архиерею, что заплочных мастеров нехватает:

— Прежде имелось в приказе их шесть, а ныне, как сами изволите видеть, только четверо, и оных четырех у меня также требуют чуть не повседневно на работу: то в Главную полицию, то в Мануфактур-коллегию, то в Судный приказ, то в Генеральный кригерехт. К тому же еще из Нижнего губернатор просит дать одного заплоч-

ного мастера для обучения тамошних палачей... Дела там какие-то!..

Архиерей слушал Крапоткина и старчески жевал губами. Его узенькие глазки слезились. У Крапоткина в лице было что-то заячье: покатый лоб, громадные уши, косые глазки и длинный нос, прижатый к губам. Зрачки большие, острые.

Рыхловский подметил в подчиненных необычайный трепет, когда они встречали взгляд своего начальника.

После осмотра остальных строений приказа в палате состоялась обильная трапеза с вином и провозглашением здравий за царствующий дом и за графа Разумовского.

Петр Филиппович утомился от всей этой церемонии в Сыскном приказе, а от здравicy за Разумовского его бросило в жар. Негодованием наполнилось его сердце и презрением ко всем присутствующим «униженным рабам ее величества», как назвал богомольцев архиерей при произнесении молитвы за царицу.

Петр Филиппович был несказанно обрадован отъездом архиерея. Он думал, что князь Крапоткин забыл о нем и хотел подойти к нему и напомнить о себе, но вдруг рядом с собой, совершенно неожиданно, увидел опять того же старичка в желтом камзоле, который заговаривал с ним во время молебна и все время непрошенно сопровождал его при обходе казарм, а рядом с этим стариком — Ваньку Каина. Старичок оказался одним из членов коллегии Сыскаго приказа. Тихо произнес он, подтянувшись на носках к уху Рыхловского:

— Его сиятельство просит прощения за длительность ожидания... Изволите жаловать со мной в расспросный кабинет...

Он торопливо засеменил маленькими, словно танцующими, ножками через двор и прошел в деревянный домик. Подойдя к нему, отпер дверь и, пропустив Петра Филипповича и Ваньку Каина, а также войдя внутрь домика сам, снова запер дверь на замок. Здесь был душливый, зловонный воздух.

— Садитесь... — указал он на скамью. — Садись и ты, Ванюшка. Поведем, братец, с тобой допросные речи.

Рядом с Петром, близко касаясь его локтями, уселся и «доноситель» Ванька Каин. От этого прикосновения Рыхловскому сделалось не по себе, а вся таинственность, которой старичок окружал эту беседу, вызывала у Петра

неприятные чувства: тут была и обида, и оскорбленное самолюбие, и просто брезгливость... Как-никак, а гвардейский офицер, один из бывших приближенных дарицы, и вдруг сидит рядом с вором, сидит запертый на замке, будто арестованный, и ждет, когда ему даст какие-то инструкции этот вор и доноситель Ванька Каин.

— Вы еще совсем молодой!.. — захихикал ни с того ни с сего старичок в желтом камзоле.

Ванька Каин заиграл глазами. От него пахло розовым маслом. («Стяжал, наверное, у архиерея святое благовоение», — подумал Петр.)

Старичок продолжал:

— Я ведь и батюшку вашего знаю... В Нижегородском остроге секретарем я в ту пору служил, а они были кузнецом темничным... Ковали они арестованных... Знатно ковали: сам дарь Петр Великий осыпал их милостями... Землю на Суре подарил... Они там с епископом Питиримом за жабры мордву знатно взяли... Одного мордвина мы тут пытали по государеву делу, так оный нехристь, совсем уже замученный, почти мертвый, еле дышащий, однако, проклинал вашего батюшку... Хе! хе! хе! Забавно!

Петр сердито оборвал его. Ему показалось, что старик издевается над ним.

— Говорите о деле...

Поперхнулся от болезненного щекотания в горле и закашлялся. Рассказ старика об отце окончательно подавил его. Ему хотелось вскочить и убежать отсюда, куда глаза глядят... Послать к чорту и этого старого дьявола и отвратительного Ваньку, но...

— Нет, не скажите... — как будто ничего не замечая, мягко и добродушно продолжал старичок. — Это, как раз, ваше благородие, относится к нашему делу, ибо у нас в Тайной конторе получена жалоба вашего батюшки на мордву и на разбойников... Атаман Заря и некий дыган Сыч, его же есаул, грозят убить вашего батюшку и пожечь... И вам придется, поручик, за то жестокую экзекуцию мордве учинить и наказать губернатору князю Друцкому, дабы выслал он по этапу всех задержанных вами в тех местах зачинщиков — в Москву, в Тайную контору... А уже мы тут знаем, что нам с ними сделать... Об этом вы не беспокойтесь. А теперь потрудитесь выслушать нашего преданнейшего доносителя, верного слугу ее величества, Ваньку Каина...



Старичок дернул своего помощника за рукав:

— Говори!

Ванька Каин разгладил лоснящиеся от масла волосы и начал, причмокивая и хватая Петра Филипповича за пуговицы шинели, рассказывать:

— Был я там!.. Видел всю эту сарынь!..<sup>1</sup> И Михаила Зарю знаю... Логово его теперь мне известно... В Чортовом Городище оно, под Васильсурском... Сначала жили под Макарьем... Чужие хлеба приедчивы... Монахи их прикармливали.— Ванька Каин говорил и весь дергался, в такт своим словам:

— Человек с полтора ста их, разбойников, будет... Один к одному молодцы; на свет родились и никуда не годились! Еврей среди них есть... Особенно вреден у них сын нижегородского меховщика Гринберга... Рувимка звать его. Дочка тоже у этого меховщика...— Ванька подмигнул Рыхловскому глазом. — Ягодка! Говорят, сам губернатор... Товар полюбится — ум отступится... Ну, да что там говорить!..

Старичок дернул Ваньку за рукав: «Не завирайся!».

Ванька поправился:

— Одним словом, пряжки искорками, да вон повыскакали... Всякая вещь стала мне известна, как бы сей еврей добродетелью себя ни приукрашивал!.. Он самый и есть главный заводчик бунта, к которому готовится мордва и иные нехристи. Он же и грабленное у воров брал и сбывал на ярмарке в Макарьеве... Он всему виною является.. Сып-то его Рувим в шайке разбойников самый грамотей, и писарем там он у них состоит... Сказать прямо: она свинья хочет иметь бычий рог да конские копыта, да православленную дерковь убодать и далее скакать... Отрубите мою руку по локоть, коли я вам, офицер любезный, добра не желаю... Ей богу!

Ванька вздыхал, божился, один раз даже слезу пустил, зарыдал; старичок в желтом камзоле фальшиво его как-то успокаивал. А потом Ванька смеялся, сыпал прибаутками и снова дергал за пуговицы Петра Филипповича, причмокивая.

И этак продолжалось часа три, а когда кончилось, старичок подсунул Рыхловскому какую-то бумагу: оказалось, — расписка в получении надлежащих справок «о мор-

---

<sup>1</sup> Ватага, шайка, сброд и т. д.

довском воровстве и о разбойниках у Макария» от московского Сыскаго приказа и обязательство «об этом никому не говорить ни слова».

С распискою старичок долго возился около замка; сам никак не мог отворить, а никому другому ключа не доверил. Но только Рыхловский повернулся, старичок опять вцепился ему в руку и, толкнув Ваньку Каина, строго сказал: «исчезни!». Ваньки как не бывало. Словно сквозь землю провалился.

— Вот что, любезный поручик...— тихо сказал тогда старик.— Начальник Тайной конторы нашей просил бы вас захватить с собой заплочных дел мастера Гаврилу Цыганкова в Нижний. Князь Друцкой умоляет выслать ему одного для обучения тамошних палачей...

Рыхловский побледнел:

— Скажите начальнику Тайной конторы, что офицеру и дворянину недостойно в одной кибитке с палачом быть...

— Его превосходительство сиятельный князь Крапоткин, начальник наш, много раз ездил вместе... Однако, как хотите!.. Счастливый путь!..

Человек в желтом камзоле торопливо удалился.

Вырвавшись в город, Рыхловский почти бегом бросился бежать по набережной Москвы-реки, но ему еще долго казалось, что за него цепляется этот старикашка и пальцы Ваньки Каина дергают его за пуговицы.

В предвечерней тишине бойко журчали потоки воды, стекавшей с улиц в Москву-реку, и неотразимо давили низким великопостным гудом колокола кремлевских соборов.

«Поскорее бы в Нижний!»— в страхе и тоске думал Рыхловский, направляясь в Ямской приказ.

Дорогой, когда Рыхловский ехал к Москве, приказный Сергей Гнутов немало позабавил его своею «дуростью». Вот уж истинно: простота хуже воровства! Он с таким наивным видом излагал свои страдания от неверности жены, которая, мало того, что обманывала его, но притом же и всяко издевалась над ним и постоянно его ругала за плохую жизнь, за то, что она несчастнее всех на свете. И он тогда чувствовал себя виноватым и просил у нее прощения... Правда, иной раз Рыхловскому и жаль его становилось, ибо Гнутов то и дело слезу пускал...

— Ты бы ее отодрал как следует!— сказал Рыхловский.— Она бы умнее стала!

— Она грозила Шувалову жаловаться, а притом же прибавляла: «государыня и та мою сторону держит, и никого ты не удивишь своим горем, а что ты в каземате сидел, не от меня то зависимо». Сердце моей жены обросло шерстью.

Петр Рыхловский, зная нравы при дворе царицы, ничуть не удивлялся случившемуся с Гнутовым.

— И хочу я к беглым людям на Волгу уйти и там свою жизнь сгубить за правду...

Так закончил свои рассказы Гнутов.

— А детей тебе своих не жалко?— спросил Петр.

— А я, господин, и не знаю: которое дите мое, которое прижитое моей неверницей от других. Бог с ними! Не могу я больше в этакой кабале у бабы своей быть. Одна дочка черная, в одного дьячка, с которым, видать, баба и прижила ее. Да ладно! бог с ними!

— Что же теперь ты думаешь делать?— спросил Петр.

— Уйду на Волгу, либо к мордве уйду... В Духовном приказе узнал я... бунт там готовится... Читал я донесения князя Друцкого из Нижнего... Лицемерие и неправда озлобили меня... Душа горит! Мстить буду!

Гнутов от волнения еле переводил дух.

— Кому мстить?

— Царицыной неправде!— сказал и испугался.— Не донесете на меня?!

Петр тяжело вздохнул.

— Действуй, как показывает тебе совесть!

. . . . .

О «бывшем лейб-компанье Петре Рыхловском» Сыскной приказ сообщил в Тайную контору, что «онный лейб-компанец держал себя задирчиво с чинами приказа, не как простой офицер, а со значением, и наотрез отказался доставить заплочного мастера в Нижний и поносил начальника Тайной конторы непорядочно, якобы, он высшую при дворе опеку имеет. Сыскным приказом замечено, что онный офицер имеет в себе какую-то задумчивость, а по какой причине — не дознано». Московская Тайная контора послала такую же промеморию в Петербург Александру Шувалову, присовокупив: «Что прикажет делать впоследствии ваша светлость?».

Одновременно Тайная контора послала заплочного мастера в Нижний, а с ним вместе препроводила копию с

этой переписки нижегородскому губернатору князю Друцкому, уведомив о надлежащем наблюдении «за оным лейб-компанцем, устранинным от двора ее величества».

. . . . .

В Москве, расставшись с Гнутовым, Рыхловский нанял лошадей, уселся в сани и велел гнать скорее к заставе, махнув на все рукой. Бог с ней, и с Москвой! Но тут-то и произошло совершенно неожиданное происшествие.

На Неглинной набережной, в тот самый момент, когда Петр усердно крестился направо и налево на попадавшиеся по пути дерквы, готовый с радостью покинуть первостольную столицу, вдруг на его лошадей набросились и повисли на них два каких-то обормота, две наглые тупые рожи. Остановили кибитку и, молча, с ехидными улыбками, сунули Петру в руки бумагу, а в той бумаге вершковыми буквами было написано:

«Ее императорскому величеству известно учипилось, что в Москве многие всяких чинов люди ездят на резвых лошадях и давят и побивают людей; того ради ее императорское величество указала: от Главной полицеймейстерской канцелярии в Москве тем обывателям объявить подписками, чтоб никто в Москве по улицам на резвых лошадях отнюдь не ездил и людям утеснения и убийства не чинил; а ежели кто на таких резвых лошадях ездить будет, тех велеть через полицейские команды ловить, и лошадей и их, взяв, отсылать на конюшню ее величества».

— Пожалуйте, господин поручик, в полицейскую будку...

— Зачем?

— Вещи, принадлежащие вам, вывалить, да вас высадить, и лошадей с отпиской, вместе с вами, направить в Главную полицеймейстерскую канцелярию, дабы свели вы самолично коней на дворцовую конюшню под расписку...

— Я же офицер и послан царицею в Нижний...

— Мы этого не знаем...

— Вот грамота... — в волнении засуетился Петр, доставая из кармана бумагу.

— Прогонные грамоты и деньги, и всякие вещи отбирать не приказано ни у кого, токмо лошадей... Не извольте сердиться... Мы исполняем волю матушки-государыни... Давайте лошадей...

— Но ведь я еду с ведома губернатора и Тайной канцелярии!

— Никакие чины и прежде пожалованные права и почести не должны препятствовать выполнению царских указов.

Рыхловский, изругавшись крепко, велел ямщику ехать дальше. Ямщик ухнул кнутом по коням, свистнул — и остался на месте, как окаменелый. Оказалось, что лошадей под-узды ухватили словно из-под земли выскочившие еще двое таких же бродяг, а двое прежних грозно навели на ямщика пистолеты.

Рыхловский позеленел от злости:

— Прочь, разбойники!

Один из полицейских с морщинистым, пьяно улыбающимся лицом, поклонился низко и сказал:

— За оный разбой нас полицеймейстерская канцелярия по рублю с лошади одаривает... Не откажите и ваша светлость осчастливить нас наградою...

Петр вытащил из кармана монету и бросил ею в пьяного сыщика. Тот кинулся, будто собака на кость, на брошенные ему деньги. Остальные, раздувая ноздри, навалились на него, и началась у них схватка.

Тем временем ямщик хлестнул лошадей, и они помчались что было мочи далее, оставив позади себя царских слуг.

Однако и этим дело не кончилось.

У заставы близ «конторы Камер-коллегии по деланию около Москвы земельного рва», именуемого с той поры «Камер-коллежским», — опять лошадей остановили. Теперь конные драгуны — застава! Чиновник Камер-коллегии, вместе с начальником караула, осмотрели сани, обшарили ямщика: нет ли неявленных товаров, корчемного питья и по какому делу едет он, Рыхловский... Начальник караула осмотрел его подорожную и охранную грамоту, но так как он был малограмотным, то ему все решительно сделалось подозрительным. С великим недоверием он отнесся к каждой букве. Ознакомившись с бумагами, он учинил настоящий допрос:

— Стало быть, вы — офицер?..

— Да. Видите сами.

— Куда держите путь?

— В Нижний. В бумагах писано.

— А зачем?

— Послан дарицей... Да в бумаге и оное указано. Вы ее читали!

— А кто писал бумагу?

Взгляд стал самым подозрительным.

— В канцелярии генерала Шувалова...

— Когда вы были из Санкт-Петербурга?

— И сие в подорожной обозначено.

— А раньше бывали в Нижнем?..

— Родился и вырос там...

— А как же попали в Санкт-Петербург?..

— Служил там...

— Где?

— Во дворце...

— Кем?..

— Начальником караула...

— Почему едете в Нижний?..

— Для усмирения разбойников и бунтовщиков.

— Каких бунтовщиков?

— Мордвы и других.

— Нешто они бунтуют?

— Накануне того.

— Но почему же вы это знаете?..

— Я не обязан вам об этом рапортовать, господин капитан! Больше я не буду отвечать. Не забывайте, что вы и я — офицеры!.. Недостойно так изъясняться нам при низких людях! — с раздражением сказал Петр и стукнул в спину лямбика: «пошел!». Тот хлестнул лошадей, свистнул, и кибитка понеслась через ров прочь от заставы.

### XIII

Весна и богатырский разлив Волги не принесли радости узникам Ивановской башни. Стало еще холоднее в каземате, поползли капли со стен. Липла к одежде, к поручням и цепям гнилая испарина от кирпичей. Казалось, что сырость проникала в кровь, связывала мускулы, леденила мозг.

— Бог дает человеку силу... Бог охраняет его... А если бы не он — может ли человек вынести такую жизнь? — грустно качал головою Залман.

Теперь он молился не только о себе, но и о хиттимах<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Хиттим — христианец.

Кто знает, может быть, тем самым он совершает великий грех? Может быть, за хиттима не следует молиться? Но... не сказано ли в книге Второзакония: «Люби пришельца и дай ему хлеба и ризу»? И у Левита сказано: «Возлюбише его, яко самого себя, ибо и вы пришельцами были в земле Египетской». А в талмуде: «Кто герой? — Превращающий в друга врага своего».

Залман перебрал в своей памяти все, что только знал из священного писания, могущее оправдать его. Постепенно у него крепла уверенность, что он поступает правильно, ибо сам царь Давид и тот не гнушался другими народами, имел их в войсках своих, а Соломон даже употребил значительное число их для построения храма господнего.

— Эх, Гринберг, счастливый ты человек! — вздыхал Штейн, слушая вдумчивые рассуждения старика. — Многие страдают от преизобилия слов, по причине скудости воображения, а ты сгораешь недостатком слов, дабы передать богатство твоего плодородного ума... Мне трудно найти у себя мысль, и еще труднее быть достойным твоим собеседником.

Залман поглядывал на своего соседа с беспокойством... Чтобы утешить его, ласково улыбался:

— Зачем тебе говорить? Не надо! У меня еще есть сила. У меня есть мысли... Пока не растеряю их, пока бог дает мне эти слова, буду говорить. Ты начинаешь ослабевать... Я понимаю тебя. Тело питает пламя разума. Самый преизысканный разум, не пообедав, бывает под вечер весьма плох. Теперь ты мне должен верить. Ненависть приносит зло, а любовь — благо... Я это знаю.

Штейн со вниманием слушал Залмана. Бодрость, вера в будущее и набожность старика действовали успокаивающе. Когда Штейн засыпал, Гринберг начинал усердно молиться, будучи уверенным в благости божьей, и шептал: «Благословен господь, Иегова предвечный! Основной камень и сила — он».

Однако мирным беседам еврея и немца пришел конец.

Однажды немец проснулся от страшной головной боли, трясаясь в великой лихорадке. Башенный тюремщик, по просьбе Гринберга, позвал к больному лекаря... Тот, осмотрев больного, покачал головою, велел снять с него ручные кандалы. И ушел. Штейн лежал красный, вздрагивающий на своей койке, а рядом с ним сидел Гринберг, усердно прикладывая мокрую, холодную тряпку к его голове, Зал-

ману мешали цепи, звенели, беспокоя больного, — он извинялся, досадовал на себя, но ничего поделать с этим не мог.

Теперь окончательно исчезли между ними отчужденность и недоверие друг к другу. Жутко и тяжело стало в башенной темнице обоим.

Штейн в полубреду принимался рассуждать. Он даже мог размахивать без цепей руками во время своих слов. С трудом переводя дыхание, он говорил:

— Царице шелк нужен. Ишь ты! Я знаю... Не сажали бы нас в кандалы, если бы производили мы не меха и не сталь, и не железо, но шелка... Я знаю, я знаю... Торговцы шелком и от пошлины освобождены... Полюбила их царица... Шляпные фабриканты тоже... Да! Поощрение видим фабрикам, кои украшают, приумножая роскошь и моды, насаждая порчу, а не тем, кои кормят, тепло одевают, дают жилища... Все то ныне в изрядном забвении. Нет ныне в России правителя, коему была бы дорога промышленность железная и стальная... но государство нуждается в этом.

Залман, слушая Штейна, думал: «Когда пастух сердится на свое стадо, он дает ему в предводители слепого барана, так и царица!».

Штейн говорил медленно, однообразно, временами останавливался, задыхаясь от волнения, кашляя и с трудом дыша простуженным горлом. Голубые глаза его, скорбные, усталые, смотрели в сырой потолок неподвижно. Гринбергу жаль стало своего товарища. Желая успокоить его, он сказал с усмешкой:

— Кто же знал это?! Никто не знал... И железник и меховщик тоже трудятся, работают, и не могут же они, сидя в каземате, шляпы царице делать?... Дела везде много всякого, и всякий маленький человек не зря живет... Великий муж еврейского народа, Моисей, не воспрещая ни торговли, ни художеств, был уверен, что они суть необходимое последствие земледелия. Он указал еврейскому народу на него, как на первейшее художество. Вначале цари нашего народа были земледельцами и пастырями, и даже до рассеяния своего евреи не переставали оказывать предпочтение сельским занятиям, но где ты теперь увидишь евреев земледельцев или пасущих стада свои? И не потому ли того мы не видим, что у евреев земли нигде нет и не дают им жить в деревнях начальники государств?! Что же делать?! Сильнее силы не будешь...



Ему казалось, что Штейн с ним во всем согласен. Немец, слушая его, уснул. И слава богу! Сон для больного — самое главное. Пока больной спал, Гринберг снял со своей койки войлок, решив, когда Штейн проснется, подложить войлок под него, чтобы было ему мягче. Сам лег на голых досках.

С наступлением весеннего времени, в казематы Ивановской башни не стали давать свечей, дабы сократить расходы по содержанию арестованных. Залман упросил караульного снять кандалы с больного, давать свечи попрежнему, так как больной по ночам не спит и за ним нужен уход. Явился лекарь, молча осмотрел Штейна.

Залман обрадованно раскланялся: «Спасибо господину лекарю! Какой же он преступник? Штейн не вор и не убийца, помилуй бог!». Лекарь посмотрел на еврея равнодушно и, ничего не ответив, порывисто вышел из каземата.

Цепи с больного сняли, свечи выдали, и два раза лекарь осматривал Штейна. Залман остался всем этим вполне доволен.

Штейн стал поправляться.

— Спасибо, Гринберг!.. — сказал он однажды. — Ты выказал истинную дружбу, добродетель и бескорыстие, которые не часто встречаются в наш век... Теперь я выздоравливаю, и никогда я не забуду, что ты сделал мне добро.

Разве мог Гринберг не ответить на эти слова Штейна? Разве мог он вообще теперь мало говорить, когда его друг, его сосед, начал выздоравливать?!

Залман уверял Штейна, что не он, Гринберг, причина его выздоровления, а бог, сотворивший вселенную своим всемогуществом. Все от него происходит и все к нему обратно возвращается.

О боге Гринберг мог говорить бесконечно. Так это было и на этот раз, но вдруг закрипели замки снаружи, раздались голоса тюремщиков, и дверь в каземат отворилась. Произошло все так быстро и неожиданно! Гринберг не успел подняться с койки, как конвойные солдаты стащили его на пол и поволокли за дверь.

. . . . .

Штейн с нетерпением ждал возвращения Гринберга. Просидеть несколько часов в полном одиночестве ему было уже не под силу. Пустая койка еврея наводила на мрачные мысли. Чтобы занять себя, он вытащил войлок, который Залман отдал ему во время его болезни, и снова постелил

его на койку Залмана. Он убрал его постель с большой заботливостью.

Штейну было сорок четыре года, Залману шестьдесят четыре: старик относился к нему, как к сыну, а Штейн почитал его теперь, как старшего, как отца. Гринберг рассказывал ему много печального из своей скитальческой жизни: как ушел он пятнадцать лет тому назад со своей женой и двумя малыми детьми из Стародубья, спасаясь от жестокостей польских панов, ушел с толпою переселенцев, раскольников, которым было разрешено вернуться в родные места. Дорогою у него умерла жена, оставив ему двух малюток. Они выросли в Нижнем. Малютка Рахиль и маленький Рувим стали большими. И теперь старик в унылом недоумении часто спрашивал кого-то, глядя в окно, на мутное небо: «Зачем, зачем я их растил?».

В ожидании товарища Штейн начинал серьезно волноваться. Теперь ему казалось нелепым то, что раньше он презирал старика Гринберга. Он уже не видит в нем еврея. Теперь для него Гринберг был только человек, только человек!

В самом деле: сошлись они здесь случайно, и оба люди разной веры и разных понятий, и вот оба сроднились душой, и одному без другого страшно оставаться.

Штейн влез на подоконник, заглянул в окно. По кремлевскому съезду под конвоем солдат возвращалась толпа связанных друг с другом колодников. Полураздетые, грязные, многие — босые, опутанные цепями и веревками, глухо шлепали они по талому снегу; сержант покрикивал на них, размахивал тростью. Каждый день ходили они так по улицам, по обывательским домам, по кабакам, по церквам и по торговым рядам, уныло выпрашивая подаяние. Деньги у них тут же отбирал унтер-офицер и сдавал тюремному казначею на содержание колодников. Недавно были слышны выстрелы и крики: колодники, уличив унтер-офицера в воровстве, набросились на него и хотели убить, но команда солдат отбила его у взбунтовавшихся арестантов и застрелила тут же троих зачинщиков.

Штейн перевел усталый взгляд на Волгу, туда, поверх зубчатой стены кремля. Какая огромная черная Волга! Какой страшный гул ледохода! Порывистые ветры из За-волжья гнут деревья на берегу, вспугивая полчища птиц. По соседству с башней дребезжал колокол. Надвигался вечер, но Гринберга все еще не было,

Когда Штейн, обессиленный, разбитый нравственно, лег к себе на койку, чтобы забыться и не думать больше о Залмане, — на лестнице в башне послышалось шарканье многих ног, говор людей, и, наконец, заскрипели ржавые замки. Дверь отворилась. Штейн поднялся, но в полумраке не смог сразу разобрать, в чем дело. Много солдат: что-то несут тяжелое, пыхтя и переругиваясь. Зажгли огонь. При свете Штейн увидел, что внесли в каземат и положили на койку Залмана.

— Стереги его, немчин проклятый, дабы не убежал! — произнес начальник тюремной стражи, белокрысы сержант.

Ушли.

Штейн нагнулся над Залманом — от него пахло гарью. Приложил ухо к его груди: еле-еле слышно биение сердца. Он тихо потрогал еврея за плечо:

— Гринберг! Залман! Что с тобою?

Немцу вспомнились обычные слова Гринберга: «Благословен бог Иегова предвечный! Он заботится о нас: не кто иной, как он, дает нам сил и здоровья!».

Ответа Штейну не было.

— Что же ты молчишь?

Штейну становилось страшно. Он взял холодную руку Залмана и стал греть ее своими ладонями. Потом попробовал поручни — нельзя ли их разомкнуть. Железо не поддавалось. Штейн положил руку на мокрую, со слипшимися волосами, голову Залмана, встав на колено:

— Гринберг!.. Залман! Проснись!

На своей руке Штейн увидел кровь.

Теперь он понял все. Он омочил водою тряпку и принялся прикладывать ее к голове старика. Время от времени он называл Гринберга по имени, в надежде, что тот откашляется, но Гринберг молчал.

Всю ночь не сомкнул глаз Штейн, прислушиваясь к тихому порывистому дыханию товарища. Утром, на рассвете, Залман застонал. Штейн подошел к нему.

— Гринберг... Это я!

Старик открыл глаза. Но разве можно было узнать эти глаза?! Маленькие, мутные, окруженные опухолью, они были неподвижны. Залман хотел что-то сказать — язык не подчинился. Тогда он сдвинул с себя тряпье и обнажил свой живот. Штейн вздрогнул от испуга. Лидо его сначала побледнело, затем стало багровым. Худое тело старика

было изрыто ранами и синими опухольями. В одном месте проглядывала кость ребра.

От злобы к мучителям Штейн заскрежетал зубами. Старик прошептал:

— Благословен бог... Иег... вечный...

И снова впал в беспамятство. Штейн стал на колени, обнял старика и не выдержал... зарыдал...

Тюремщик принес еду. Штейн потребовал лекаря. Тюремщик глупо засмеялся. Через некоторое время лекарь все же явился. Штейн попросил его снять с больного кандалы; лекарь равнодушно взглянул на свободные руки Штейна, которыми тот горячо размахивал, возмущаясь тюремными истязательствами, и ушел.

Через некоторое время вошел караульный, надел Штейну ручные кандалы и скрылся. Штейн стал барабанить в железную дверь и, насколько хватало сил, во весь голос кричать:

— Иуды! Псы! Чтоб вам поколеть всем! Чтоб вас...

Долго кричал немец, а Гринберг потухающим взглядом следил за ним. Штейн обессилел от крика и от ударов в дверь. Медленно, пошатываясь, побрел он к себе в угол, но увидел, что еврей кивает ему головой, как бы подзывая к себе. Подошел. Гринберг еще раз кивнул ему, как бы делая знак, чтобы тот склонился пониже. Еле слышно старик простонал. Штейн, приблизившись к лицу Залмана, смог разобрать только одно слово: «Рахиль!».

После этого Залман беспокойным взглядом обвел комнату, отыскивая кого-то. Дыхание его становилось все учащее, грудь высоко вздымалась.

«Умирает!» — мелькнуло в голове Штейна. Он заметался по каземату. Холод охватил его, холод страшной, нечеловеческой тоски.

«Залман умирает?!» — и Штейн принялся неистово барабанить в дверь.

Молчание за дверями ожесточало его, но камни были глухи. Штейн сыпал проклятия всем, всем, и если бы была возможность, он собственными руками передушил бы тех, кто доставлял столько мучений ему и Гринбергу: «Свиньи! Дикие свиньи!» — вопил он с пеной у рта, колотясь всем телом о дверь.

Он вскочил на каменный выступ у окон, выбил стекла и, прильнув к тюремной решетке, в ужасе закричал:

— Залман умира-а-ает!..

Гринберг широко открытыми глазами со страдальческим вниманием смотрел на Штейна. Штейну казалось, что он понял взгляд Гринберга, и поэтому, низко склонившись над евреем, он произнес громко и твердо:

— О детях не думай... Не надо... Я буду...

Дальше он не мог говорить. На губах старика появилась едва заметная улыбка.

Опять загремел замок, опять говор людей и шарканье сапожниками. Штейн обрадовался: его, наконец, услышали.

В каземат вошел тюремный унтер, а с ним лекарь и поп. Позади них солдаты. Поп перекрестился и смиренно отвесил поклоны Штейну и Гринбергу, сказав:

— Бог вас спасет, узники!

Лекарь ощупал грудь Залмана, выслушал сердце, покачал головой: «Помирает».

Штейн ухватил его за руку.

— Молчите, шут!

Унтер грубо оттолкнул немца.

В это время к умирающему подошли два солдата и тюремный поп, который достал из-под своего балахона большой крест и евангелие и скороговоркой стал читать отходную Залману. Затем перекрестил его и достал из кармана привязанный на веревку нательный крест. Солдаты приподняли Гринберга... Поп намеревался накинуть петлю с крестом на его шею. Вдруг Штейн сорвался с своего места и, оттолкнув попа, пронзительно выкрикнул:

— Прочь, негодяй! Прочь!

Унтер и солдаты навалились на Штейна, сбили его с ног и стали изо всей мочи колотить кулаками, а поп тем временем торопливо надел на Залмана крест.

. . . . .

Утром тюремный поп донес епископу: «Колодник Захар Гринберг умре по-христиански».

## XIV

Колокольный благовест. Петр высунулся из кибитки. Виднеются домишки на горах, мельницы и церкви.

Нижний!

Трудно примириться с тем, что лошади плетутся почти шагом. Кибитка идет — не идет. Полозья, опускаясь в лужи,

неприятно растирают оголившийся суглинок, цепляются за земляные бугорки. Петр нетерпеливо тычет ямщика в спину — толку от этого мало! Хлестнет лошадь, она рванется вперед — тем дело и кончается.

Когда поровнялись с выселками, поднялся неистовый собачий лай. Псы рвутся с цепей, так и набрасываются, а некоторые и вовсе вылетели на дорогу, хватая лошадей за ноги... Совсем одичали тут!

Петр нащупал пистолет. Опротивел ему этот ужасный, непрерывно провожающий его от Питера и до Нижнего, песий лай. Он продолжал звучать в ушах даже на перегонах, там, где никаких и псов-то не было.

По сторонам домишки, пустынные поля, одинокие деревья и низко нависшее величавое весеннее небо, уходящее вдаль, за покрытую мраком Волгу. Пустынно кругом, безлюдно.

Кибитка въезжала в город.

Итак,— Нижний, родные места, служба в расквартированном здесь Олонецком драгунском полку, тихая одинокая жизнь провинциала. «Господь с ними, и с придворными красавицами, не имеющими права превышать своею красотою царицу и наипаче — обольщать кого-либо из ее любовников. Бог с ними, и со старухами, тихими и набожными смелницами и сводницами, сторожащими дворцовую нравственность и тщетно оберегающими девическую честь императрицы! Долой лезть, лицемерие и вероломство! В Нижнем этого не будет. Слава в вышних богу и на земле мир!» — думал Рыхловский, крестясь на видневшиеся невдалеке церкви.

— На Почайну! — скомандовал он ямщику; сам, откинувшись на спину, стал обдумывать: какие дела предстоят в Нижнем. Первым долгом надо передать Друзкому две промемории: одну — начальника Тайной канцелярии, другую — канцлера Бестужева, затем представиться командиру Олонецкого полка, передать назначение на службу командиром эскадрона — в чине ротмистра. Из офицера-то дворцовой гвардии, из телохранителей царицы да на положение армейского ротмистра! Дальше надо было двинуться на избитые терюшевской мордвы... Увы, за время переезда воинственный пыл у Петра понемногу ослаб. Эта нелепая война с безоружными язычниками стала казаться теперь просто оскорбительной. Это — после того, как он воевал с храбрыми шведами и получил серебряную с золотом

саблю, отбитую у неприятеля! И неужели для того он ее получил, чтобы рубить ею безоружную мордву? Позор!

Кибитка запрыгала по уличным колдобинам, направляясь к родному дому Петра Рыхловского. Вот уже чернеют в сумраке и вишневые сады, заполонившие улиду, и склоны оврага, где некогда мальчишкой Петр гонялся за синидами и лакоился сочной ароматной вишней. А там вдали Волга, Волга!..

Приехал.

В ответ на стук, за дверью послышался хорошо знакомый голос Марьи Тимофеевны.

— Это я, Петр!

Произошла непонятная суматоха за дверью. Петру показалось, что, кроме старушки, в доме находится кто-то еще, видимо, женщина. Ему послышались два женских голоса. Но, может быть, это только так послышалось?

— Скорее же! Отворяйте!

Марья Тимофеевна прятала у себя скрывавшуюся у нее от губернаторских сыщиков Рахиль. Но это ей не удалось. Петр после приветственных объятий и поцелуев отправился в чулан, чтобы сложить там свои дорожные вещи, и здесь-то неожиданно для себя он обнаружил присутствие неизвестной ему девушки.

— Марья Тимофеевна! — крикнул Петр. — Кто это тут?!

Из горницы вышла тетка Марья и дрожащим от испуга голосом проговорила:

— Прости, батюшка!.. Сиротка она. Прости уж ты меня...

Старушка тряслась от испуга.

— Пускай не боится! Успокой ее, Марья Тимофеевна, да и сама — чего ты?!

Поставил свои вещи в сених и, войдя опять во внутренние покои, крепко обнял и поцеловал старушку. Сняв камзол и оставшись в фуфайке, сел в кресло, чтобы отдохнуть после долгого пути. Появилась и Рахиль, которую подталкивала тетка Марья. Бледное лицо девушки выражало испуг.

Петр приветливо улыбнулся: его поразила красота девушки.

— Не бойся меня! Я не зверь, и ничего тебе плохого не сделаю! Садись, пожалуйста, поздравь меня с приездом.

— Садись, милая, садись... — ободрила ее Марья Тимофеевна.

— Как тебя зовут?

— Рахиль.

Девушка недоверчиво смотрела широко открытыми прекрасными черными глазами на Петра, и вдруг опустила пышные ресницы, зардевшись румянцем.

— Дочка она будет покойного здешнего меховщика... В заточении, в башне, он умер. И ее хотят посадить в темницу — вот она у нас и хоронится. Прости уж меня, батюшка.

— Я завтра уйду! Дайте только переночевать! — тихо сказала девушка.

— Куда ты уйдешь? — удивленно спросил Петр.

Девушка промолчала. Ей трудно было говорить — душили слезы.

— За что же твоего отца?..

— Он еврей...

Петр насунился. Ему вспомнился его друг Грюнштейн и травля его в дворцовых кругах. Вообще все стало понятно.

Он перешел на другое:

— Ну, а как поживает мой отец? Он в усадьбе?

Старушка вдруг онемела. Больше всего она боялась услышать от него этот вопрос. Она помотала головой, приложила к глазам полотенце, перекинутое через плечо, но ответить так ничего и не ответила, сделав знак рукою Рахили.

— Умер он... убит! — сказала за нее девушка.

— Что?! Отец убит?! Может ли быть? Марья Тимофеевна? — схватил он старушку за руку, побледнев. — Да говорите же!

Старушка кивнула утвердительно и заплакала.

Петр опустил перед иконами на колени и помолился. После этого, не расспрашивая о подробностях, ушел в отцовскую комнату, заперся там и просидел в мрачном раздумьи всю ночь. Вспомнил мать, свое детство, свой отъезд на военную службу, а дальше... Э-эх-ма! Стоит ли мучить себя воспоминаниями?

«Мужественным будет тот, — думал он, — кто стоит выше радостей и горя, а солдату — к лицу ли падать духом?!»

. . . . .

Марья Тимофеевна и Рахиль притаились в соседней комнате, со страхом прислушиваясь к тяжелым шагам Петра Филипповича.



— Не надо было говорить...— прошептала старушка.  
— Но ведь он сам спросил... Как же нам не ответить?!— возразила ей девушка.

Тут старушка не удержалась, чтобы не открыть девушке тайну.

— Напрасно он, бедненький, убивается. Ведь Филипп Павлович ему не отец. Степанидушка согрешила с другим.

Рахиль пришла в ужас, закрыла лицо руками.

— Кругом горе, Рахиль! Куда ни взглянешь — везде оно.

. . . . .

Петр не любил Филиппа Павловича. С самого раннего детства он был свидетелем постоянных ссор между ним и матерью; и всегда ему было жаль мать. Он был убежден, что она права, а он неправ. Не нравилось ему и то, что он был жаден к деньгам и жесток с людьми.

Это помогло Петру отнестись к известию о его смерти мужественно. Он пошел в Преображенский собор в кремле и отслужил панихиду о «рабе Филиппе и рабе Степаниде», но и это делал как-то больше из чувства долга, чем по велению сердца. Молодость брала верх. Слушая заупокойные стихиры, он думал о новой службе, о губернаторе, о полковом командире, о своей вотчине, о походе на мордву... Голова мутилась от забот. Жаль и эту девушку! Как с ней быть? Может ли он долго скрывать ее у себя? Конечно, нет! Ведь, это же с его стороны преступление! А если узнают власти?

После панихиды Петр и Марья Тимофеевна сели на скамью в кремлевском саду и повели разговор о Филиппе Павловиче.

Марья Тимофеевна не могла удержаться от того, чтобы не осудить покойного за его жестокий нрав, вспомнила о тех притеснениях, которые она испытала от него.

— На хлеб не давал мне ни полушки, а чем было жить? Скуп и даже до крайности был, покойник, Бог с ним! Выгонял меня не раз из дома. Осрамил передо всеми.— Старушка всхлинула.— Не хотела я тебе говорить, да уж все равно... Все равно мне скоро умирать...

И вдруг она прошептала:

— Иван Макеев... Пьяный был у меня тут... Духовник он покойной твоей матушки... Плакал он. Каялся...

— В чем? — поинтересовался Петр.

— Боюсь, и ты выгонишь меня, сироту!.. Разгневаешься на меня. Господи! Прости ты меня, батюшка, грешную!..

— Да говори же — в чем дело?

Старуха прошептала в ухо Петру:

— Не своею, ведь, смертью скончалась твоя матушка..

Старушка заколотилась в беззвучном рыдании. Седые волосы ее растрепались, лицо сморщилось еще больше, покраснело. Дождавшись, когда она немного успокоилась, он снова сказал:

— Говори, не бойся!.. Я не отец! Только благодарность мою заслужишь.

При слове «отец» старушка вдруг, как бы очнувшись, глядя мутными глазами на Петра, сказала, что Степаниду уморил сам Филипп Павлович со своею домоправительницею Феоктистой. А уморил за то, что отец Иван, ее духовник, донес ему все, в чем она каялась ему на исповеди.

— В чем же она каялась? Ну, ну, говори! — торопил старушку окончательно потерявший самообладание Петр Филиппович.

— Она грешила... Грешила с другим... О, господи! И зачем только я сказала тебе... Глупая!

— Дальше! Дальше!

— И что ты, бабюшка, Петр Филиппович... сынок-то ты не его, а чужой...

Задыхаясь от волнения, он встал со скамьи и вышел на улицу, пошел на набережную и долго бродил он в самом мрачном состоянии духа. Временами ему казалось, что он сходит с ума.

. . . . .

С больною головою, разбитый и опустошенный, поднялся Петр на следующее утро. Первое, что ему бросилось в глаза,—приказ по Олонецкому драгунскому полку, куда он был прикомандирован.

«По вся утра и вечера, по пробитии зорь,—гласил приказ,— по силе военного артикула, ротным командирам переключку своим ротам поименно чинить и репортовать, яко же и ночью, трем дюзорам по всем квартирам в ротах ходить, осматривать— все ли на квартирах: а по одному офицеру в каждой роте в ночь объезжать всю роту и смотреть— все ли на квартирах ночуют, токмо не в одни часы, дабы солдатство не могли те часы знать, и обо всем ре-

портовать полковым командирам, а им по команде ко мне повседневно...»

Дело в том, что солдаты местного гарнизона стали слишком своевольничать и разбегаться, а потому военное начальство и разослало свой строгий приказ всем владельцам домов, как по Нижнему, так и по Кунавинцу, дабы посадские люди знали военные порядки, коим обязан подчиняться солдат, и чтобы никто не прикрывал после переклички ушедших со своего квартирного поста солдат.

— Проходу не дают, домовые!—ворчала старушка.— Денег кланчут... К бабам и девицам лезут... Господь бы бог избавил от них... Милостивый батюшка, когда же порядок-то будет у нас?

Вечером Петр, скрепя сердце, пошел к Друцкому. В губернаторском доме гремел хохот, слышались голоса многих людей. Петр сказал ординарцу о себе. Тот исчез, а вскоре из губернаторских покоев вышел, слегка пошатываясь, высокий сутулый человек в военном мундире.

— Ага, явился... Целуй меня!

Петр чмокнул незнакомца в щетинистую ланиту, догадавшись, что перед ним сам нижегородский губернатор, князь Даниил Андреевич Друцкой.

— Раздевайся, и за мной! Пришел в самый раз.

К Петру подскочил ординарец, стащил с него шинель.

— Получена о тебе промемория... Радуюсь и веселюсь, встречая столь знатную особу.

Петр промолчал. Между тем, Друцкой, вводя его в просторную палату, наполненную множеством гостей, нараспев провозгласил:

— Прилетела вольна пташечка  
Из-за моря, моря синего!  
Петр Филиппович прозывается,  
Сын Рыхловского!

Говорит, а сам приседает в такт с бедовою улыбкою. Затем, указав на Петра с нарочитою церемонией, он поклонился гостям, сделав изысканный поклон, и сказал:

— Итак, приемлю смелость, мои господа, покорнейше просить вас любить и жаловать сего дорогого гостя, прибывшего к нам из великолепной столицы с берегов Невы для учинения многих преславных баталий... Понеже сие — государынино веление, — предоставим ему лучший рацион за нашей трапезой и наиболее парадное место за столом нашим.

Все поочередно подошли к Петру и низко ему поклонились со словами: «Добро пожаловать!».

— По сему случаю произнесем же хвалу всему воинству ее императорского величества. Отец Кондратий!..

Все наполнили свои чарки. Петр увидел поднявшегося из-за стола длинного, белобрысого монаха, сонного, будто он только что проснулся. Мутными глазами он обвел присутствующих и уныло, однообразно забасил:

— Царь Давид вопрошал единожды—доколе грешницы восхвалятся—и затем духом пророческим рассудил: по лукавствию их погубит господь бог...

Все поочереды тоже поднялись со своих мест, держа в руке чарку.

— ...бог карает людей...—тянул монах—кои, будучи сильными, непобедимыми, хвалятся в упоении собой...

Все переглянулись. Дружкой надулся, слушая его, и вдруг сказал грубо:

— Благодарствую, отец Кондратий! Не тем сподобил еси нас! Слушайте же, господа! Восхотим счастливого царствования и здравия всепресветлейшей державнейшей государыне нашей и самодержице всея России Елизавете Петровне на многие времена! И пожелаем доблестной непобедимости российскому воинству в ратных подвигах во славу отечества во вся часы и минуты... Искреннейше и всеподданнейше изопьем сию чарку за всеобщее отечества благоденствие—до дна!

Отец Кондратий был так смущен своей отставкой, что не успел даже наполнить себе чарку, а посему и пригубил ее пустую.

Петр вспомнил, при взгляде на всю эту пеструю компанию, прочитанные им недавно стихи одного пииты:

Развратных молодцов испорченный здесь век.

Кто хочет защищать его—тот скот, не человек.

Он стал разглядывать сидевших за столом людей. Вот—плешивый, воплощение подбострастия, приказный, сидящий напротив. Рядом с ним два попа—две унылые бородатые тихони, уставившиеся бессмысленными взглядами в чашу с капустой. Они были очень схожи между собой: оба нечесанные, красноносые и неопрятно одетые. Трое каких-то посадских все время заглядывали в рот губернатору, стоило ему начать говорить. Они краснели, отдувались, беспокойно ерзая на скамье. Плечо к плечу с губер-

натором — начальник тюрьмы, синий, жилистый человек с надменным взглядом и с невероятно оттопыренными губами. Его лицо под взъерошенным париком весьма походило на морду ежа, выглядывающую из-под шапки колючек.

Губернатор познакомил Петра с двумя полковыми командирами. Один — Олонецкого, другой — Владимирского драгунских полков.

— Вот ваше начальство! — указал Друцкой на командира Олонецкого полка — полного румяного старика, встретившего Петра довольно-таки неприязненным взглядом.

— Отрадно видеть таких воинов в своих эскадронах... Прошу любить и жаловать... — проговорил он сухо, своим притворством напоминив Петру старичка в желтом камзоле (из Сысского приказа).

— Россия оружием своим, отличною храбростью, неустрашимостью и мужеством сынов своих приобрела всеобщее уважение и славу, — сказал Друцкой. — Посмотрите на одного офицера! Нельзя не видеть, до какой высшей степени совершенства доведены войско и весь состав военной службы у нас.

Седой полковник оглядел Петра с ног до головы прищуренными глазами, с усмешкой на губах.

— Благоволите завтра явиться в полк для надлежащей репортации! — сказал он.

Друцкой, подав полковнику бокал, рассмеялся:

— Вознаградим урон потерянных минут. — И налил всем близ сидящим гостям также по чарке вина, в том числе и Рыжовскому.

Остальные, увидев это, поспешно налили себе вина сами. Оживились и священнослужители.

Князь Друцкой подошел к Петру и сказал, улыбаясь:

— Философ Зенон, присутствуя на одном пиру, был спрошен птолемеями послами: не передаст ли он чего их царю? Он ответил: «Скажите ему, что вы нашли человека, который умеет молчать». Я думаю — если бы послы Птолемея обратились с подобным вопросом к вам — пришлось бы вам ответить оное же.

После этого он выразил свое сожаление по поводу смерти Филиппа Павловича, назвав его «достоинейшим сыном отечества». Петр спросил его о подробностях убийства. Губернатор по секрету сказал: «Баба погубила. Мордовка. Разбойница!».

Подали ужин. Один из попов стал рассказывать о том, как молится мордва христианскому богу.

— Для домашнего моления господу богу оная мордва приобретает образа со многими ликами святых, и не смущается она тем, что лики тех святых за многочисленностью — мелки и неразборчивы. Одно ее обольщает — обилие ликов, дабы единою свечою можно было бы сразу озарить наибольшее число небесных святителей, во избежание излишней траты денег на свечи. При этом мордовский богомолец стремится и свой собственный лик к самой свече пододвинуть, считая, что освещенный лик виднее господу богу, нежели лик, обретающийся во мраке.

Губернатор покатывался со смеха. Гости ему вторили.

— У меня в приходе мордва молится и по-русски и по-мордовски. Нашему богу — по-русски, своим — по-мордовски. Я спросил их — зачем они так делают? Они ответили: «А так будет надежнее, отёд: ежели до вашего бога не дойдет, то дойдет до нашего, а ежели не дойдет до нашего, то дойдет до вашего...».

Опять взрыв пьяного хохота.

Дружкой искося посмотрел на Петра. Письмо от Шувалова, переданное ему самим же поручиком, говорило о том, чтобы губернатор следил за этим офицером, особенно за его разговорами о дворце и царице. Утром прибыл в Нижний заплочный мастер из московского Сыскаго приказа для обучения нижегородских малоопытных палачей. Он привез с собой также и секретный пакет, в котором сообщалось о неблагонадежном поведении Рыхловского в Москве. Губернатор уже знал, что делать.

Повернувшись лицом к Рыхловскому, он повел речь о крестьянстве, ругая мужиков за невежество и нерадивость к труду. Упомянул о каком-то бунте под Алатырем. Будто бы он «раздавил сей бунт в трое суток». Рассказав об этом, он спросил Петра: не пришлось ли ему столкнуться дорогою с хамским отродьем, с мужичьем?

Петр ответил:

— Проехал я много деревень и селений. И не согласен я, что народ, погруженный в крайнее невежество, не различим от бессловесных скотов. Это — совершенная ложь. Остроумием и находчивым разумом бог не обидел простой народ. Вот взгляните... — Петр вынул из кармана «прошение в небесную канцелярию» и положил на стол. — Это писание, подсунутое мне тайно в карман моей шинели.

ли на постоялом дворе двумя беглыми мужиками, коих я считал эстонцами...

Дружкой прочитал листок и задумался:

— Плохо, когда мужик смеется... Губернатору ли не знаком этот смех?! Видел я однажды на дыбе смеющегося мужика... Я хотел на него крикнуть, но у меня язык отнялся. Страшно! Моим повелением его сняли с дыбы... Спрошенный—чему он смеется, он ответил: «Забьете меня, кто же моему господину оброк заплатит?».—«Так чего же тут смешного?».—«А то, что, бия мужика,—сказал он,—вы его в долг вводите. Когда же мы с вами расплатимся-то?!».—Тут мужик замолчал. Я велел его опять вздернуть на дыбу, но так и не добились мы от него, что обозначает сказанное им. Дворяне, священство, посадские люди смеются—это одно, а мужик смеется—другое.

Губернатор насупился. Он заявил Рыхловскому:

— На тебя, друг мой, великая надежда. В губернии неспокойно. Уничтожь разбойников всех до единого, а у мордвы захвати зачинщиков... Епископ Сеченов отправляется в те места, в Оранский монастырь... Ты должен действовать с ним заодно.

Губернатор очень ругал терюханина Несмеянку Криво-ва. Отзывался о нем, как о главном зачинщике.

— Если к тому будет удобный случай, арестуй его и в кандалах отошли в Нижний, в мое распоряжение... Мы его тут обласкаем. Несмеянка—скрытый вор, хам, снедаемый муками честолубия и возомнивший о борьбе с властью российской короны... Упорен и коварен он до безумия... Так донесли о нем мои сыщики.

Пока шла беседа между Дружким, двумя полковниками и Рыхловским,—губернаторские гости уже давно перепились. И кое-кто тайком утек из-за стола домой. Другие тут же, за столом, и уснули.

Петр вышел из кремля на площадь в глубокую полночь. После душной, пропитанной табаком и винными парами губернаторской палаты, на воле он почувствовал себя много бодрее и свежее. С площади он не пошел домой, а решил немного побродить по берегу.

Таяли звезды над Волгой, чуть мерцали бурлацкие костры близ воды. У Петра на душе был неприятный осадок от первого знакомства с нижегородским начальством.

Над лесами Заволжья брезжил рассвет.

По дороге домой, на Почайну, чтобы не увязнуть в грязи, Петру приходилось то и дело придерживаться за изгороди палисадников, лепившихся около маленьких деревянных домишек, прыгать через лужи, рискуя временами скатиться вниз, в глубокие прибрежные овраги. Но чем ближе подходил он к дому, тем больше его тянуло туда. Его печали как-то утратили свою остроту. И все оттого, что в доме у него поселилась эта девушка. Он не мог скрыть от себя этого и не хотел...

## XV

В келье настоятеля Оранского монастыря, отца Феодорита, было тихо и чисто. В углах—иконы, на стенах—клубуки, епитрахили, плети, батоги, розги, шелепы, цепи. Оторвавшись от своего писания, игумен глядел в окно восхищенно.

Не более как с неделю появились зеленые почки на березах. Стало веселее на душе. Приятно пахло талою землею из лесов. Зашмыгали в прутьях синицы, горихвостки, зорянки. Их чириканье и песни радовали слух.

«О, светило небесное! В своей красе превыше ты всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не токмо в веке сем, но и в грядущем!..» — причитывал про себя отец Феодорит, сокрушенно вздыхая.

И невольно приходили ему в голову мысли, что недаром язычники поклоняются солнцу, стихиям и деревьям и устраивают моляны на воле, среди березовых и дубовых рощ, и недаром заклинания свои бросают они в небесную высь. Ему уже начало казаться теперь, что православие много теряет от того, что богослужение проходит под тяжелыми серыми сводами, в духоте и унынии, а не в лесах и рощах.

«Однако нам ли хулить наши догматы?»—спохватился архимандрит, отгоняя от себя крестным знаменiem «грешное суетумудрие».

До красоты ли земной теперь, когда от нижегородского епископа Сеченова пришло приказание ему, отцу Феодориту, составить описание всех чудес, совершившихся у иконы Владимирской божьей матери во вся времена—от лет основания обители и до последнего дня?!



«Милосердый боже! — думает про себя Феодорит, — подай милость и помощь своего единомудрейшего духа на обе стороны, дабы добросердечному читателю моего труда в чудеса уверовати и епископу мудрому угодити!»

Дело не весьма легкое — облечь в кружева божественных речений, в узоры убедительной летописи все те рассказы и слухи, которые родились некогда в стенах монастыря для утешения народа. Своим умом, своими руками справится ли мужик с голодом, с мором, с болезнями и многими несчастиями? А если не справится — кто тогда ему поможет: царь? дворяне? начальство? Но не они ли тянут с мужика и последнее? И не они ли бегут от мужика, отгораживаются от него заставами в то время, как деревни охвачены мором? И не они ли перестают кормить заболевшего крестьянина, лишая его своего внимания, как неспособного работать на них?

«Кроме нас — кто же утешит подлый люд?! — думает Феодорит. — Кто успокоит его? Кто примирит его с горькою судьбиною?!»

Чудеса показывают — якобы выше царя, выше дворян, выше начальства есть невидимая, недосягаемая уму человеческому сила, которая приходит на помощь мужику в минуту горечи и опасности. Таким образом, смерд будет знать, что он не совсем одинок, что кто-то и где-то о нем заботится, оберегает его.

Чудеса примиряют несчастных с их тяжелою долею, обнадеживают. А теперь, тем более, необходимо о них говорить, писать, ибо епископ Димитрий прислал в Оранский монастырь секретнейшую промеморию, уведомляя, что в скором времени церковь должна двинуться в поход на языческую мордву и что описание чудес надо составить как можно скорее, немедленно размножить и раздать по всем селам и деревням, где проживают новокрестьяне и языческая мордва, а также и русские крестьяне.

Языческая мордва — постоянное препятствие на пути у монастыря и у дворян. Другим богам молятся и по-другому пользу монастырскую и вотчинную понимают. Надо, чтобы все одному богу молились и одинаково покорно следовали христианским заповедям. Сие для всех удобнее.

Что солнце?! Что весна и зелень берез, рассаженных ровными рядами перед окнами келий? Может ли быть радостная жизнь и покой у братии Оранского монастыря, когда под боком живут язычники, ненавидящие иноков,

угрожающие им смертью и пожарами и к тому же — укрывающие у себя разбойников и беглых, незнаемых людей?

Чудо первое (едва перо не сломал, — так, под приливом усердия, налег на него отец Феодорит). «В лето от сотворения мира 7143—1635 год от рождества христова бысть чудо на освящении церкви пресвятой богородицы Владимирския. Нижнего Новгорода девичьего монастыря Зачатия пресвятые богородицы монахиня, именем Венедикта, болезнова сердечною болезнию двадцать шесть лет, моляся богородице, здрава бысть и иде в монастырь свой, радуясь»...

О втором чуде пришлось весьма и весьма подумать. Как на грех, вся летопись чудес чудотворной иконы из головы вдруг куда-то вылетела. Феодорит подошел к шкафу красный, расстроенный, и выпил кружку хмельной браги.

Усевшись снова на свое место и взяв решительно громадное гусиное перо, он опять почувствовал, что зря напрягается, утруждая свой ум, — чудеса, о которых он был слышан, окончательно исчезли из памяти и не за что ухватиться. В таких случаях затора в течении мыслей он призывал к себе на помощь своего расторопного казначея, перомонаха Сергия, бойкого и «зело хитрого» старика.

Явившийся на зов настоятеля отец Сергий низко поклонился, коснувшись пальцами руки пола:

— Смиренно жду приказанія вашего благочинія, аз — раб Сергій.

— Присовокупн, отче, к оной синодике некоторые чудеса, совершившиися в нашей обители и известные доселе тебе, а если неизвестные, то слышанные тобою.

Отец Сергий, перекрестившись, уселся на скамью. Глаза его, возведенные к потолку, стали задумчивы; седая, узкая, предлинная борода пышно взбилась на коленях, будто ворох кудели.

— В великой России был в те годы сильнеющий мор — смертоносная, можно сказать, язва напала на людей, — однообразно повел свое повествование отец Сергий. — В оное время в Оранской сей праведной пустыни иеромонах, монахи и клирики почти что все померли. Осталось только три человека: строитель сего монастыря, сам преславный муж Павел Гладков, ушедший из мира в мордовские дебри

благочестивейший дворянин, потом—монах Ефрем да работник белец<sup>1</sup> Андрей Константинов. Этот работник, по наущению дьявольскому, задумал лишить жизни строителя Павла, якобы в отместку: зачем тот построил обитель на крестьянских и мордовских землях и батрачить заставляет на монастырь многие села и деревни. Глядкоу Павел не раз ему говорил, что сам царь Михаил Федорович дал пύстыни указ на владение сей землей, на которой построена дерковь и келии старцев, и что пришел же он к этому по внушению свыше и отказал в разных челобитиях на принадлежащую русским крестьянам и мордве землю. Но работник, белец Андрей Константинов, не внял гласу благоразумия и, тайно взяв нож, отправился к строителю в келию для расправного дела. Но едва дошел он до дверей кельи, как чья-то невидимая рука неожиданно воспрепятствовала ему, сильно, кулаком, ударив его. Он с испуга бросился бежать из монастыря, пришел в мордовскую деревню Бурцово и рассказал там, что-де в Оранской пύстыни жители все умерли, кроме строителя Павла да монаха Ефрема, а у строителя в келии лежат-де триста рублей денег. Узнав это, мордва собралась из деревень, взяла с собой и воров и подошла к монастырю в ночное время, разбойнически, месяца октября в двадцать пятый день.

Старательно записывавший слова отца Сергия, Феодорит вдруг положил перо, продолжая со вниманием слушать своего казначея.

— ... Раскинувшись станом под горою, дабы не могли приметить их живущие в монастыре, они посылают двоих человек узнать: нет ли в монастыре постороннего какого народа. Те люди, пришедши к воротам, обманом стали просить хлеба, объясняясь, будто они люди русские, идут из Москвы и не знают, что им делать с голода и где взять.

Феодорит почесал под бородой, причмокнув.

— Как же это так—мордву не узнали по диалекту? Глупые монахи!..

Отец Сергий развел руками в немалом смущении:

— Знамо, глупые... несмыслённые!.. А те и говорят им: будто бы и хлеба они три дня не вкушали; будто бы и выпросить, и купить они нигде его не могли. Жители

---

<sup>1</sup> Беле —вольный человек, не монах.

монастыря, по своей простоте, не зная их лукавства, дали им хлеба. Они же, возвратясь к своим товарищам, находившимся под горою в засаде, рассказали им, что в монастыре пусто и никого нет. Тогда вся мордва и воры скопом подступили к монастырским воротам. Но вдруг ворота сами собой отворяются — и выходит против них множество ратного народа, и погнали они хищников, в смущении обративших тыл, и, догнав, истязали их. Так богородица свыше помогла беззащитным сохранить свою обитель от мордвы. Работник же Андрей Константинов, в то время идучи дорогой, злою умер смертию и погиб без погребения.

Иеромонах Сергей кончил свой рассказ, но, вместо благодарности, он увидел на лице игумена явное выражение досады.

— Подумай, старче, — сердито произнес Феодорит, — как же мы будем чудесами нашими привлекать к себе мордву, порицая ее и даже говоря о наказаниях и истязаниях, которые она якобы претерпела от пресвятой владычицы богородицы? И не только мы мордву не привлечем к себе, но, тем самым, наиболее отринем ее от себя и от всякой святости! И не поверят нам люди, ибо на грабежи мордва не ходила и не ходит, и хотя помогает разбойникам, но сама не ворует и не убивает... Это мы и сами по вся годы видим у себя в Оранках и окрестностях.

Смущенный словами своего начальника, старец Сергей стал робко оправдываться.

— Но то было без мала сто лет тому назад... Мы могли того и не видеть... — старец запутался и, не зная, что говорить, умолк.

Феодорит начал сердиться.

— Ох, старче, старче!.. Обиднее сего ничего нельзя и придумать, и притом же сваливаешь ты сию неудачу их на пресвятую богородицу, отвращая тем самым от нее как язычников, так и новокрещенцев из инородцев. Понял ли? Подобную ересь произнести могут лишь безбожные, злонамеренные уста...

Старец Сергей теперь уже смекнул, в чем дело, и чистосердечно покался в своем недомыслии:

— Един ум здравствует, два благоприятствуют. Мудрость светозарная ваша одолела мое заблуждение. Только недруги могли бы внушить мордве оное чудо... Признаю. Аминь!

Феодорит, глядя торжествующе в смущенное лицо своего старого казначея, подумал: «Аминым врагов не отшибешь и добра не наживешь».

Отец Сергей снова приободрился.

— После того, ваше преосвященство, извольте, я расскажу вам об ином чуде, о самом явном случае проявления благости богородичней...

— Дерзай!

— В деревне Палицыной жена, именем Пелагея Симоннова, оком не видела и звенело у нее в ухе полтора года. Моляся богородице, — исцеление получи, славя бога и пресвятую владычицу. Вот и все.

Феодорит не писал. Он снова насторожился, относясь, видимо, с недоверием к словам своего казначея. Выслушав, повторил:

— Оком не видела и звенело в ухе? — и покачал головой усмешливо: — «Звенело в ухе» — не лишнее ли есть?.. Велико ли это несчастье для человека, страдающего наивысшим убожеством — слепотою?!

Вздыхнул и записал рассказанное Сергием чудо, не упомянув ничего об ухе. («Мало ли у кого звенит в ухе, особенно после питья?»)

На третьем чуде их вдруг перебил влетевший в келью настоятеля послушник. Он, еле дыша от быстрого бега, выкрикнул в ужасе:

— Епископ едет!..

Феодорит и Сергей в испуге вскочили со своих мест.

— Где ты видел?

— В лесу... Со стороны Дальнего Константинова...

Настоятель и казначей опрометью вылетели в сени. На дворе уже метались чернецы, выбежав с метлами и лопатами наводить порядок в саду и на дворе.

— Звонаря! Звонаря! — завопил Феодорит, выпучив свирепо глаза. — Бей в колокол!..

Но не успел он прокричать эти слова, как на колокольных вышках уже многозвучно зазвенела игривая легкая медь. Она смешивалась с низким ленивым гудом больших семисотпудовых колоколов...

— Хоругви! Иконы! — продолжал иступленно кричать игумен, выбравшись на волю.

И тут вышло, что он уже опоздал: по дорожкам сада, пыхтя и ругаясь между собою, монахи волокли на переднюю дорожку, к «святым воротам» — священные стяги и

хоругви, громадные иконы и прочую утварь, необходимую для крестного хода...

«Не пришел ли час ратных подвигов монастырской братии? Не знамение ли—приезд епископа, возвещающее начало похода святой католической церкви на язычников?!»

Об этом в смятении размышлял Феодорит, по-праздничному облачаясь, при помощи послушника, в лучшее облачение и надевая на себя подаренную ему епископом малиновую в золоте бархатную ризу...

## XVI

Трудно себе представить что-либо величественнее раскинувшейся по лугам и перелескам весенней Волги, и нельзя спокойно смотреть, как подкрадывается она по зеленеющим Дятловым Горам, не щадя храмов, домишек и амбаров, к белоснежному красавцу-кремлю. Притихли бойницы и соборы. Река идет на них, полноводная, сильная, гордая. Ни один царь, ни один губернатор и полководец, ни один архиерей—никто не властен остановить ее вольного, неотразимого напора. Но сбудет половодье, и она опять спокойно и ласково отразит в себе небо, и солнце, и звезды, и башни, и деревья, и застынет в этой близости к людям и зелени—кроткая, покорная.

Петра и Рахиль тянуло сюда, на пустынный берег позади кремля, здесь наедине они любили беседовать. Во всем мире Рахиль имела теперь только двух человек, которых можно не бояться,—старушку Марью Тимофеевну и Петра. Только они желали ей добра, заботились о ней, берегли ее. Петр—офицер, дворянин, был даже соучастником ее тайны, он помогал ей скрываться от полиции. Как же не доверяться им? Смерть отца потрясла девушку. Она стала еще печальнее и серьезнее, глаза ее—задумчивее, глубже; страдание придало им выражение мужественности, но для Петра они были приветливыми, ласковыми. Лицо ее осунулось, побледнело и резче обозначились черные брови.

Теплый вечерний ветер, запах талой земли, мирное насвистывание пичужек в красноватом от заката прутняке, водная ширь, а за ней темные заволжские леса,—разве не говорит все это о праве на жизнь? И разве плохо здесь двоим, в стороне от людей, беседовать, усевшись на ство-

ле сваленного бурей дерева? Голос Петра звучал дружески мягко и грустно:

— Я знаю! Не легко будет мне... Я офицер, а ты гонимая властью иноверка. Не льщу я себя надеждой, не хочу я хвастаться подвигом, а более того, — боюсь показаться навязчивым. Союз нашей дружбы питается превратностью и бедствиями нашей судьбы. Два счастливица, хотя и часто видятся, но не чувствуют друг к другу ни малой привязанности; двое несчастных при первой же встрече понимают один другого. В счастье они были только знакомцы, в несчастье — они друзья. Вот я смотрю на Волгу и забываю все на свете. Рахиль, видишь, как низко опустилось небо над лесами, оно сомкнулось с землей. И кажется, будто итти уже некуда... Все пути закрыты, но — нет!.. Там, дальше, опять жизнь, дороги открыты, места много... Пускай и тебе не кажется жизнь конченной, Рахиль... Не падай духом!

— Но ты говорил о препятствиях! — робко возразила Рахиль.

Обрывками кошмарного сна промелькнул у Петра воспоминания о недавнем: питерское и московское надругательство над ним, встреча с нижегородским начальством. Он представил себе огромные пространства России и свое полное одиночество в этой пустыне и, как брат, как друг, прижался к девушке. Стало тепло, уютно обоим. Она склонила голову ему на плечо.

— Мне кажется, — я родился для того, чтобы встретиться с тобою, — сказал Петр. — Никакие препятствия не помешали этому.

Рахиль с затаенной радостью слушала Петра, и самой ей хотелось сказать ему то же самое, но не могла она решиться и сказала другое:

— Подобных мне — много. Ты служил во дворце, ты видел женщин лучше, богаче, красивее, умнее меня. Ты видел даже царицу.

— Царица?!

— Да! Ты ее видел?

— Жил рядом, караулил. Но об этом оставим. Ты лучше ее.

— Но как же мог ты уйти из дворца и попасть к нам в Нижний? Ведь там счастье и веселье, здесь горе и бедность. — Рахиль покраснела. Она давно хотела вызвать Петра на откровенность.

— Уметь пользоваться изобилием ничего не стоит, но надо уметь быть счастливым также и в злополучии...

— Расскажи что-нибудь о царице?

— Запрещено... но для тебя...

Рахиль окончательно смутилась. Ей было хорошо около него.

— Красивая она?

— Царица очень красива, но красота ее не согревает сердца... Э-эх, лучше не думать!

Рыхловский ярко представил себе дни, проведенные в близости к царице. Задумчиво, как бы размышляя вслух про себя, он продолжал:

— Природа одарила ее красотой и умом, но отняла от нее сердце. Она предпочитает иную красоту, искусством ей приуготовленную.

— Ты будешь всегда думать о ней?

— Нет, Рахиль. Зачем? Не могу я тебя равнять с ней. Во цвете лет своих и красоте ты не помышляешь об искусстве нравиться... ты честна. Твой разговор справедлив, и если ты полюбишь, то навсегда. Ты не будешь искать других... Твоя мать и твой отец не готовили тебя блистать наподобие холодного алмаза... Они растили в тебе человека... Это твое великое счастье... Ты должна быть благодарной отцу. Он наделил тебя правдивостью.

Слезы выступили у девушки при напоминании об отце. Петр взял ее руку и поцеловал. Рахиль смущенно отвернулась.

— Говорят, что сострадание не может быть долговечным,—смахивая слезы и стараясь скрыть свое лицо от Петра, сказала она.

— Кто страдает!—вспыхнул Петр. — Не я ли? Я вижу свое будущее... Я знаю, что должен погибнуть. Для того меня и послали сюда. И могу ли я свою любовь черпать из моего якобы к тебе сострадания? У тебя умер отец, у меня умерло все... Тот, кого я считал отцом, оказался мне чужим; мало того—он убийца моей матери, лютой мой враг! Подумай! Только позавчера я думал, что в Нижнем у меня есть родной отец... Но и этого мало—теперь я узнал, что подлинный отец мой—вор и разбойник, какой-то беглый дыган... Я набираюсь сил и терпения, утешаю себя возможностью умереть с пользой для людей... Вот и все! А в тебе я стремлюсь видеть истинного друга, которому чуждо притворство и измена!



Девушка взяла его за руку:

— Что ты! Что ты! Мне страшно слышать это! Завтра ты уйдешь от нас с солдатами?

Петр провел рукою по лбу, как бы что-то припоминая.

— Не знаю...—нахмурился он.

Они поднялись и пошли кустарниками низом, под стеною кремля, к Почайне. Здесь безопаснее. Никто не попадется навстречу. Надвигались сумерки.

— ...За мною следят, ищут повода арестовать меня, обвинить, в чем я не виновен, заковать в цепи. Цари, и особенно царицы, безжалостны со своими бывшими приближенными, которые стали им неуютны. В Петербурге, городе роскоши и греха, я узнал многое и многого свидетелем был. В этом вся моя вина перед царицей. Поэтому и вреден я. Один иностранец назвал царицу и ее фрейлин жрицами, покрытыми плющом. Видел я, как женщины, облекшись в мужские военные одежды, влетали в зал в шлемах, размахивая шпагами, и гнали перед собою мужчин, наряженных в женские кринолины. Смеша царицу, мужчины бежали и падали на пол, запутавшись в фижмах... а женщины валились на них! Много вакханок, но ни одной женщины!.. И есть мужчины там, тоскующие о человечности и благопристойности. Мудрейшие люди говорили, что чистота нравов есть первое основание твердости всех государств... Этого не хочет знать царьца!..

Рахиль слушала его, затаив дыхание, пораженная его рассказами. Ничего подобного не могла она себе представить раньше.

Она закрыла лицо руками. Петр с нежностью глядел на ее склоненную голову и вдруг обнял девушку и начал ее целовать.

— Судьба! Ты—судьба моя!..

Девушка вся горела. Она чувствовала всей глубиной своей души, что он—истинный ее друг, нет! Больше...

В кустарниках послышался шорох.

— Кто тут?—крикнул Петр.

Неизвестный человек вдруг вскочил с земли и помчался среди кустарников вниз по горе. Петр хотел было бежать за ним, но побоялся оставить Рахиль одну.

— Нас подслушивали!—побледнев, тихо произнес Петр.— Это плохо. Рахиль! Нас выследили!

Девушку охватила дрожь.

— Что же теперь делать?

Петр взял ее под руку.

— Пойдем скорее домой. Что-нибудь придумаем.

Сумерки сгустились. Небо украсилось неяркими звездами. Берега Волги теряли очертания.

В доме сидел худой, бородатый человек, странно съездившийся,—будто его лихорадило. Сидел он в темном углу комнаты, втянув голову в воротник, и прислушивался к словам склонившейся над прялкой Марьи Тимофеевны. Увидев Петра и Рахиль, они смолкли. Старушка нарочито засуетилась и передала Петру бумагу.

— От губернатора...

Петр поднес бумагу к свече. В бумаге значилось: «Минуло две недели, как вы приехали, не надлежит ли вам приступить к исполнению известного вам государственного дела? Завтра утром явиться в канцелярию».

Петр удивился. Сегодня утром он видел князя Друцкого и условился с ним, что завтра выступает в Терюшевскую волость с командой солдат—зачем же понадобилось губернатору снова напоминать об этом? И притом, к чему бы было писать бумагу?

Марья Тимофеевна указала неизвестному человеку рукою на Петра:

— Вот он!

Тот вскочил с своего места и набросился на юношу, стиснув его в своих объятиях:

— Как я рад! — воскликнул он. — Благодарствую!.. — Потом произнес самодовольно: — Я — немец Штейн; выпущен губернатором из темницы... Промеморию от Бестужева привезли вы?. Спасибо!

Петр мысленно осудил Бестужева: «вид показывает, будто он против немцев, а сам хлопочет о них. Под дочку жены-немки пляшет! Недаром у Штроуса с ней какие-то секреты»...

Петр рассказал все, о чем с ним беседовал Бестужев, когда вручал письмо на имя Друцкого. Выслушав его, немец кивнул на Рахиль:

— Ее отец просил меня позаботиться о ней.

Этот человек напоминал не то безумного, не то пьяного. Петр так бы и подумал, если бы не знал, что Штейн только что выпущен из острога.

— Я полюбил твоего отца, — сказал немец Рахили. — Я дал ему слово — и выполню. Мне все известно — старушка не скрыла от меня твоего опасного положения. Дорога у тебя одна — тюрьма! Либо высылка, либо насильственное заточение в монастырь... Я тайно увезу тебя в вотчину господина Лютера, что в Девичьих Горах, между Сергачом и Лукояновом... Лютер близок канцлеру. Никто не посмеет вторгнуться туда. Завтра я уезжаю. Готовься! Там ты будешь в безопасности.

Рахили хотелось знать, что посоветует ее новый друг — Петр Филиппович. Она взглянула на него. Он повял ее и сказал:

— Единственная надежда у Рахили теперь на дружбу, на искреннюю добродетель людей бескорыстных... Хотя я и мало знаю господина Штейна, но верю ему. Другой дороги у тебя нет пока, а там... увидим.

. . . . .

Больших усилий стоило Петру справиться с неприязнью к нижегородским властям. Он выполнил приказ: на следующий день явился к губернатору. Дружкой был в это время в канцелярии и тихо, полумолотом, что-то говорил своему секретарю, низко над ним наклонившись. Два приказных, увидев Петра, многозначительно переглянулись. Губернатор, как бы невзначай, взглянув на Рыхловского, загадочно протянул: «а-га...» и сказал отрывисто:

— Идем!

В губернаторском кабинете было просторно и чисто, звонко тикали на стене фигурные часы в бронзе. Длинный белый стол. Скамьи.

За окном кремлевский сад, а дальше Волга и леса, леса! Хорошо знакомая и близкая сердцу Петра картина. Какая разница: этот надутый генерал, холодный, неуютный кабинет, предстоящие разговоры — и спокойная, величавая ширь Волги.

Князь сел к столу и некоторое время молчал. Потом громко вздохнул, шумно передвинул под столом ноги и голосом тихим, безразличным спросил:

— О покойном отце вспоминаете?!

Петр вздрогнул. Меньше всего он ожидал услышать напоминание о Филиппе Павловиче.

— Нет, — покраснел он. — Жду ваших распоряжений.

— Однако, было бы не лишнее вспомнить вам и о вашем покойном батюшке...

Петр молчал. Губернатор смотрел пристально в лицо Петру и барабанил пальцами по столу.

— Таких честных, преданных дворян, каким был ваш родитель, едва ли еще сыщешь в оной губернии. Вот что. И пригласил я вас, молодой человек, за тем, дабы напомнить вам о высоком долге дворянской чести, завещанном вам блаженной памятью вашего отца. Долг сына — наказывать убийц. Завтра выступаете вы с ротою солдат бить воров и для ограждения дворянских вотчин от возможной смуты среди инородцев... Об этом было указано вам еще в Санкт-Петербурге высшими чинами. Думается, вы не забыли?

Скучно и удивительно было слушать давно набившие оскомину рассуждения о важности подавления мнимых мятежей и о поимке разбойников. Да и сам губернатор об этом всякий раз говорит как-то холодно, нехотя и неуверенно, — видно, что он и сам не считает нужным посылать отряд в деревню, но под влиянием иных соображений все-таки посылает его.

Петр догадывался, что весь этот поход на язычников и воров был придуман Филиппом Рыхловским исключительно для того, чтобы вызвать его, Петра, в Нижний, охранять филиппову персону. Придворные же нашли в этом лучший предлог избавиться от Петра. Посылку его в Нижний ускорило и то, что из Работок в Петербурге лично дарицею было получено письмо Шубина, ее бывшего фаворита, который слезно жаловался на разбойников и взывал к Сенату о помощи.

— Чортово Городище, где берложит оная сарынь, сопричислено к Казанской губернии, однако, опасность от воров грозит и нам... Некоторые из них уже перешли через Суру, объединились с недовольною мордвою. И что из сего может получиться? Дворяне бегут в город, купцы напуганы, не бывают на торге. Не везут своих товаров. Кто оградит дворянина? Дворянин! Кто спасет купца? Дворянин! Кто защитит священнослужителя? Дворянин! Всегда и везде — дворянин! Вот я и жду от вас, что вы, будучи сыном лучшего из дворян нашей губернии, — со всею жестокостью оное пресечете.

Немного подумав, князь Друцкой с улыбкой, разглядывая Петра, спросил:

— Какая кровь течет в ваших жилах?

Петр смутился, не зная, что ответить.

— Я — сын незнатных людей, — скромно ответил он.

— Дивлюсь я! Нет у вас любви к вашему, вечной памяти (Друцкой перекрестился), батюшке.

— Что я могу ответить вашему сиятельству?

— Вы отслужили о нем токмо одну панихиду. Где же ваша сыновняя любовь?! — Петр молчал. — Да. Недоверчивость к старшим приучает юность к скрытности. Но может ли начальник, не имеющий доверенности от подвластных, иметь от сего какое-либо удовольствие? Как вы думаете?

Петр продолжал молчать.

— Дворянин никогда не вправе забывать своего достоинства. Всегда откровенным должен он быть перед своим начальником, так, как бы перед родным отцом. Ничего не скрывать! А вы показываете слабость и недостаток ненависти к врагам. У дворянина не должно быть такого простодушия, каковое вижу у вас. Ваша кровь молчит. Берегитесь, молодой человек! Вот вам дружеское слово губернатора! До меня доходят уже слухи, якобы вы везде ходите и говорите о том, что вам не следует говорить... Берегитесь! Язык... язык! Смотрите!

Петр стиснул зубы. Негодование наполнило его грудь так, что ему трудно было говорить.

— Клевета! — тихо, прерывающимся от волнения голосом, через силу произнес он. — Кто сказал?!

— Потом узнаете. Теперь же идите и ждите приказа о выступлении в поход. Своею шпагою и храбростью оправдайте доверие ее величества. С богом!

Петр вышел из кабинета, охваченный гневом. Кто клеветник?! Что делать?! Где искать защиты?!

## XVII

Около широкой каменной лестницы терюшевской церкви собралась молчаливая толпа новокрещеной мордвы и русских богомольцев, съехавшихся со всей округи: каждый старался протиснуться поближе к паперти, чтобы лучше все увидеть, побольше услышать. Шуточное ли дело! В глушь, к мордве, прибыл сам епископ Димитрий Сеченов.

Вот-вот он сейчас появится из храма,— и все увидят его, этого сурового, облеченного великою властью над нповерцами архипастыря.

Ребятишки облепили ближние ясени и липы. Сидят верхом на сучьях, смеются, перекликаются между собою; старшие неодобрительно смотрят на них, грозят им пальцем; девушки ежатся, будто от холода, трусливо переглядываясь с парнями. Звонарь обезумел; снизу видно его крутящуюся голову и мелькающие в воздухе руки. Буйно взмывают удары колоколов, возвещая окончание обедни. Вот вышел церковный сторож, свирепый, горластый, спиб с лестницы трех нищенок; они с визгом полетели вниз.

Вслед за сторожем потянулся народ — те счастливицы, которым удалось поместиться внутри церкви. Толпа расступилась, пропуская их. Затем послышалось бойкое пение монахов:

Елице во Христа креститесь,  
Во Христа облекостесь,  
Алли-луйя!

За монахами поползли священнослужители окрестных сел. Все они были в поношенных старых подризниках с епитрахильями на груди. Епископ вышел в белом, украшенном серебром, шелковом подризнике, широкий, пышный, волосатый. Шел он медленно, опираясь на золотой, украшенный шелковыми лентами посох и держа в левой руке крест. Глаза смиренно опущены вниз. Золотом и камнями сияла на нем громадная круглая митра.

Когда Сеченов появился на паперти, ребятишки, сидевшие на деревьях, притихли, пораженные великолепием епископского наряда.

Сельское духовенство расступилось надвое на верхней площадке паперти. Колокола смолкли. Монахи тоже наскоро закончили петь.

Сеченов близко подошел к краю площадки, обвел толпу приветливым взглядом и осенил ее несколько раз крестом:

— Христос воскрес! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — ответили из толпы редкие голоса. Мордва, хотя и крещеная, не поняла этого восклицания епископа. Новокрещенцы со страхом и любопытством разглядывали одежду его. Ребятишки на деревьях таращили глазенки, пораженные невиданным зрелищем. На-

стала необычайная тишина, нарушаемая только пеньем петухов на деревенской улице, да издали доносившимся плачем ребятишек, оставленных любопытными матерями на произвол судьбы.

Епископ громким наставительным голосом начал проповедь:

— Вот видите, я пришел к вам!.. Пастырь не должен уклоняться от близости к людям не токмо верующим, но и сомневающимся и даже инаковерующим. И не зря пришел к вам я, смиренный слуга Христа. Много слухов ходит повседневно о сугубом падении веры и о неповиновении среди терюханских, мордовских и среди российских людей, обретающихся в оных краях. Суд божий повис над всеми нами. Отвратим же карающий меч святого отца бога нашего от терюханской мордвы и русских людей. Но что нам делать? Что может пожелать вам пастырь? Не ищите благополучия! Не гоняйтесь за счастьем! Иначе уподобитесь младенцам, которые, вопреки приказу родителей, тянутся к зажженной свече, не понимая того, какую боль причинит пламень. Счастье для вас — светильник для малютки. Свыкайтесь с плачем и горем, — то бог вам посылает, чтоб вечными противностями очистить вашу душу и приготовить ее к царствию небесному. Мы злы, коварны и неблагодарны. В одной нашей государыне заключается милосердие, чистота и святость... Как бы мы ни говорили о ней пространно, все будет коротко: ты одна подражательница божьего милосердия; ты одна приблизилась к царству небесному!.. Ты одна можешь быть всем примером!

При словах о царице голос епископа задрожал; он простер перед собою руки, как будто и впрямь царица была здесь.

— Началá и неустанно продолжай, царица наша, по благоутробию своему, миловать бедных, сирых, беспомощных, защищать их от руки обидящего!.. Ты — охранительница чести жен непорочных. Вот, вот они, овцы твоего стада, собрались здесь, дабы вознести горячую молитву свою о твоём здравии и о счастливом твоём царствовании и раскаяться в грехах своих перед тобою и церковью... Падём же ниц все до единого перед иконами и вознесём горячую молитву свою о матушке-императрице и о прощении грехов нам грешным!.. — Сеченов опустился на колени.

Словно гора рухнула — пал наземь народ. Несколько монахов высматривали в это время: все ли богомольцы совершили земной поклон. Оказалось,—уязвить было некого. («Господь бог милостив — в другой раз попадутся!»)

После этого на церковный двор вынесли икону, за ней другую, третью. За иконами поплыли хоругви. Запел епископ, заголосили сопровождавшие его монахи: «Пасха господня, па-а-а-асха! Пасха всечестна-ая».. Епископ всенародно был облачен клириками в саккос<sup>1</sup> и двинулся впереди всех с посохом, подняв высоко над головою крест; за ним следовал управитель духовных дел отец Кирилл, а рядом с Кириллом важно выступал поп Иван Макеев, позади их другие попы, иеромонахи и певчие.

Крестный ход направился в село Большие Терюши.

Многоголосое, пестрое шествие напугало сельских жителей, они попрятались кто куда и накрепко заперли свои дома.

Крестные ходы, иногда устраивавшиеся Оранским монастырем, обыкновенно являлись настоящим бедствием для мордовского и русского населения. Целыми толпами бродили монахи из деревни в деревню; самовольно врываются в дома, заводили ссоры, нередко насиловали женщин, наносили побои, всячески истязали попадавших им в руки и даже заковывали их в цепи, захваченные с собою «на всякий случай». Требовали поборов не только с иноверцев, но и с русских. Так было при малых крестных ходах. Чего же можно было ждать теперь, во время «большого» крестного хода?

Но на этот раз все обошлось благополучно. Никого не изнасиловали и не обидели, только Макеев умудрился как-то на глазах у епископа окунуть в кадushку стоявшего около колодца мордовского мальчугана и быстро навесить ему на шею крест. Епископ Димитрий покосился на Ивана с лукавой улыбкой. Вернувшаяся к колодцу мать увидала своего сына мокрого, дрожавшего от холода и с крестом на груди, и заплакала горько, погрозив кулаком вслед удалявшимся попам. Кроме забавы, инокам и епископу это происшествие ничего не доставило.

— Завтра у них на кладбище, около Успенского, будут моляны...— сообщил по секрету неугомонный Иван Макеев на ухо епископу.

---

<sup>1</sup> Подобие ризы, похож на укороченный стихарь.



- Кто сказал?..—насупился Сеченов.
- Жрец Инюков... Он наш, все нам говорит.
- Благословенно имя господне отныне и до века!

Поп Иван, приняв благословение, чмокнул епископу руку. После крестного хода Сеченов в сопровождении клириков направился в дом к Ивану Макееву, где управитель духовных дел отец Кирилл заранее уже приготовил на средства архиерейской конторы обильную яствами и питием трапезу.

Епископ Дмитрий любил развлечься в обществе монахов и сельских попов, особенно на лоне природы, среди лесной прохлады, вдали от делового, утомительного города. Здесь он мог позволить себе все наслаждения и пить свободно и со всяческим удовольствием свой давнишний любимый напиток — старое бургонское вино. Пили и на этот раз много и весело.

Епископ, захмелев, стал поучать попа Макеева:

— В сей тихой и мирной дружбе с иноплемениками не проявляй высокомерия... Почтение и доверенность должны окружать тебя, как пастыря. Убегай мирских дел, отвергая приятности легких забав... Не знай более того, что положено знать сельскому пастырю. Не осуждай выше себя стоящих духовных чинцов,—что бы они ни делали!.. Наказание пусть лучше исходит от нас и от губернатора, нежели от сельского попа.

А через несколько минут, отвернувшись от отца Ивана, который был на ухо весьма востер,—епископ принялся тихо расспрашивать одного молодого монаха, самого близкого игумену Феодориту человека, о мордовке, убежавшей к разбойникам от Рыхловского: «говорят, девка была красивая, удобренная?». (Поп Иван сокрушенно вздохнул: «Э-эх, святитель! Нашел у кого спрашивать! Ты бы у меня спросил — я бы тебе на такую блудницу указал, каковая даже твоему покойному старцу Варнаве не снилась!»)

Монах доложил епископу, что она сама теперь разбойничьи налеты делает. Недавно вместе с разбойником цыганом монастырского казначея ограбили, раздели донага и к дереву старого человека привязали.

Епископ нахмурился, вздохнул.

— Рыхловского бог наказал...—пропнес он.—Телу христианина соединиться для блуда с телом некрещеной—великий грех ибо в писании сказано: «осквернише-

ся люди блуждением со дщерьми Моавли... И разгневался яростию господь на Израиля...». Догматами церковными православному воспрещается даже мыться в бане вместе с некрещеными. Нельзя вступать в законный брак с лицами иноплеменными по вере, какой бы красоты они ни были,— ни с язычниками, ни с мухометанами, ни с иудеями...

Монах сказал, что мордовка сама, первая, отвергла любовь Рыхловского. Епископ рассмеялся.

— Сего красавца любить возможно было лишь под страхом смертной казни, а по доброй воле едва ли хоть в одном из племен ссыкалась бы охотница.

Во время этого разговора в комнату вошел неизвестный чернец, объявив, что лошади поданы.

Епископ оживился. Вскочил со своего места.

— Сенатский указ предписывает нам разорять татарские мечети, а тем более, значит, он обязывает духовенство уничтожать языческие капища. Язычество еще более низкая ступень, нежели мухаметанство... Мухамет был большой философ, а у язычников нет ни одной книги, где бы толково изложена была их вера и описано их божество. У евреев были мудрейшие пророки. А у язычников? Человек, преданный язычеству, ниже скота. Может ли Сенат противиться разорению нами языческих капищ?!

Поспешно собрались и поехали в Успенское, около которого находилось мордовское кладбище. Ехал Сеченов в кибитке впереди всех, на тройке вороных сытых монастырских коней. Позади следовал управитель духовных дел и поп Иван; еще дальше в двух возках четыре перомонаха, и затем на телегах тряслось восемь здоровенных гайдуков-певчих, игравших роль телохранителей епископа и повсюду его сопровождавших.

Миновали озимье, потом небольшой прозрачный лесок, вспугивая трясотузок, степенно разгуливавших на дороге. День уже клонился к вечеру; прохладило из зеленых овражков. Епископ с хмельной улыбкой любовался полями; березками, невинными, «яко девственницы», в своей юной зелени; розовыми, «яко вино», болотцами и лужами; разлетающимися с криком, «яко монашенки», утками. В полном самодовольстве, добродушно отрывивал он из нутра зелье, приговаривая: «Чти господа от праведных дел твоих! Бысть вечер! Будет утро! Будет и день! И-нк!».

И вдруг в стороне от дороги мелькнуло мордовское

кладбище, ряд низеньких срубов, поставленных над могилами предков там и сям среди высоких старых деревьев дремучего чернолесья. Епископ велел остановиться. Вылез из возка и спросил попа Макеева, — не это ли кладбище?

Отец Иван живехонько выпрыгнул из своей кибитки.

— Се оно — то мордовское кладбище и есть, а на нем растущие деревья служат мордве кумирами почитания.

По-звериному принялся Сеченов обнюхивать воздух. Глаза его сузились, когда он медленно, слегка сгорбившись, стал вылезать из кибитки.

— Жертвоприношение?! Идолы?! Я вам сейчас покажу, — прошипел он и вдруг гаркнул, что было мочи, сопровождавшим его клирикам: «За мной!».

В шелковой белой рясе, раздувая ноздри, со встрепанными волосами помчался он через поляну на мордовское кладбище. За ним следом погнались певчие, прихватив, по обыкновению, с собой топоры. Отец Иван подскакивал козликом, подобрав полы своей рясы, да так разбежался, что обогнал даже самого епископа.

— Огонь! — иступленно завопил епископ. — Жги! Пали! — И обругался неистово.

Певчие поспешно принялись набирать валежник и подкладывать его под срубы. Епископ бегал между могилами и плевал на них с проклятиями и всякою руганью. Поп Иван диву давался такой ожесточенности архипастыря. Пьяные монахи в угоду начальству с большим усердием по-разному оскверняли кладбище, подобострастно поглядывая при этом на епископа, который влез на самую высокую могилу, простер руки в воздухе и зычно выкрикнул:

— Одолеем духов нечистых! Разорим храмы погании!.. Отмстим племени Хамова рода! Губите! Губите! Во имя государыни и славного российского дворянства!!!

Под его выкрикивания запылали срубы над могилами. Кладбище озарилось бешено мечущимся пламенем. Все эти дни палило солнце, время стояло жаркое; огонь быстро охватил все, способное гореть. Между огнями забегали певчие, рослые, подвижные, похожие на чертей. По приказу Сеченова, они принялись рубить священные березы.

Тем временем, русские крестьяне из соседнего села Успенского, увидев черные столбы дыма, потянувшиеся ввысь, бросились к кладбищу. Было велико удивление успенских мужиков, когда они натолкнулись в этом аду на

торжествующих, лохматых и дико вопивших чернецов во главе с самим епископом Димитрием. Тотчас же побежали они в соседние мордовские деревни и сказали: «Епископ и монахи пожигают ваше кладбище!».

Мордва, как один, от мала до велика, вооружившись кольями, луками, рогатинами, саблями, двинулась к своему кладбищу. Убедившись, что огнем охвачены места упокоения предков, мордва набросилась на архиерейскую челядь. Иноки, предводительствуемые своим архипастырем, вздумали было вступить в бой, но, когда стрелы начали вонзаться в тело то одному, то другому монаху,—братия не выдержала, стала отступать... Отстреливаясь из пистолета, помчался к своей кибитке и сам епископ. Едва успел он сесть и погнать лошадей, как десятки стрел посыпались ему вдогонку.

Лошади примчали епископа к селу Сарлеи. Тут он отпустил ямщика, велел ему гнать кибитку дальше, имея мысль обмануть погоню, сам же ринулся в дом здешнего попа, привезенного им из Казанской епархии. Особенно хорошо знала епископа попадья Василиса. (Еще в Казани они были друзьями.)

— Спасай, мать!..—прохрипел он.

Недолго думая, попадья открыла подполье и упрятала туда епископа. На крышку поставила кадку с кислой капустой.

Многим из архиерейской свиты удалось сбежать с поля брани. Они спрятались в Рыхловке. Домоправительница Феоктиста сама встретила растрепанных, обливающихся кровью и потом чернецов.

— Епископа убивают!—простонал один из чернецов.

— Христову веру посрамляют!—вскрикнул другой.

Феоктиста собрала около дома всех дворовых и даже велела позвать мужиков из соседней деревни: «чем больше, тем лучше!».

Когда мужики собрались, один из монахов вышел на крыльцо дома и заговорил рыдающим голосом, ударяя себя ладонью в грудь:

— Православные христиане! Что же это такое с нами творит мордва? Она уже не довольствуется служением своим идолам на виду у православных христиан! Она требует разрушения наших храмов, гонения на православное христианство... зрите!

Монах указал на окровавленных товарищей.

— Во время крестного хода мордва напала на нас, убила, многих ранила и разогнала прочих; осквернила наши святыни и едва не кончила и самого епископа пресвященного Димитрия!.. Доколе же мы будем терпеть толковое беззаконие?! И не повелевает ли нам христианский долг выступить на защиту нашей православной церкви, издавна гонимой язычниками, иудеями и басурманами!

Сам монах не ожидал того, какое действие произвели его слова на людей. Не успел он кончить, как в толпе крестьян поднялся невообразимый галдеж. Мужики размахивали кулаками, кричали, ругались; бабы завывали, стали метаться; многие забились в рыданиях, падая на плечо одна другой. Заплакал и сам монах, надрывно вскрикивая: «Братцы!.. Братцы!.. Что нам делать?! Господи!».

И откуда у него столько слез появилось?

Через несколько минут вся толпа разъяренных крестьян, вооруженная вилами, ножами, топорами и бердышами, выданными им Феоктистой из запасов Рыхловского, — двинулась по дороге к Сарлеям, куда, по словам бежавших чернецов, направилась мордва в погоне за епископом.

Во главе этой пестрой ожесточенной толпы отважно шествовал сам монах, держа в руках ружье. Феоктиста его не пускала, советовала остаться дома, но он сослался на то, что без него мужики «могут передумать». Опасно одних пускать с дубьем. Кто их знает! Отпустив его, Феоктиста стала готовить ужин. Монах ей очень понравился. Высокий, здоровый, а главное — смелый, горячий. Она взяла с него слово, что он вернется к ней.

Ночь надвигалась на поля и рощи, но это не останавливало рыхловских крестьян. Столкнулись недалеко от деревни Сарлен. Туча стрел понеслась в рыхловских крестьян после ружейных выстрелов с их стороны. Монах был удивлен до крайности. Он думал, что, услышав ружейные выстрелы, мордва сразу разбежится и ее придется гнать, бить в спину и уничтожать, но не тут-то было! Мордва, наполняя тишину дикими негодующими криками, вместо того чтобы отступить, сама перешла в жестокую атаку. Мужики возмутились. Монах вопил за их спиной: «Злодеи! Осквернили наши святыни, побили наше духовенство, а теперь бьют нас ни в чем не повинных, бьют дубьем, да со стрелами! Ах, гады!»

Разъяренные, неудержимо ринулись рыхловские крестьяне на мордву. Сам монах даже перепугался страшных

лиц их и зверской ругани. Он подался в самый тыл своего войска, обдумывая на всякий случай способы к бегству. «Надо бы было лошадь захватить!» — всполошился он в самый разгар боя, спрятавшись за стволом громадного дуба. Отсюда он вдруг увидел прославившегося по Терюшевской волости своей злобой к Оранскому монастырю Несмеянку Кривога, бесстрашно шедшего с саблей в руке впереди мордвы. Рядом с ним, размахивая громадным бердышом, шел другой смутьян, глава недавно бунтовавших дальне-константиновских мужиков, здоровенный дядя, Семен Трифонов. Он хорошо известен оранским монахам, — приходил жаловаться на старца Варнаву, якобы отбившего у него жену. Среди мордвы видно было много русских.

«Свои же православные христиане, русские мужики заодно с язычниками! Господи! Вот бы кого надо живьем на костре сжечь!» — думал, разглядывая из-за дерева, монах.

А в тылу у мордвы, как безумный, метался Сустат Пиюков, уговаривая мордву гнать от себя Семена Трифонова и дальне-константиновских мужиков, ибо они — христиане, враги, предатели. Им верить нельзя. Они вовлекают мордву во вражду с начальством, а потом сами первые сбегут.

Но ярость мордвы была так велика, что никто и не думал слушать Сустата Пиюкова, своего жреца.

Монах прицелился в Несмеянку, когда тот приблизился к нему, но разве попадешь, если руки дрожат, как в лихорадке! Пуля пролетела мимо. Спрятавшись снова, монах с любопытством стал разглядывать мужиков, катавшихся по земле в рукопашной битве с мордвой. Ему не было жалко ни тех, ни других: «все — сволочи!». Он радовался этому ожесточению дерущихся. Если бы он знал, что его не убьют и если бы он не боялся быть уж очень на виду у мордвы, — то непременно бы выскочил из своего прикрытия и сам бы убил двух-трех человек. Потихоньку он благодарил «господа бога» за то, что «началось». Оно и к лучшему! То-то теперь враг Оранской обители, царевич Грузинский взбеленится. «Вот она, твоя хваленая мордва, которую ты так усердно от нас защищаешь! Посмотрим, что теперь ты скажешь!»

Ожесточение обеих сторон затянуло бой до поздней ночи. Несмотря на ружья и на озлобление введенных в

заблуждение монахами крестьян,—мордва не отступила ни на шаг. Только ночь прекратила бой. А тут начались перебежки крестьян в стан мордвы.

Тем временем епископ Димитрий, при помощи матушки Василисы, окольными путями, пешком, добрался до Больших Терюшей. Появившись в доме отца Ивана Макеева, он застал его мирно похрапывающим на пуховой постели в обнимку с попадшей Хионией. Вид его был такой, как будто он на мордовском кладбище никогда и не был и не принимал никакого участия в поджоге срубов и в схватке с мордвой... Епископа охватила досада. Он дернул его за косу.

— Пустопоп! Вставай!..

Иван Макеев открыл глаза. Протер их и ужаснулся, увидев епископа.

— Лошадей! — грозно крикнул Сеченов, разбудив своим зычным голосом попадю.—Ну, ну, скорее! Мужики пошли против нас!

. . . . .

В полночь мордва и рыхловские крестьяне разошлись в разные стороны.

Звезды смотрели грустно. Мужики слушали пенье соловьев в рощах с тупою болью в сердце. Им пришлось нести с поля пятнадцать раненых товарищей. Десять человек убитых так и оставили до утра... Утром придут с лопатами и зароят... А впереди еще бабий плач, плач ни в чем не повинных ребятишек... «Ой, горе, горе! Чорт принес этого монаха!»

Мордва потеряла сорок человек убитыми и ранеными. Несмеянка, шедший впереди, то и дело останавливался, чтобы успокоить стонавших от боли раненых товарищей и чтобы приободрить здоровых, окончательно упавших духом, подавленных, напуганных всем происшедшим: «Что-то будет дальше?! Чам-Пас, помилуй нас!».

## XVIII

Благоухала весна, раскрывались влажные медовые почки,—дыган Сыч не отходил от Моти. Называл ее то «полевым цветком, мотыльков привлекающим», то «пернатую чечоткой», а иногда принимался расхваливать ее отца, на-

зывая его «чудотворцем». Цыган был большой выдумщик, и Моте это нравилось.

«Пернатой чечотке» вообще было весело в ватаге. Она подолгу любовалась на себя в зеркало, взятое вооруженною рукою Сыча из Феоктистиных хором. Турустан канючил, ревнуя Мотю.

— В этом ли жизнь?! Глупый! — укоряла она его. — Ты не видишь людей, ты не смотришь на божий мир, а все липнешь ко мне. Смилуйся! Я хочу, чтобы ты убил попа Ивана.

Турустан бледнел, сильно удивляясь словам Моти: «почто понадобилось ей убить попа?». Она смеялась. Шлепала Турустана пальцем по носу и говорила:

— А цыгана и просить не надо: он и сам убьет.

— Да что тебе дался поп Иван?! Пускай живет.

— Сукин сын — вот и все. Не убьешь попа, — убей Сустата Пиюкова... Послушай жену! Они враги наши.

От этих слов Моти совсем опешил Турустан. Его бросило сначала в холод, — мороз прошел по коже, — а потом объял жар, пот выступил на лбу.

— Мотя, уйдем со мной от воров! Не жизнь нам у них. Погубят они тебя. Испортят. Милая моя, жена!

— Я не мешаю. Иди! А я не хочу..

Турустан вспомнил о своей недавней встрече с Сустатом Пиюковым в лесу. Тот уверял, что если Турустан сходит в Нижний к губернатору с повинной, признается в своих преступлениях, его помилуют, дадут службу и заживет он тихо, спокойно, как «честный человек». Задумался Турустан над словами Пиюкова. Крепко засели они в его уме. Немного ведь надо, чтобы сделаться таким «честным человеком»! Прежде всего надо любить себя больше всех на свете. Думать только о себе. Не заботиться о том, что будет с людьми после тебя. Никого не жалеть! Обелить себя перед начальством! Угодать князьям и дворянам. Уважать попов и монахов! Человек живет только раз в жизни. О чем же тогда больше и мечтать, как не о том, чтобы прожить сытно и весело свой век?!

«Турустан! — внушал он сам себе. — Законам повинись! С ворами не дружи! Дружьями пользуйся! Приобретай богатство. В нем главная сила! Нет никакой высшей власти, кроме бога, даря и денег, бес с ней, с изменницей женой!»

В лесу накопил Турустан эти мысли. Там, в отдаленности от общества ватажников. «Пускай милуются Сыч и



Мотя! Будь проклят тот день и час, когда я повстречался с Сычом! О Мотя!»

С каждым днем она становилась все более и более чужой ему. Когда она садилась верхом на лошадь, чтобы ехать с Сычом на разведку, он втайне молил бога, чтобы она свалилась с лошади и разбилась, а Сыча чтобы убили сыщики либо солдаты. Турустан теперь не верил Моте, не верил никому. Одиночество толкнуло его и на сближение с Сусгатом Пиюковым, который, встречаясь с ним тайно в лесу, постоянно твердил ему: «Уничтожь пороки кругом себя,—бог наш и бог христианский осчастливят тебя».

Мотя не желает уйти с ним из Оброчной. Отказалась наотрез.

Злоба к ней и Сычу возросла. С наступлением весны эта злоба уже не давала покоя, мешала спать. Турустану становилось страшно.

Сыч и Мотя, как только снег стоял, часто и надолго уходили в лес, а возвращались оба серьезные, суровые, неся на спинах большие охапки сучьев. Натаскали их полон двор. А на кой бес они—эти сучья? Весна на дворе, теплынь, скоро лето, а они усердно запасаются топливом.

Все это не нравилось Турустану, хог Мотя с первого же дня сбора сучьев стала много ласковее и добрее к нему. Сама начинала обниматься, ухаживать за ним,—от нее пахло травами и лежалой хвоей. Губы были горячие, красные; глаза ласково-усталые,—такими глядят цвetry-подснежники, не в меру согретые солнцем. Но и принимая ее ласки, Турустан не верил ей и делался еще печальнее.

Цыган после прогулок в лес деловито чистил своего коня, ласково приговаривая:

Голубчик ты сизокрылый,  
Мой родной, мой милый,  
Отчего ты приуныл?

Турустан слушал эти нежные присказки Сыча и злился. Так бы, кажется, и зарубил его топором. Осганавливает одно—могут тогда и самого убить. А ему, Турустану, умирать не хочется. О, как ему хочется жить! Шайтан с ними со всеми—лучше уйти, бросить их, и...

Сыч, видя Турустана, сидящего на бревне и зловещими глазами наблюдающего за ним, менял свою песню, беззастыдливо голосом начиная другую:

Как встает купец от сна,  
Мысль у ейного одна,  
Чтоб умыться, нарядиться  
И в гостиный двор итти.  
Он дорожкой спешит,  
А разбойничек глядит..

Противно было слушать Турустану и эту песню о купце и разбойнике. Его душа лежала скорее к купцу, нежели к разбойнику. «Купец — честный человек, а разбойник — вор и проклятый властями бродяга. Какая польза от него и кому?»

Однажды ночью Турустан разбудил Мотю и тихо, настойчиво сказал: «Бежим!». Она так же тихо и так же настойчиво ответила: «Не пойду! Будь честным, Турустан, и не покидай нас! Приходит трудное время». Турустан шепнул: «Живя с разбойниками, нельзя стать честным человеком». Она закрыла ему рот: «Мы не разбойники! Молчи, услышат — убьют тебя!» Турустан притих. Мотя уснула, а когда утром проснулась, — Турустана уже не было.

Поднялась тревога в Оброчной. Сыч сел на коня и помчался по всем дорогам искать Турустана. Поскакали и другие, но нет парня! Нигде его не нашли.

— Зачем он тебе? — спросила Мотя вернувшегося из погони Сыча.

— Слабый человек Турустан. Такие опасны, — ответил он.

Мотя рассказала, что Турустан звал и ее с собой, и не один раз.

— Стало быть, ты знала, что он уйдет? — изумился Сыч.

— Этого не знала.

— Ежели услышали бы наши, — они убили бы тебя! Ах, глупая! Ах, неразумная! — и прижался к Моте.

Мотя ума не теряла. Не раз напоминала она Сычу о Несмеянке, о его тревожных предсказаниях. Училась стрелять из пистолы и жалела, что не может рубить саблей: с трудом она поднимала ее. Сабли у ватажников были крупные, тяжелые — турецкие и «горские». Мотя еле-еле охватывала толстый крыж (эфес) сабли своею маленькой, почти детской рукой. Легче всего ей давалась пистоль — коротенькое, маленькое ружьецо. И то: люди брали его одной рукой, она — обеими. С завистью смотрела она, как Сыч булатным лезвием сабли рассекал стволы молодень-

ких берез. Ватажники, наблюдая за Мотей, пытавшейся так же взмахнуть саблей, смеялись:

— Хворост в лесу собирать, поди, куда легче! Сыч, не правда ли?

Мотя краснела, убегала. Ребята галдели ей вслед, хохотали. Сыч их останавливал.

— Чего вы, ей богу? Бараны! Испугать можете! Девчонка не знающая, а вы... У-у, пустогрызы!

Хохот увеличивался.

Веселье переходило в возню, в игру. Делились на-двое, начинали «потешную» войну. Выволакивали копыя, военные рогаины, обнажали сабли и бежали — стенка на стенку — с гиканьем и свистом. Звенело железо, лязгали сабли одна о другую. Глаза чернели, мускулы надувались, летели ругательства с обеих сторон, только одного не хватало — крови! От этого делался неинтересен потешный бой.

Один только Рувим не принимал участия в этой возне. На-днях из Арзамаса добыл Семен Трифонов приволок ему полный короб книг, которые Рувим и читал теперь целыми днями, а иногда, собрав около себя товарищей, читал и им. Они слушали его с большим вниманием.

И вот однажды вечером, когда он читал товарищам вслух «Повесть о горе-злосчастьи, и како горе-злосчастье довело молодца во иноческий чин», — в Оброчное, еле переводя дух, прибежал Семен Трифонов. Он рассказал обступившим его ватажникам, что епископ Сеченов сжег мордовское кладбище и что его чуть не убила мордва. Потом один монах натравил рыхловских мужиков на терюхан. Произошло кровопролитие. Несмеянка командовал мордвой.

«Ага! — загорелись глаза у Сыча. — Начинается!»

Семен Трифонов продолжал:

— Пойду я теперь в Рыхловку и пожурю деревенских, зачем послушали они монаха и пролили понапрасну мордовскую и свою кровь...

— Всех дураков не переучишь! — ухмыльнулся Сыч.

— Э-э, брат! Так нельзя говорить! — возразил ему Рувим. — Не знают они, что делают. Вот что.

Поднялся спор, — кто ругал монаха, кто рыхловских мужиков, кто мордву. Больше всех горячился цыган. Он грозил перебить всех рыхловских вояк. Тогда Семен Трифонов укоризненно сказал ему:

— Мотри! Сердитый петух жирен не бывает. Мужика надо понимать. Я сам — крестьянин. Знаю.

Сыч посмотрел на Мотю и рассмеялся, но, увидев, что она не на его стороне, покорился, не стал больше спорить. Разговоры пошли о том, как понимать все происшедшее. И все согласились с Сычом, сказавшим, что это только «начало».

Семен Трифонов снова приготовился в путь. Его останавливали:

— Куда ты на ночь, борода? Еще разбойники убьют.

— Я сам разбойник,— сказал он с улыбкой, застегивая кафтан.

— Значит, решил?

— Да. Пойду. Ночью буду в Рыхловке. Время терять опасно.

## XIX

В кремле, у острога, под Ивановской башней, в маленькой каморке, одноглазый, с изрубленным лицом вратарь раздувал огонь. Красный отблеск от печурки осветил в углу старуху. Настоящая ведьма, как в сказке: совиный нос, когти да глаза.

— Э-эх, и сердит же стал князь! — задумчиво сплюнул в печку вратарь.

— Чего там! Так и пыряет!.. Все плачут.

— Барская воля! Кого хошь пырай!..

Старуха взяла сухими пальцами горячий уголь, поплевала — уголь зашипел. Бросила с сердцем на пол:

— Ишь, бычится!.. Не хочет покидать. У, окаянный!..

— Ты кого?

— Дьявола!.. Господи, изгони его. Мутит он нас.

— Брось, убогая! В тюрьме дьявол — хозяин. Не изгойнишь.

Вратарь ехидно улыбнулся. Старуха замолчала. Кто-то заглянул в каморку, крикнув:

— Сидишь?

— Сижу.

— Огонь?!

— Дую.

И опять дверь захлопнулась.

— Кто такой?

— Сенька-сыщик... Фицера ковать будут..  
 — Фицера? Ай да батюшки!.. Да что же это?!

— Прикуси язык, тля! Не велено! Повесют!

— Ну?

— Вот те и ну! Сенька-сыщик не зря окольниковичает, нараз подслушает... — и, понизив голос, вратарь сказал: — Сенька домотал. Ночью возьмут. Могри, молчи!

— Человек — трава! — вздохнула старуха. — Растет — живет. Выдернут — нет травы!

— И чего приехал? Холоп — в неволе у господина, а господин — у злтей своих. На грех в Нижний его занесло. Чего бы не жить в Питере? Не как здесь.

— Понадеялся: думал — отец!

— Ноне не надейся, — не то што. Истинно. Вчера мордвин в сыск явился... из Терюшей — всех своих выдал... Логово разбойничье указал... Облаву губернатор готовит...

— Фицера пытать будут?

— Ощекочат, надо быть, апосля нутро вырвут.

Изрубцованный человек прошептал вдобавок:

— Скарденые слова про дарицу молот. Сенька-сыщик все до крошечки за ним подобрал. Губернатор пирожок из них спек... Да в Тайную канцелярию и послал... Еврейку тоже ищут.

— Думаешь, кончат?

— А ты думаешь? Барским навозом острога не спасешь. У нас и мужичьего довольно...

— Невдачлив, невдачлив... Не в отца, — покачала головой старуха. — Куды ж теперь богатство его пойдет? А? — Впалые глаза блеснули алчно.

— В казну. Деньги не голова: и отрубись — живут.

Отворилась дверь. Затрепетал огонь в печи. Вошел верзила, до потолка ростом, сицлый, сапожнищи с кисточками, высоченные. В помещении сторожки стало тесно. Широкий рот, почти до ушей, лошадиные зубы, и нет ни усов, ни бровей, а борода козлиная, острая...

— На дворе теплынь, а ты дрова жжешь, — пробасил безбровый.

— Приказано вздуть... Ковать, што ль, кого — не знаю. А ты што бродишь?..

— По кремлевской стене лазал.. Волгу глядел. Глаза режет, окаянная, — простору много. Не привык я.

— Э-эх, и любопытно ты вчера бурлака пытал!.. Ну, и ловкач! — подобострастно засмеялся вратарь.

— Не хвали. Простая вещь! Ты сам-то, нижегородский?!

— По староверству пристегнули... С Керженда я. Думал — помру, а н жив остался... В застенъи и осел. Сторожем.

— Старуха чья?

— Мертвецов омывает... Здешняя. Так, живет.

— Дело! Хорошо у вас тут: вода, земля, лес — как корову дой! Не в Москве.

— Господь-батюшка от земли и велел кормиться! — подала свой голос старуха, взглянув в лицо московскому кат<sup>1</sup>.

— Земля — божья ладонь, что говорить!

— Был ли у нас в соборе?

— Был. Князьям ходил кланяться. Собор большой, но с нашим Успенским не сравнять... На левом клиросе петь начну... Люблю!

Раздался шум на улице. Приоткрыли дверь. Потянулись с любопытством:

— Куда это стража? — спросила старуха.

— Тебе што? — угрюмо покосился на нее кат.

— Ой, дела будут! — вздохнул вратарь. — Мордвин напугал вчера и начальника... Воров много будет — тюрьмы нехватит... Губернатор успокоил: «В Волге тонить станем!».

Палач недовольным голосом возразил:

— Зря губить — не годится. Человек — вещь божья. Надо понимать. Дерево губят и то со смыслом. Сначала обследуют, потом рубят: либо корабль строят, либо дом, либо гроб. А человек родился с мыслью... А какие мысли?! О, госноди! Ни в какой библии, ни в каком евангелии того не вынешь, что из человека перед его смертью. Иной раз и не разберешь — кто это в нем говорит. Он ли или дух какой, три голоса иной раз из него исходят...

— Много ль тебе платят-то? — поинтересовалась старуха.

— Разно. По молебну и плата. С мужиков, известно, дешевле.

— Господа дороже?

— Всяко бывает. Тоже не одинаково.

— Скоро тебе офицера приведут.

— Тише! Ш-ш-ш! — палач зажал громадной ладонью старухе рот. Она замотала головой, замахала руками, задыхаясь.

---

<sup>1</sup> Кат — палач.

— Фу-фу-фу! Батюшка, ты так задушить можешь... Ой, что ты, что ты! Дай пожить!

Сторож рассмеялся, помешивая угли в печке. Захотел и кат. Потом сипло залаял в старушечье ухо:

— Знаю без тебя. Не поймав осетра, котел не готовь. Э-эх, и народ у вас тут!.. Дерьмо, а не люди. В Москву бы вас!.. Узнали бы, как языком хлестать.

Хлопнув дверь, он вышел на волю.

— Говорил я тебе, старая карга,— молчи!.. Смотри — и сама на дыбе повиснешь! И меня с тобой за язык потянут. С этим не шути! Ему сам чорт не брат. Только айдакни! Никого не пожалее, двух губернаторов, говорят, успокоил. А нас с тобой и подавно.

Старик слегка присвистнул и, встав, приоткрыл дверь:

— Дай-ка загляну, куда он пошел?

Оба высунулись за дверь. Кремлевские колокола тихо, унывно напомнили православным о совершающемся в Преображенском соборе всенощном бдении.

— Вон! — показал пальцем вратарь.

— По кремлевской стене близ Северной башни медленно, задумчиво шел московский кат. Черный, большой, он остановился, освещаемый вечерней зарей, снял свою косматую шапку и усердно помолился на кремлевские соборы...

— Сам губернатор на-днях угощал его у себя в покоях вином... А епископ благословил его в соборе, да еще просвирку ему дал... Только губернатору, купцам да ему — больше никому... Вот как, а ты тут болтаешь... Он и без тебя все знает... Небось, теперь только и думает, что об этом офицере... Глядит на Волгу, а сам думает. Знаешь, — золото прилипчиво. Сколько он душ-то сгубил, — не сочтешь. Только укажи, — родную мать зарубит.

Старуха вздохнула, перекрестилась. Вратарь нагнулся и шепнул ей на ухо:

— Возьми власть другой царь — и царицу нашу, матушку, заставь убить, — убьет. Ей-богу, убьет. Ему все равно.

— Ай, ай, ай, батюшки!.. А еще московский!..

— Тише ты! Не болтай зря. Их все равно не обкалякаешь. Держи молитву во рту — всем мила будешь... — и, смеясь, добавил: — Кроме бога!

Старуха поахала, пошепелявила, взяла одно полотенце, спрятала его в свои лохмогья и, распростившись с вратарем, заковыляла по съезду через Ивановские ворота к Почаинскому оврагу.

Вратарь еще подложил поленьев в печь, зевнул и кого-то зло обругал:

— Сволочи!

Марья Тимофеевна только что вернулась из Кремля ото всенощной и хотела садиться ужинать, как в дверь робко постучали.

— Кто там? — крикнула она.

— Пусти. Дело важное! — услышала она голос известной ей посадской нищенки Авдотьи.

— Иди. Чего там у тебя!

Старуха вошла, вынула полено из тряпья и усердно помолилась на иконы. Поздоровалась.

— Где барин?

— В опочивальне. Вчера караулил. Сегодня отсыпается.

— Буди его, да скорее! Не то опоздаешь.

— Что такое?

— Буди, говорю! — повелительно крикнула старуха.

— Ах, что же это такое?! — растерялась Марья Тимофеевна, удивившись настойчивости и развязности всегда тихой и жалкой нищенки. Пошла в опочивальню к Петру и разбудила его.

— Что-о-о?! — недовольно спросил Петр.

— Тебя... Дело важное...

— Да кто там?

— Тюремная поденщица... Скорее! Скорее!

Петр, ворча, торопливо встал с постели, накинул халат и вышел к нищенке. Та, как увидела его, так и бросилась в ноги.

— Родной!.. Прости старуху!.. Жадна я!.. Каюсь! На том свете жечь будут за алчность!.. Знаю!

— Да говори же — в чем дело? — начал сердиться Петр.

— Сто червонцев... Дай, батюшка, не жалей. Тебе лучше. Все богатство твое все одно прахом пойдет.

— Какие червонцы? Ты в своем ли уме? Вставай!

— В своем, батюшка, в своем. Дай, не скупись, а я тебе тайну скажу. По гроб благодарен мне будешь.

— Говори!

— Червонцы?!

— Говори. Не обману же я!

— Не обманешь?!

— Да говори!



Старуха подозрительно поглядела сначала в лицо Петру, потом Марье Тимофеевне.

— Ну, смотри же. Нищенку — грех обижать. — Слушай. Наклонись.

Петр подставил ей ухо. Старуха рассказала все, что слышала в тюрьме.

Петр ждал этого, он сам предчувствовал беду в последние дни. Косые взгляды, перешептывания, грубость начальства — все это не предвещало ничего хорошего. «Так это и должно было кончиться!» — думал Рыхловский.

Клевета, зависть и неприязнь окружали его с первых же дней появления в Нижнем. На него смотрели, как на чужого. Исподтишка над ним посмеивались. В глаза лестили, старались перейти на короткую ногу, выпытывали: как он думает о губернаторе, о своем полковом командире, расспрашивали даже насчет царицы, Разумовского, насчет двора; и о Тайной канцелярии шопотком старались выпытать кое-что, а потом шли к начальству и передавали его слова, прибавляя к ним то, чего и не говорил. Начались обиды, очные ставки, оправдывания и всякие унижительные для офицера, даже просто для человека, скандалы. Все сослуживцы точно сговорились сжить его с белого света. И прозвали они его недаром «белой вороной».

— Деньги?! — протянула ладонь старуха.

Петр вздрогнул. Очнулся.

— Марья Тимофеевна, прибавь ей!.. Спасибо! Спасибо! Старуха схватила деньги — и след ее простыл.

— Что же это такое?! Петенька! Петруша! — заволиновалась Марья Тимофеевна.

— Скорее собирай меня... Я должен бежать! Скорей! Скорей!

Марья Тимофеевна принялась за дело.

. . . . .

На губернаторском малом дворе, сохраняя полную таинственность, собирались сыщики, тюремная стража и пристава. Стало темнеть. Стражники тихо переговаривались между собой, посмеивались, толкали друг дружку; сыщики стояли, подобно ледяным бабам, в стороне, смотрели куда-то в пространство, как будто и в самом деле они не живые и ничего не видят и ничего не слышат.

В окне у губернатора огонь. Секретарь понес ему на

подпись приказ об аресте Рыхловского. Секретарь был человек спокойный, рассудительный. Нарядно одетый, он приседал и раскланивался с достоинством, то и дело розовыми пальцами в перстнях поглаживая парик.

Он вежливо сказал начальнику стражи: «Надо торопиться. Поручик стал догадываться. Как его сиятельство подпишут приказ, так немедленно бегите в дом Рыхловского. Не теряйте ни минуты».

— Готовься! — скомандовал начальник стражи.

Стража выстроилась. Ожили и сыщики. Чем темнее делалось на дворе, тем более похожими на живых людей становились они.

— Сейчас тронемся!.. — посмотрев на губернаторские окна, заявил начальник.

. . . . .

К Друцкому в покои, громяхая сапожниками и сердито стиснув эфес сабли, влетел командир Олонецкого драгунского полка. Он размахивал руками и непристойно ругался.

— Да говори же толком! Что такое?!

Друцкой усадил полковника в кресло.

— Как я того и опасался, Рыхловский сбежал... Мои солдаты его ищут и нигде найти не могут... Дома нет. Опоздали вы со своими борзыми... Упустили зверя! Затянули с приказом.

— Что-о-о?! — побледнел в ужасе Друцкой. — Я же приказал вам следить за ним! — вскрикнул он. — Рыхловский — поднадзорный!.. Ты знаешь это?! — Голос Друцкого обратился в вопль. — Сам... сам Александр Иванович Шувалов писал мне!..

Остановившись на минуту с дико вытаращенными глазами, он спросил, как бы на что-то надеясь:

— Да неужели убежал?! Может быть, ошибка?! — и, не дождавшись ответа, гаркнул, что было мочи, заслоня ладонью только что подписанный приказ об аресте Рыхловского: — Афанасий! Афанасий! Кличь приставов! Сюда! Сюда! Ну! Ну! А стражу скорее гони! Гони! — набросился он на вошедшего секретаря.

После его ухода губернатор, усевшись в кресло, закрыл лицо руками.

Полковник отвернулся, рассматривая на стене картину какого-то голландского художника. Он чувствовал себя виноватым в бегстве офицера.

Вошло шесть приставов. Испуганно стащили они с курчавых голов шляпы. Старший из них, трясая и задыхаясь, пролепетал:

— Явились по зову вашего сиятельства.

— Где офицер Рыхловский? — грозно остановился против них Друцкой.

— Ваше сиятельство... — еле слышно заговорил старший из приставов, — охранительница дома их, старушка Марья Тимофеевна, сказала, якобы, Петр Филиппыч ушли в полк... А Сенька-сыщик из подворья видел вчерашний вечер двух офицеров: одного узнал — Петра Рыхловского, а второго не мог признать... Пошли они оба на Ямские окраины, якобы, к штаб-квартире Олонедского полка, а следить мы посему не стали за ними, считая, что он в полку.

Губернатор многозначительно посмотрел в сторону полковника.

— Ложь! — вскипел тот. — Вчера вечером Рыхловского в штаб-квартире не было.

Губернатор завопил, оглушив полковника:

— Взять старуху! В кандалы ее! Пытать, чорт ее побери! Пытать!

Пристава попяtilись; перед их лицами замелькали кулаки губернатора: — Ах, вы, крысы! — закричал он. — На дыбе растяну всех, по жилкам, да по косточкам, в каземате сгною, предателей!.. Так-то вы служите ее величеству?!

Пристава грохнулись ничком к ногам Друцкого. Пытая то одного, то другого, губернатор изобильно осыпал их всяческими ругательствами. Неизвестно, долго ли бы это продолжалось, — если бы в комнату не влетел губернаторский секретарь и не доложил, что стража побежала бегом, а из Терюшей верхом на неоседланной лошади примчался монах, гонец из Оранского монастыря, требует срочного свидания с губернатором.

Друцкой, плюнув в сторону приставов, приказал:

— В застенки! Пытать! — Как и почему упустил из города поднадзорного офицера?..

Секретарь сделал знак, и пристава плачущим голосом, перебивая друг друга, оправдываясь и моля губернатора о пощаде, шумно двинулись в коридор.

Весь в грязи, в пыли, оборванный, растерзанный, с кровоподтеками на лице, монах, ввалившись в дверь, обвалил губернаторские колени:

— Письмо привез от его преосвященства! — Спасите, ваше сиятельство! Мордва и воры, мало того, что едва не лишили жизни его преосвященство, епископа Димитрия, ныне zelo обнаглели: жгут монастырское имущество, как вам известно — убили дворянина и старца Варнаву, поповедника слова божия, праведника, подобного апостолам... Ловят и калечат священнослужителей и грозят разрушением святой Оранской обители... Великою ордою собираются они по дорогам и лесам, и никому нет ни прохода и ни проезда.

Губернатор побледнел, читая письмо епископа, и дал его полковнику.

— Видели! — сказал он во время чтения полковником письма. — Сию же минуту гоните солдат!.. — крикнул он, получив письмо обратно.

— Пишите приказ. Кого послать?!

— Юнгера. Монах, уйди!

Чернец поднялся и скорехонько скрылся за дверью.

— Немец он. Пускай приложит старание удостоверить свою преданность российскому трону. Так и скажи ему. Пускай знает, что при слабости — погублю!

— Однако военной силой не обойдешься в делах гражданских... Я требую от губернатора крепости управления... — храбро сказал полковник.

Губернатор остановил на нем тяжелый, недоумевающий взгляд:

— Ты, что?! Учить меня вздумал?!

— Повальное истребление — не знак мудрости, ваше сиятельство.

— Военное мужество всегда влекло за собою покорность и красоту подчинения. Да и много ли надо силы, чтобы сброду сему внушить страх! Подумайте!

— Ружей пятьсот надо.

— Оные дикари одного ружейного огня испугаются и разбегутся. Возьмите пушку. Орудие наведет еще больший страх и нетрудно будет команде перехватывать мерзавцев. Кандалы пускай везут с собой в изобилии... Цепей! Больше цепей!

— Пушку я пошлю, но и людей число немалое... Нельзя на бунт посылать простую команду... Бунтовщики — народ отчаянный и умирают с большей охотой, нежели солдаты.

— После вас пусть оглядываются даже на свой хвост

в испуге, яко волки. Они трусы и справиться с ними совсем не так трудно. Ну, идите!

Полковник недовольно покачал головой и вышел, оскорбительно для Друцкого вздыхая и морща лоб.

Не успел губернатор, усталый, подавленный, сесть в кресло, как в кабинет к нему без доклада ворвался князь Баратаев. Бархатный камзол его был покрыт пылью.

— Ну, вот! — воскликнул он. — Уступил я дворянству и епископу, стал теснить мордву, строгость навел в Терюшах, епископ кладбище их сжег, — и что получилось?.. Мои люди бегут из мордовских деревень... Страшно там! Ад творится в лесах и полях на земле царевича. Грабежи, убийства, пожары начались... Появились какие-то чужие мужики. Я ночи не спал, страдал о вотчинах царевича Бакара, и вот.. гляди! Бунт!

Тут, видно, дело не в крещеньи. Весь бедный люд у нас всполошился. Крещенье — это только как причина... Со всех сторон мужичье стекается в Терюши... Подлинное восстание... бунт!

Князь Мельхиседек вынул из кармана камзола жалобу бурмистров и выборных представителей мордвы на действия его, князя Баратаева, и на епископа. Бурмистры намеревались отослать эту бумагу царевичу Грузинскому в Петербург. Баратаев ее перехватил и теперь доставил губернатору, прося его быть свидетелем того, что он выполнял волю епископа и соседей дворян, а не по своему капризу ввел жестокость в землях царевича.

— Я не знаю, кого мне и слушать! — простонал князь Баратаев.

— Сиди и молчи. Мною послана военная команда умирять твою мордву, — устало произнес Дружкой, отдавая бумагу обратно князю Мельхиседеку.

— Команда?! — в ужасе вскрикнул тот. — Но ведь у нас же поля засеяны!.. Военные батальоны загубят хлеб... Война в полях — убыток вотчине!.. Чего ты наделал, князь?!

— Нельзя. Бунт страшнее твоих убытков.

Губернатор достал из ящика письмо епископа и подал Баратаеву.

— Читай!

Письмо гласило: «По некоторым известиям, оные, Терюшевской волости некрещенные, по замерзшему своему варварскому обычаю и злему умыслу, хвалятся в той во-

лости церкви святыне сжечь, а священно-церковных служителей бить до смерти. Собравшись многолюдно, вооруженною ж рукою, те некрещенные приезжали в село Терюшево, чтоб, захватя, убить до смерти того села священника Ивана Макеева, чего для приступали к дому его и у хором окна выбили, да на Сарлейском мордовском кладбище таковые же некрещенные, многолюдным же собранием быв на обыкновенном своем приносимых скверных жертв бесовском игралище, едучи тем селом мимо святой церкви из священнического дому, браня того села священника матерно, произносили похвальные речи. Меня, епископа, они же смертно уготовлялись убить. Для искоренения вышедшанного от некрещенных злодейства и к отвращению начинаний их злого умысла, в защищение православнороссийския церкви и ее пастырей и пасомых стада христова — благочестно и всепокорно требую, дабы вами повелено было в показанную волость послать доброго обер-офицера с довольною командою. Благоволите все оное учинить по ее императорского величества указу».

— Ну-ну! Что теперь скажешь?! — спросил Друцкой. — Может ли губернатор не внять голосу архипастыря!..

Баратаев, окончательно убитый этим письмом, ничего не ответил. Он изнеможенно поднялся с места, взял свою шляпу и трость:

— Прощай. Что теперь скажет царевич? Он во всем обвинит меня!..

— Э-эх, брат! У меня похуже дела. У нас сбежал государственный преступник, клеветавший на самое царичу... бывший ее фаворит... Тайная канцелярия приказала его арестовать, а мы его упустили... Что теперь будет, подумай!..

Баратаев махнул рукой и разбитой походкой вышел вон из губернаторских покоев.

Через несколько минут секретарь доложил, что Рыхловского не нашли на квартире, а старуха, охранительница его дома, уведена в острог.

— А девчонка-еврейка?

— Ее тоже там не оказалось. Скрылась неизвестно куда.

Губернатор покачал головой и тяжело, мрачно засопев, изо всей силы стукнул кулаком по столу.

— Пытать! Пытать старуху!

Поп Иван Макеев усердно долизывал сметану в блюде, исподлобья поглядывая на Феоктисту Семеновну.

Она жаловалась на крестьян. С тех пор как умер Филипп Павлович, дворовые и деревенские стали «зело непослушны», за хозяйку ее не считают, своевольничают. И с молодым хозяином в Нижнем тоже что-то неладное. Приезжали из Нижнего пристава, обыскиали всю усадьбу, опрашивали мужиков и баб: не видал ли кто молодого барина? Никто не видал. Что такое произошло с Петром Филипповичем, — в толк она не возьмет. Рыхловка осталась без хозяина.

Поп морщил лоб, вытирал рукавом сметану на бороде и усах и причмокивал:

— Господня воля! Господня воля! Вон в Оранских ямах Олешка Микитин чернеда укокал да похвалялся в том, а стали ловить — к ворам ушел, в лес... Что поделаешь?! Буря в нашем уезде. У всех хвост крутится.

Слова попа еще больше напугали Феоктисту:

— Как же мне-то теперь, батюшка, быть?!

— Молиться. Мудрейший исход!

— Уж я и так целые дни перед иконами. Да видно в этом деле и святые угодники не помогут. Мужик свою силу почуял. Сами же били мордву, а теперь меня ругательски лают. Я-де виновата, что сироты остались, что бабы овдовели... Уж ты их, батюшка, поди, разуверь, утешь... угомони!

— За тем и прибыл аз... Винцо-то есть?

— Как не быть! Есть.

— Чарочку бы в полтретей ведра... С народом, чай, говорить-то буду. Для бодрости. Э-х-ма! Жизнь наша!

Феоктиста сходила в соседнюю комнату и вынесла кружку вина. Поп широко перекрестился на иконы, сказав: «Не тяготись жизнью, пастырь!» — и выпил все вино до дна. Сунул в рот подавший ему кусок телятины, задумчиво прожевал его.

— Вели бить в набат! Сзывай паству!

Феоктиста выбежала на волю. Велела попавшейся под руку дворовой девке ударить в набат и, бледная, испуганная, вошла обратно в горницу.

— Боюсь я их, батюшка... По ночам не сплю. Раньше, бывало, никогда не пели песни, при покойном Филиппе

Павловиче,— теперь горланят. И мужики, и парни, и девки — все полным голосом.

Поп усмехнулся:

— Бывает пение сатанинское, а бывает — ангельское...

— У них-то уж подлинно — сатанинское.

— Около мужика испокон века дьявол ходит. Это ничего.

— Останься заночевать у меня... Сам послушай.

Лицо попа просияло; взгляд стал масляным.

— Ой ли? — усмехнулся он. — Ну-ка, сбегай еще в виноградник. Принеси!

Зазвенело железо набата, голоса на дворе, какой-то свист, крик. Феоктиста, выйдя с кружкой из соседней комнаты, дрожащим голосом проговорила:

— Оставайся!.. Не уезжай!..

Отец Иван опять перекрестился, понюхал кружку с вином и залпом:

— Благословенна ты в женах! Останусь!

Обтер пухлые губы рукавом, прищулив глаза от удовольствия.

Со двора забарабанили в окно. Феоктиста затряслась, толкнула Макеева.

— Зовут. Иди, иди скорее!

Отец Иван подтянул вервие, став еще тоньше, откашлялся, приосанился, взял крест и евангелие и шмыгнул во двор. Встретилась там дородная, красивая дворовая девка, бойкая и веселая, из осиротевших гаремных девиц Филиппа.

Народ требует.

— Ладно. Веди! Токмо на грех не наводи... Как тебя зовут-то?

— Анна.

— Скучаешь, чай, о барине?

Девушка захихикала. Макеев украдкой оглянулся на феоктистины окна. Убедившись, что она не смотрит, он изловчился, и сбоку, незаметно, уцепился за девицу. Та хлопнула его по руке.

На широкой площадке перед воротами гудела толпа. Около распряженной телеги суетились дворовые девушки, устилали ее ковром, а на ковер втащили ведро со «святой водой» и положили рядом с ним большую кисть из конского волоса.

Увидев священника, толпа вдруг притихла.



Макеев, не глядя ни на кого, важно проследовал к телеге. Народу было много. Окружили его. Не видать ничего. Тогда, недолго думая, отец Иван забрался на телегу и провозгласил:

— Мир вам, православные христиане!

Мужики переглянулись, почесали затылки, стали разглаживать бороды — и ни слова в ответ попу. Кое-кто ошибочно поклонился. Отец Иван, влюбленный в свое красноречие, приготовился слушать сам себя. Большие надежды возлагал он на витиеватость речей, и теперь, мало заботясь о смысле того, что он будет говорить, начал:

— О возлюбленные христиане! Жизнь ваша тогда лишь будет проходить правильно, егда вы будете проводить ее в приуготовлении к вечности. Чем более вы презираете мысль о смерти телесной, тем ближе к вам состояние смерти духовной... Почто убивать себя в горестных заботах о земном?! Почто скорбеть о погибших и скончавшихся?! Помышляйте день страшный и плачьте о деяниях своих лукавых!

В толпе поднялся ропот и затем раздались какие-то выкрики женщин. Ему трудно стало говорить. Он благословил толпу крестом и почти закричал:

— Братие! Что видим мы? — Убийства, грабления святых апостольских церквей?.. Неповиновение властям!

Зычный голос из толпы оборвал речь отца Ивана:

— Богатый, — выходит: здравствуй! А бедный — прощай, о гробе думай! Так, что ли?!

Макеева трудно было смутить. Он привык «к злоязычию богомольцев». Не первый раз!

— Упражняйся в воздержании языка, сын мой! Отгоняй от себя блудные помыслы и мятежи!.. — метнул он грозный взгляд в сторону кричавшего.

Опять тот же голос:

— Оранский монах звал к мятежам и убийству против мордвы... А ты?!

Бешено загалдели рыхловские. Поднялся визг и плач женщин.

— Выходи-ка сюда! А ну, кто там мутит православных?! — завопил поп угрожающе.

К телеге через толпу протиснулся высокий, без шапки, с растрепанными волосами и бородой, бобыль Семен Трифонов.

— Я сказал! — дерзко крикнул он. Недолго думая,

вскочил на телегу и, обращаясь к Ивану, возмущенным голосом произнес:

— Монах повел их, дураков...— он указал на толпу крестьян, — бить мордву... Он обманул их, косматый демон, и они пролили попусту свою и мордовскую кровь! За что?! Скажи, за что?! За что стали сиротами невинные малютки? За что бабы овдовели?... Кто их будет теперь кормить?! Кто будет теперь о злосчастных заботиться?! Холода и голода у мужика и так полны амбары, пыль в них да копоть — нечего лопать, а ты нам о царстве небесном толкуешь?! Отвечай миру!.. Отвечай миру!.. Отвечай — за что погубили варод?! Отвечай по совести!

Семен Трифонов со всею силою сжал руку Макееву, в которой тот держал крест. Глаза Семена были красны, лицо все перекосилось от гнева. Макеев побледнел, пригнулся. Женщины завывали еще сильнее. Мужики стали грозить кулаками. Полезли к телеге.

— Православные христьяне!..— завопил Макеев визгливо. — Опомнитесь!.. Что вы творите?!

Семен Трифонов подхватил его обеими руками подмышки, сбросил с телеги наземь и, встав на телегу, сам громогласно обратился к рыхловским:

— Глупые вы, неразумные! Обманывают вас, а вы и верите!.. Осмелюсь же и я, братцы, заявить вам свое слово вразрез ему. Господину не надо горя, а мужику на что оно?! Давайте же поборемся с горем-сатаною, ударим его в тын головою! Самая последняя тварь, родившись, думает токмо о жизни, а мужик (Семен крепко обругался), родившись, должен думать только о смерти. Неправда! Господину жизнь дорога, нам еще дороже! Мордву зря выбили... Подумайте, на кой дьявол понадобилось вам? И мордва вас зря била... Пойдемте-ка лучше все в Терюшево, да заодно с мордвой, кто поленом, кто топором, кто вплами, начнем бить монахов и бояр. На мордву идет из Нижнего войско! Но не верьте тому, войско идет на всех нас... Оно за бояр, за богатую знать, за Оранский монастырь! Не верьте монахам, даже когда они показывают вид, что они — за нас. Самый отважный из них не способен быть истинным братом мужика... Войско близится!.. Люди из Нижнего пришли, рассказывали, видели... Собирайтесь же, идите со мной, я сам мужик... Я знаю, куда вас поведу... Умрем, а не дадим себя на истязание!

Семен Трифонов яростно потрясал кулаком в воздухе.

Множество кулаков поднялось над головами в толпе разъяренных крестьян.

Иван Макеев, воспользовавшись возбуждением крестьян, слушавших Семена Трифонова, тихонько ускользнул прочь от телеги на усадьбу. Этого никто не заметил,—вернее, никто и не обратил на это внимания. Всех захватил смысл речей Семена.

В горницу Феоктисты Семеновны Макеев вошел важный, нахмуренный, не показывая вида, что с ним случилось.

— Кума, вина!

Феоктиста Семеновна исполнила его просьбу. Руки ее тряслись, сама она побледнела, осунулась сразу. Хотя и не выходила она за ворота, а сидела в сених, издали прислушиваясь к шуму, поднятому крестьянами, но все же ей стало понятно, что дело отца Ивана проиграно.

Видя смущение и страх Феоктисты, он принялся разглагольствовать:

— Раб божий—мой раб. Запомни. Придет час—все они, голубчики, полягут передо мною, обливаясь слезами раскаяния. Не верь им! Мне верь! Ненадолго хватит сей гордыни ума у смерда. У пастыря же не гнев, а ум должен действовать. Ты лучше приготовь-ка мне ложе, да и сама ляг, отдохни... Если кто изыскивает что-либо мудрое, тот должен думать об этом ночью. А сюда они не пойдут. Не до нас им с тобой.

Феоктиста Семеновна крайне удивлена была хладнокровием отца Ивана. Правда, хмель оказал уже свое действие на него, но все же не настолько, чтобы он мог забыть об опасности.

— Они и нас убьют?!

— Не убьют! Они меня с телеги низвергнули наземь—я не стал их поносить никакими словами и не стал им говорить о боге, а рассмешил их, победжав, аки заяц... Они посмеялись надо мною и только тем насладились. С них оного довольно. На душе у них стало легче, что они над попом надругались... Бог им простит, а мне польза. Унизиться мне перед народом—значит, ввести народ в великий долг передо мной. Я останусь у тебя ночевать... охраню тебя от бед. Не бойся!

Феоктиста Семеновна обрадовалась. Бодрость отца Ивана передалась и ей. С улыбкой облегчения принялась она взбивать пуховики у себя на постели.

Макеев вышел на двор, прислушался. Голоса крестьян доносились издалека. Словно из-под земли появилась та же дворовая девка Анна.

— Ты чего? — удивился отец Иван.

— Мужиков смотрела.

— Куда пошли?

— В Терюшево. Дальне-константиновский бобыль повел их... С дубьем, с вилами, с рогатинами. Воевать пошли.

— Ты чего же смеешься?

— А что же мне — плакать?

Иван подумал о том: хорошо бы на месте Феоктисты Семеновны была теперь эта девка.

— Ах, господи, господи! — вздохнул он.

— Вы о чем?

— Об уязвлении похотью грешного человечества... Тебе сколько лет-то?

— Осьмнадцать.

— Давно ли ты у барина в дворовых?

— Два года.

Он опять вздохнул:

— О времена! Что же это такое на белом свете делается?!

— Мне и хочется будто бы пойти за своими в Терюшево, а боюсь... — закрыв лицо, прошептала Анна.

— Девке полагается дома сидеть и рукодельничать. Вот что.

— А у нас была мордовка, Мотя... Она разбойницей стала...

— Ну?!

— Верхом приезжала к нам... Красивая! Говорила, будто скоро мужики учнут бить вотчинников. Говорит — разбойники сожгут и Рыхловку... Что тогда мне делать?!

И опять засмеялась.

Он хотел шепнуть: «Приходи ко мне, в Терюшево», да вспомнил о своей матушке, о Хионии, и почесал озабоченно под бородой горло и, как будто, отвечая своим мыслям, произнес: «м-да!».

В это время на крыльце появилась Феоктиста Семеновна. Ласково кинула она:

— Аннушка, милая, сбегай-ка на скотный!.. Посмотри, как управился там со скотиной Дениско. А ты, отец Иван, жалуй-ка в горницу. Все готово. Иди спать.

В горнице Феоктиста проворчала:

— Порченная девка... Не слушай ее! Неисправимая... покойный Филипп Павлыч всех девок испортил... Они дерзкие и озорные стали...

Его взяла досада: «Леший тебя дернул вылезти на двор!» — подумал он и сказал:

— Какой-либо девиде стоит только некоторое время провести в разврате, и она, жалкая, слишком медленно будет исправляться. Если и решится исправиться — ради слез своей матери. Крепитесь она несколько времени, и потом вдруг показывает себя, точно в припадке. Она бежит от своих в дом непотребный... Она смеется и плачет. Это то же, что запой у пьяницы... Жалости достойны подобные девицы...

Феоктиста Семеновна, поверив чистоте помыслов отца Ивана, успокоилась. Чувство ревности к девке Анне у ней улеглось.

— Теперь воздадим хвалу господу богу — и на боковую! Э-эх, и чего людям надо?! Чего ради они мнутесь и на стену лезут?! К чему понадобились им бунты и войны?! О, владычица, прости меня, грешного!

Укладываясь спать, он по ошибке едва не назвал Феоктисту Семеновну Хионией...

Феоктиста поняла, что теперь на ее долю выпадает обязанность утешить отца Ивана. Она сказала: пускай совесть его будет спокойна, с Хионией он живет постоянно, а к ней, Феоктисте, заезжает в месяц раз — может ли после этого обижаться на нее его толстая, как бочка, противная, своекорыстная Хиония?

Он притаился, удивившись ревливой воркотне Феоктисты. Ему всегда очень нравилось, когда она бранила Хионию. Ему было любопытно слушать, как она ревнует его к его же собственной жене. Она готова растерзать Хионию, считая ее недостойной быть женою его, Ивана. Она говорит, что если бы была его женою, то ошастливил бы его навек и заботилась бы она о нем не в пример больше, чем заботится о нем его глупая Хиония, которая безусловно не стоит его, отца Ивана.

Выслушав ее, поп самодовольно улыбнулся, подумав: «Да разве я тебя, сухожильную клячу, променяю на свою удобренную матушку Хионию!».

...Наутро, усевшись в кибитку, он чувствовал себя самым грешным человеком на свете. Ему неприятно было глядеть на Феоктисту, юлившую вокруг кибитки. Он даже

не обратил внимания на девицу Анну, с улыбкой отворявшую ему ворота.

Во дворе возникли цепные псы. Солнце, весенний воздух—все это воспринимал он, как укоры своей совести... Пели скворцы... Взору его открылись зеленеющие озимые поля, одинокие березки. Но... похмеле, головная боль. «О, господи, за что наказываешь?!» И опять потянулись мысли о бунтующих мужиках, о восставшей беспокойной мордве, о епископе, о Хионии (жива ли она, не убили ли ее рыхловские мятежники?), о детях и о прочих своих житейских насущных делах.

— Вези скорее!—толкнул он в спину возницу.—Чарку вина поднесу, коли прибудем в жилище.

## XXI

Появились облака. Они двигались медленно, плавно, устилая небо. Не мог не заметить этого сидевший на сосне в дозоре вождь мордовских толпищ Несмеянка Кривов. Каждая покачивавшаяся ветка, либо травинка всякая вспорхнувшая поблизости птица или бабочка, каждая мелочь—заставляли его еще крепче сжимать ружье и еще острее вглядываться в даль.

От самого этого дерева и далеко-далеко, вплоть до того места, где земля сошлась с небом, простирается зеленая, холмистая долина. Холмы косматые, в соснах и кедрах; речка чуть заметно ползет и кружится в кривых ложбинах между холмами. Не речка, а бирюзовая нить, брошенная кем-то на зеленый ковер.

Около Несмеянки, внизу, у корней дерева Иван Рогожа с неразлучной своей кайгой.

На той неделе в Терюшах появился беглый писец духовного приказа Сергей Гнутов. Он раздобыл где-то пистоль. Теперь он находился тут же, в дозоре. Ватажники его привяли с большой охотой. Он им многое рассказал о замыслениях духовного приказа против раскольников и народов Поволжья. Царица задумала большой поход на иноверцев в угоду дворянам.

Кругом пустынно и тихо-тихо словно перед грозой, и пахнет головокружительно ромашкой, разомлевшей от тепла. Вспоминается детство. Несмеянка парвал себе много цветов и заткнул их за пояс около кинжала.

Перевалило уже за полдень. Лазутчики вернулись с известием, что солдаты под командою премьер-майора Юнгера уже в каких-нибудь десяти-двенадцати верстах. Надо быть готовыми. Тысяча человек мордвы, а между ними и русские и чуваш, залегли в оврагах с луками, рогатинами, ружьями и бердышами. И ватажники не забыли Несмеянку, пришли помочь мордве под начальством бесстрашного башкира Хайридина. Укрылись они особо, положив коней в соседнем овраге, — всего их было полтораста человек, вооруженных саблями, пиками и ружьями; из них сорок всадников — храбрецы один к одному (в их числе и Мотя); глядят неотрывно вперед, на дорогу, глаза сверкают, поздри раздуваются, оружие стиснули так, будто оно приросло к рукам, одеты чисто: кто в сапогах, а кто и в новеньких лаптях (терюханские мастера-лапотники обули). Атаман Заря не любил нерях. Хайридин озаботился, чтобы в Терюшах посытнее накормили ватажников. За этим дело не стало. Крестьяне наперебой тащили их к себе.

Сыч, лежа рядом с Рувимом, рассуждал:

— Губернатор пугает рублением голов, но не запугаешь этим народ! Поляки на Украине рубят у гайдамаков и руки, и ноги, и головы, и рассылают по селам и деревням, будто бы, подарки какие, а гайдамаков все больше становится... а панов на Украине все меньше. Э-эх, и песни же гайдамачина распевают!

Сыч тихонько зашел около самого уха Рувима:

Ми того коника в того пана купили,  
В зеленый дубравы гроши полчили,  
В холодной криници могарич запли,  
Пид гилу колоду пана пидкатили...

Глаза Сыча хитро заиграли:

— Ну, и кони же есть у гайдамаков!.. Спасибо польским панам — умеют, однако же, коней подбирать! Гайдамачьи лыцари знатно на них лихуют... Сам даже ихний игумен Мельхиседек благословил всю их конницу и водичей святой покропил их сабли — с молитвою: «рубите, мол, панов проклятых, рубите!». Ой, и что же они там, голубчики, делают, ой, какая же там страсть идет! Не так, как у нас, у горемык. Разве же это дело?! Мы только пугаем — губим бар мало.

— Подожди... — задумчиво сказал Рувим. — Мы не знаем, что еще будет... Неизвестно. Губить не трудно, да только разбирать надо...

— А что нам?—усмехнулся Сыч.—Голый, что святой: беды не боится!..

— Беды остерегаться нужно, но наиболее — надо ее отвращать. Зря губить — дело, говорю, не хитрое.

Хайридин, лежавший на животе у края оврага и глядевший вдаль, откуда должно появиться губернагорскому войску, услышав разговоры Сыча с Рувимом, погрозился: «Молчите!».

Громадные черные облака, загораживавшие собою небо, теперь медленно проходили над самой головой. Необыкновенная, заставлявшая тревожно биться сердце, тишина как бы сопутствовала их плавному загадочному ходу.

— Чего ты все вздыхаешь? — спросил Сыч у Гнутова.

— Жена загубила.. Всю жизнь мне изгадила.. Детей жалко!

— Пистоль в руке, а ты о жене, о детях!.. О бабе стыдно вздыхать, пускай она о тебе вздыхает... Я этого не люблю.

— Обманывала она меня... — тяжело вздохнул опять Гнутов. — Да так обманывала, что и сам сатана до того не додумается...

— Есть бабы хуже сатаны. Не удивляйся. Вернешься, убей ее.

— Нет. Не могу. Дети!

Люди исподлобья, недружелюбно поглядывали на облака.

— К добру ли они?

Словоохотливый Сыч заговорил:

— А почему игумен Мельхиседек благословил гайдамаков? Много терпит мордва от русских господ, а Украина во много раз больше. Тамошние царские канцелярии знатно объярамили народ. Люди говорят: «Коли бы перстом изрыть частицу земли на месте, где бироновская канцелярия была, то ударила бы выше колокольни кровь человеческая, пролитая той канцелярией». Вот почему даже раболепный синодский архиерей благословил разбойников, поднявших руку на дворян. Старичку-архиепископу и тому пришлось не по нраву злодеяния царских наместников.

Хайридин опять покосился на Сыча.

— Ладно, ладно... молчу! — усмехнулся тот, с великим трудом заставляя себя молчать.

Время тянулось медленно. Разговор опять возник. Теперь заговорил бобыль Семен Трифонов. Он был без шапки, на лбу черная нить дратвы, которой он обтянул всю свою



голову кругом (в знак того, что он сапожник). Дратва и заменяла ему шапку. Лежа на боку с ружьем, взятым в усадьбе Рыхловского, он задумчиво гладил бороду, рассуждая:

— Из деревни Вармален от мал до велика пришли... Из Березняков Иларион Косолапов пятнадцать мужиков привел. Из села Суроватихи приперли не только мужики, но и бабы. Из Арманихи и Лубенцев восемь душ... А движемся к Нижнему, вся православная босоножь потянется за нами... Куды тут! Народ токмо того и ждет... И я так говорю: Нижнему граду не сдобровать... Отвага мед пьет и кандалы трет, и города берет, а тут наяву такой пир! Господи! Да когда же так было-то?!

— А куды в Нижнем денемся?.. Простак! — засмеялся бежавший из Казани поп-расстрига.

— Куды?! В кремле заборонимся, пушками христосоваться начнем направо и налево. В соборах, в монастырях засядем... Авось на божии храмы-то и не полезут... Хоть и слуги царевы, а совесть уже не совсем же пропала.

— Вот и говорю — простак; паки и паки<sup>1</sup>... простак! Дитё! Цари с богом даже спорят... Они не согласны на земле уступить власть богам. Возьми Тишайшего царя! Чуть ли не святым почитали Алексея Михайловича... Однако, он Соловецкий монастырь не пожалел во время бунта, велел воеводам паличь из пушек в него. Воевода выполнил волю царя и побил, покалечил праведных иноков и опоганил святые иконы. Коснется дело — и внучка Тишайшего не пощадит нижегородского кремля. Пушечка поползет по ее приказу, а коли нужно, харкнет на соборы, рассыплет их по камешку... А епископ Димитрий и губернатор сему всеусердно помогут. Царям божественное только прикрытие.

Расстрига съжился от страха. Сам испугался своих мыслей. Над ним посмеялись. А возражать ни у кого охоты не было. Да и что скажешь: кто же лучше попа знает эти дела?!

Теперь Хайридин показал попу свой кривой нож, прошипев: «Зарежу! Не пугай!». — Поп спрятался за соседей.

Цыган Сыч пожалел его. Ободряющим голосом сказал: — Подожди, отче! Дозреем! Не будь невером, либо

---

<sup>1</sup> Паки — опять.

паином; над чем другим, а над небом-то и мы одинакую власть имеем, как и цари. Что мы, что они—все одно для него... Половина мира наша! Так же будет и с землей... Дело тут, правда, потруднее, но не зря мужик видит во сне хомут—быть и лошаденке! А будет лошаденка—найдется куда и съездить... Дорога не заказана. Куда нужно, народ по ней доберется.

Вдруг раздался громкий протяжный свист Несмеянки, увидевшего врага.

— Ребята! Идолыще надвигается!—прошептал Сыч, подползая к краю оврага.

Все ватажники смолкли, затаив дыхание. Уперлись взглядами в ложину между лесистыми холмами, откуда ожидались солдаты. Цыган Сыч шмыгнул в соседний овраг к лошадям. Подполз к ним, любовался ими, погладил их: конные ватажники каждый при своем коне.

Хайридин и Сыч должны были повести в атаку конницу. Пешими командовал великан тобольский—дьякон Никитин, присланный Михаилом Зарей из Городища. На общем совете ватажников было решено пеших пускать в бой в самую последнюю минуту,—если дрогнет мордва. Коннице надлежало опираться на эту засаду. Трудно было дьякону уговорить свою команду, чтобы никто не выскакивал из оврага раньше времени. Мордва под начальством Несмеянки должна была ринуться в бой первую, неожиданно, подпустив к себе неприятеля возможно ближе.

Несмеянка разделил свое войско на несколько отрядов. В одном—начальником поставил храброго парня из деревни Малое Сескино—Дружинку Мясникова, в другом—крестьянина той же деревни—Ишта Ортина, в третьем—Сеску Китаева, в четвертом—Есмукана Надеева. Несмеянка подбирал себе в помощники большею частью людей из Большого и Малого Сескина. Сам он был оттуда, их он лучше знал, чем других, больше на них надеялся. Среди мордовских бунтарей было четыре жреца—из деревни Березняки—Петруня Танзаров, из деревни Иниютино—Сустат Павлов, из деревни Малое Сескино—Нардян Кажаяев, да привозный—Мазоват Нарушев. Жрецы ходили в толпе языческой мордвы и ободряли ее по-своему, суля всевозможные блага после смерти. Они уверяли, что смерть—только переход к лучшей жизни,—сами, однако, при первом же сигнале Несмеянки, тотчас же убежали в тыл, в колдобину, тщательно укрывшись в ней и огородившись камнями.

Во главе пришельцев из русских деревень стал Семен Трифионов.

— Ну, борода! Держись! — кивнул ему Сыч.

— Топорами да вилами много ли навоюешь?! — грустно отозвался Семен, указав рукой на пеструю сермяжную рать, вооруженную чем попало. Кое-кто крестился, вздыхал. Глаза у людей беспокойные, но испуга не видно.

— Нам бы ружей, огня... Мы бы...

— Из бороньего зуба щей не сварить... Ружьецо бы, господи! — тоскливо вздохнул по соседству с Сычом седой старик, тоже ушедший из своей деревни «драться с губернатором».

— И ты, братец, не робей, — сказал Сыч Гнутову.

— Я мстить хочу!.. Царице, Шувалову, любовнику моей неверницы, и ей самой... — тихо ответил Гнутов. Мне хочется умереть в бою... Не могу я перенести той обиды... Обида страшная, непереносимая.

— Умирать из-за бабы — глупости! — сердито произнес Сыч. — Лучше умри за наше молодецкое дело...

Не только Гнутов стал обиженным мужем. Не одному ему пришлось пострадать таким позорным образом. При дворе Елизаветы, ради похотливости не жалели никого и ничего. В нем проснулась ненависть к разврату, царившему при дворе, среди вельмож, чему покровительствовала царица. Жена виновата, конечно, она, как самка, льнула к сильным здоровым мужикам, не щадя мужа и чести семьи. Но она не одна, их творили придворные нравы. И вот против царицы, против властей, против «сильных мира сего» в душе его поднялся бунт. В его памяти мелькала ехидная, издевательская улыбка царицы, когда она допрашивала его; он видел насмешки придворных, когда его вели через палаты дворца. Ему вспоминалось красивое с звериным взглядом лицо Шувалова, и он кипел гневом и жадой мести... Мстить! Мстить!

Но вот Несмеянка соскочил с дерева. — «Идут!», — крикнул он. Стали готовиться к бою. «Чам-Пас, помилуй нас!», — пронесся шопот в толпе мордвы.

Бравый офицер, премьер-майор Юнгер всю дорогу вел солдат с большой осторожностью. Он был предупрежден о засаде. Уведомил его мордвин Турустан Бадаев, а Турустану передал Сустат Пиюков. Чуть лошадь не загнал Турустан, выполняя приказание жреца. Он и донес губер-

натору о том, что «мордва собралась великою ордою и под началом Несмеянки Васильева Кривова ушла в леса навстречу нижегородскому войску», а где будет та засада, он, Турустан, пока не знает. (Губернатор одарил мордвина деньгами и обещал ему дать должность.) Турустан чувствовал себя счастливым от этих губернаторских милостей. Теперь он желал одного, чтобы его соотечественники — мордва были разгромлены губернаторским войском и покорились ему, а Несмеянка был бы убит. Тогда он мечтал стать первым человеком в Терюшеве.

Юнгер не придавал большого значения этой засаде, имея в своем отряде двести человек драгун и столько же пехоты, да еще с пушкою. Он считал себя непобедимым. Отправляясь в поход, он даже смеялся, пожимая руку Друцкому, — стыдно, мол, на дикарей, владеющих одним дрекольем и тетивою, итти царскому офицеру воевать. Он был уверен, что мордва одного лишь вида его испугается. Но, все-таки, приказал команде итти в лесу редким строем и как можно тише.

Из леса, из-за холмов, на громадную зеленую долину премьер-майор выехал уже в более спокойном настроении. Лес миновали, не встретив никаких препятствий. Раскинувшись открытая местность. Здесь — казалось Юнгеру — никакой засады быть не может. Местность открытая, все как на ладони. Он скомандовал «вольно!». Велел даже запеть песни. Всем стало легче. Напряженный лесной переход, когда за каждым деревом, за каждым кустом мерещится неприятель, порядком утомил. Юнгер повеселел, опустил поводья, закурил трубку. Приятно прохладило из низины, пахло пряными болотными цветами. Можно было бы скомандовать солдатам — расположиться здесь на продолжительный отдых, но, пожалуй, не выполнишь приказа губернатора, не доберешься к ночлегу до Большого Терюшева. Премьер-майор считался самым исполнительным офицером в нижегородском гарнизоне. Ему приходилось поневоле стараться заслужить расположение начальства, так как он немец. Малейшая оплошность может ему повредить, даст толчок русскому офицерству взвалить на него всякие провинности, — в итоге разжалование в солдаты, а то и тюрьма и ссылка.

Мысленно он отчаянно ругал русское офицерство и дворянство, осуждая в душе даже самую царицу за ее попустительство в преследовании немцев..

...В эту самую минуту вдруг откуда-то, словно из-под земли, раздался страшный вой, в воздухе запыли стрелы.

Юнгер не успел даже отдать команду: так быстро на ровном месте, будто из недр земли, появилось множество людей, а впереди этой орды с гиканьем, свистом, держа пикки наперевес и размахивая саблями, мчались хорошо вооруженные всадники. Сгорбившись и привстав на стременах, впереди всех неся башкиред, длинные полы полосатого кафтана его развевались от быстрой скачки. Вид всадников был «самый разбойничий». Драгуны, не дожидаясь команды, стали палить — кто в толпу, кто по всадникам. Пехота от неожиданного нападения мордвы сбилась в кучу. Началась беспорядочная пальба. Мордва остановилась, ошеломленная страшным ружейным огнем. Несмеянка, носясь на коне впереди всех, кричал, надрывался, чтобы шли вперед, но... натиск был сломлен, сила удара потеряна.

Хайридия и Сыч замедлили бег своей конницы, увидев замешательство в отхлынувшей назад толпе мордвы, и крикнули своим, чтобы они рассыпались по полю. Это было условлено Хайридином заранее, и каждый знал, куда скакать. Стычки ватажников с войсками, ввиду неравенства сил, большею частью оканчивались отступлением ватаг россыпью в разные места, что и делало их неуловимыми и спасало от правильного обстрела.

Мордва тоже спряталась в свое прикрытие.

Воспользовавшись этою неудачею неприятеля, Юнгер построил солдат в боевой порядок. Команда произвела несколько ружейных залпов в воздух, затем выпустила три ядра из пушки и снова двинулась дальше. Юнгер, однако, не пошел прямо на то место, где укрылась мордва, а спустился ниже, в обход, вдоль русла речушки, подставив, сам того не подозревая, свое левое крыло пешей засаде ватажников. Великих усилий стоило дьякону Никитину и Рувику сдерживать своих товарищей, внушить им, что придет и их черед, что рано еще выходить из засады.

Мордва, заметив хитрость Юнгера и не слушая команды Несмеянки, беспорядочно ринулась наперерез войску. Снова полетели тучи стрел в солдат. Опять загревели оружейные залпы и загрохотала пушка, оглашая зеленые дубравы звероподобным, несслыханным в здешних местах рыком. И снова в страхе подалась мордва в свои овраги.

Призадумался Юнгер, — идти ли ему дальше или же укрыться в большом лесу.

Хайридин воспользовался этой заминкой. Стрелой пробежал он по полю в тыл врагу со своими молодцами и затем со свистом и гиканьем дал знать товарищам о том, чтобы следовали за ним. Стоило ему нырнуть в кустарники соседней рощи, как туда же примчались и остальные тридцать девять человек, в том числе и Сыч.

Драгуны спохватились, да поздно. Зря только выскочили из-за холма над речкой, куда их увел Юнгер. Никого уже не было. Получилось выгодное положение у конных ватажников, — то место, куда они собрались, было расположено поблизости от оврага, где сидели в засаде пешие ватажники.

Терюхане же, притихнувшие было, снова дико загалдели и снова бестолково, бурю метнулись в бой. У них уже было сорок убитых и раненых. Самому Несмеянке ранило руку. Но они дрались отчаянно, не жалея себя.

Юнгер, видя упорство мордвы, растерялся. Это сразу понял Хайридин. Военная команда застряла на одном месте у речки за холмом. Ни туда, ни сюда. Понял это и Несмеянка, приказав Дружинке Мясникову обойти холм солдатам в тыл. Но ничего не мог сделать Дружинка, ибо не слушались его, лезли с бестолковою остервенелостью прямо на врага, в одно и то же место, и многие тут же падали убитыми.

Хайридин раздумывал, не настало ли время ему по-настоящему ударить в тыл и не только навести страх на солдат, но и дать им хороший удар. Не хочет этого почему-то сделать Несмеянка, — нужно сделать ему, Хайридину.

— Айда! — крикнул он ватаге.

Снова пронеслись всадники. С диким гиканьем они бросились по полю врассыпную и врезались в самый затылок губернаторского отряда, убив и поранив нескольких солдат и сбив с коня какого-то офицера. Мотя с радостью увидела, что от ее пули упал этот офицер. Когда же Юнгер повернул драгун в сторону ударившей ему в тыл конницы — на него опять с неистовым воем повалила мордва, прямо на огонь: падал один, за ним шел другой, третий...

«Все равно помирать!», — говорили терюхане, презирая опасность.

Юнгер снова повернул на мордву, а в эту минуту Хайридин опять налетел на его тыл со своими храбрецами.

Начался жаркий бой. Пищали стрелы, как птицы, вонзаясь с шипением в тело. Свистели пули, сбивая людей

наземь. Раненые в окровавленных лохмотьях с разбитыми лицами, размахивая бердышами, рогатками и вилами, все равно лезли к пушке. Падали сраженные огнем, а за ними, задыхаясь от злобы, неслись другие... Конница Юнгера, рассыпавшись по полю, билась саблями с конными ватажниками. Башкирец носился, как обезумевший, в самой гуще врагов, ловко поражая их своим громадным ятаганом, но сила губернаторской конницы брала верх численностью.

Видя это, вылез из своей засады громадина-дьякон Пересвет, а с ним Рувим; во главе пеших ватажников они побежали по полю на помощь Хайридину. Раздались новые выстрелы, и несколько губернаторских всадников свалилось с коней. Остальные вскачь бросились к своему стану, преследуемые Хайридином. Мотя не отставала от других, бесстрашно носилась по полю, догоняя на своем коне то одного, то другого кавалериста.

Мордва немного оттеснила губернаторскую пехоту. Дерзко выдвинулись терюхане вперед. Непрерывно шлепала тетива на луках. Звенели рогатки, сабли, вилы. Все смешалось в ожесточенной драке.

Положение Юнгера становилось опасным. О наступлении нечего было и думать. Тут только премьер-майор понял, как мало знают нижегородские военачальники о мордве и об истинном положении дел в Терюшевской волости. И к чему навязали пушку? Сам Друцкой посоветовал взять ее, а теперь она только связывала, мешала. В таком бою ей нечего делать. Немец начинал уж думать об отступлении. «Прощай, офицерское звание!», — с горечью вздыхал он, бегая среди солдат и ругая их, на чем свет стоит.

Только когда солнце село, битва утихла. Несмелюка укорял своих помощников, перевязывая раненую руку:

— В бою-драке думай о товарищах, чтобы не погинули они понапрасну... Зря народ теряет!.. Они, глупые, лезут на огонь, как слепые... А вы что смотрите?!

В поле и по берегам речки корчились на земле, стонали раненые, а подойти нельзя. За холмом только того и ждут.

В этом бою был смертельно ранен Сергей Гнутов. Умирая, он, собравшись с последними силами, громко проклял свою жену Евпраксию, после этого остывающими губами он послал благословение своим детям...

Ватажники закрыли ему глаза.

Сыч сказал, нахмурив брови:

— Поклонимся праху мученика-мужа, глупого и неразумного, не сумевшего проучить свою подлую жену.

Там же, на поле остался и Рувим. Его свалили в ту минуту, когда он, увидя раненого ватажника, слез с лошади и стал из своей фляги поить его водой. Изумал, к тому же, о чем-то переговариваться с ним. Мчавшиеся обратно в свой стан разбитые Хайридином солдаты зарубили его шашками.

— Обилие чувств и мыслей в бою всегда приводит человека к гибели,— говорил, смывая с рук кровь, дьякон.— Волчий капитан, небось, не зевает... Было бы в его воле, всех бы он нас перебил!.. Что ему! Чихнуть им труднее, нежели невинную крестьянскую душу загубить... Победят— нам конечная погибель. Благодарение богу! Победить им не удастся. Залюбовался я Несмеянкой — ему дана от бога храбрость и верная рука. Большой воин будет!

В это время приполз ватажник, видевший бой мордвы с солдатами.

— И-их, братушки! Десятков шесть, почитай, полегло у ручья.

— Доколе же нас гнести будут?! Владычица!— вздохнул беглый поп.— Не видать мне больше солида красного. Прощайте, ласковые глазыньки!

— Не скули!— зыкнул на него дьякон.— Послать бы тебя под Минихом да на татар или турок... Поучился бы! Хлебнул бы горя!

Затишье становилось зловещим. Подул ветерок. Надвигался сумрак. Солдатский стан притаился за холмом.

Защелкал соловей в роще. Золотыми цветочками усеяли звезды небо. Иван Рогожа тихо, старческим голосом, напевал под струны кайги:

..На Горах то было, на Горах на Дятловых,  
Мордва своему богу молится,  
К земле-матушке на восток поклоняется...

Ночью в Нижний, в кремль, примчался верхом на лошади, растрепанный, без шляпы, Иван Макеев:

— Горе нам!.. Немало полегло солдатшек!.. И пушку бросили!.. Отступили они в страхе господнем в лес. Язычники взяли верх... Разбойники пришлые помогли им... Ой, ой, что-то будет?! Теперь всех нас перебьют, злющие они! Дьяволы! Настоящие дьяволы!



Епископ, выслушав его, спокойно спросил:

— Одна ли языческая мордва?

— Нет. Новокрещенцы также.

— А наши русские мужики есть?

— Многих сел и деревень. Особливо — монастырские.

— Чуваши есть?

— И чувашаи.

— Татары? Черемисы?

— Не видел.

— Православному духовенству надлежит разъединить их... Непристойно дружить с иноверцами... Непристойно русскому идти против русского...

Сеченов собрал своих проповедников на большой тайный совет.

. . . . .

В Терюшево с поля битвы явился раненый ватажник чувашин Буртас, силач, убивший кистенем двух налетевших на него драгун. Один из них, все-таки, успел рассечь ему саблей плечо. Буртас был велик ростом и охоч на разговор. Он рассказал, как разбили губернаторское войско.

Терюханские старики и женщины слушали рассказ чувашина со страхом, не зная — радоваться им или плакать. Добро их было увязано и лежало на подводах. Не верилось в победу мордвы. Несмеянка посоветовал терюханам быть, на всякий случай, наготове. Так и этак — всем придется двинуться в леса... Придется сидеть там, захватив с собою хлеба и оружие... А впереди будет видно. «Чего-нибудь да добьемся,— говорил вождь терюхан,— не пройдет это даром!»

Подыскивали в лесу и места, куда прятаться, и обсудили, как жить там. Время теплое. Весна. Не страшно!

. . . . .

Юнгера трясла лихорадка, холодный пот катился градом. Разбитый отряд его собирался по одному человеку на поляну того самого леса, откуда так бодро выехал он на своем коне утром. Позор! Может быть, застрелиться? Но чем же он, Юнгер, виноват? Ведь никто же не знал сил противника! Даже сам губернатор. Даже епископ, имевший стычку с мордвой. И тот и другой говорили с презрением о мордве, считая ее ничтожным противником. Уж кто-кто, а епископ, потребовавший у губернатора воен-

ной помощи, должен был сказать, какие силы нужны для подавления мятежа. Один полковой командир оказался прав. Он твердил одно и то же: «Сия сарынь отчаяннее и храбрее солдат». Чем же теперь виноват он, Юнгер?!

Юнгер позвал к себе своего верного ординарца и при свете горящей еловой лапы написал: «Высылайте подмогу! Бунтует не только мордва, но и старые законченные русские идолопоклонники, говор многих из них ярославский, суздальский, но не местный...».

— Лети! Прямо к губернатору!

Ординарец, убрав записку в карман, помчался по проселку в Нижний.

. . . . .

Печально провели эту ночь терюхане. Рыли ямы и хоронили в них убитых своих и солдат. Раненых перевязывали, отвозили в деревню. Были женщины. Среди женщин была молчалива одна — Мотя. Она ведь и сама устала, валилась с ног.

Несмеянка руководил отправкой раненых по деревням. Усердно помогал ему опытный в этих делах дьякон Никитин. Пусто как-то стало на душе у Сыча, у Хайридина и у других ватажников после того, как похоронили бедного писца Гнутова и Рувима. Мотя нарвала цветов и усыпала ими место, где схоронили их... Иван Рогожа, проведя по струнам кайги, печально запел:

Хоть с-под кустика приди да серым зайушком,  
Из-под камушка явися серым горностаюшком,  
Появись, приди, надежная головушка...

## XXII

Губернатор и епископ собрали все силы, чтобы побороть мордву. Распространился слух, что терюхане, соединившись с бунтующими крестьянами и разбойниками, двинулись к Нижнему. Посадские начали прятать свое добро, чтобы не досталось бунтовщикам. Казанский губернатор писал Друцкому, что, по распоряжению правительства, он готовит облаву на «воров, засевших в Чортовом Городище». Жалобы Друцкого Сенату не прошли даром.

Обо всем этом стало известно атаману Заре на пути в керженские скиты, куда он отправился, чтобы всерьез

поговорить со скитниками о письме Анфиногена. В Василь-сурске на пристани проболтался пьяный губернаторский переписчик.

Михаил Заря задумчиво глядел на могучую Волгу, вдыхал в себя тепло и радость солнечного большеводья, орлиным взором окидывал высокие берега и сосны, склонившиеся над полой водой. Боевое сердце его наполнилось гордостью и отвагой... Губернаторские угрозы — для него не новость.

— А не согласятся старцы... Не поднимут на Керженце своего голоса, как было при Петре, — спустимся на низовье... Отдохнули там от нас воеводы. Напомним снова о себе. Не унывай, Вася. Чего губы надул? Поживем еще! Повоюем! — сказал он своему гребцу, темнокоричневому угрюмому иноку.

Вася усердно взмахивал веслами, избегая взглядов атамана Зари. Ему не хотелось говорить. Тюрьмы да монастырские застенки отучили его от разговоров. Да и не особенно верил он в то, что на Керженце могут вернуться прежние времена.

Проводником по Керженцу взялся быть борогатый Вася. Он хорошо знал все уголки. Еще во времена Питирима он жил в этих лесах; помнил и самого вождя керженского раскола — диакона Александра, — был даже в Нижнем на площади, когда диакону рубили голову и жгли обезглавленное тело его.

— М-да, — сказал недовольно Заря, войдя в лес, — плохо им жить... Простору мало. В таких местах у людей стесненные души, и воздух здесь благовонный, ладанный, обманчивый.

В Шарпанском скиту, чудом уцелевшем вместе с Оленевским скитом после разгрома епископом Питиримом девяноста четырех скитов, люди оказались, действительно, робкими, забытыми. Они долго не решались впустить к себе атамана с его помощниками, и, только когда изнутри к воротам подошел диакон Артемий, старый товарищ борогатого Васи, путников впустили в скит.

— Доложи! От братьев из Стародубья послание. Важное дело, — заторопился Михаил Заря. Старец схватил письмо с большой спешностью.

— Подождите здесь, — сказал он и побежал в келью настоятеля скита.

Вскоре на дворе с пением стихир появились керженцы,

вышедшие из большой моленной избы. Во главе их шествовал широкоплечий головастый чернец.

— Сам Рафаил!.. — шепнул Василий на ухо атаману. — Начальник их...

Пройдя к гостям, скитники низко поклонились. Долго читали они тоскливые стихиры, после чего старец Артемий подошел к Михаилу Заре и, к великому его удивлению, вернул ему обратно доставленное им на Керженец письмо из Стародубья.

— Добро жаловать, гости дорогие! — сказал он, еще раз низко поклонившись. — Скитская братия просит вас, по преждебывшему обыкновению, разделить с нами трапезу.

Словно в беспамятстве, опять вытянув невыразительные лица, прямые, безгласные, медленно и как-то одинаково, будто по только ими одними слышанной команде, тихо двинулись скитники в дальний угол двора.

Михаил Заря и его товарищи последовали за скитниками. Вошли в просторную горницу. Посередине — накрытый белоснежной скатертью длинный стол. Скитники снова заголосили:

Вспомнани, душе моя,  
На телесное здравие,  
И на скоромимоходящую красоту...

Пели долго, поглядывая друг на друга и выпятив кадыки из-под косматых борол. После молитвы, оборвавшейся как-то сразу, они продолжали некоторое время стоять молча. И только когда Рафаил сделал знак рукой, указывая на стол, скитники приступили к еде, повытаскав из карманов деревянные ложки.

Гостям ложки принесли на блюде. Не успели усесться, как в трапезную вошло несколько юных бельцов с деревянными долблеными чашами, наполненными похлебкой. За ними другие несли блюда с ломтями хлеба. Затем последовала рыба и горох, а за горохом — мед и квас.

Трапеза продолжалась часа два. Атаман Заря, привыкший тратить на еду минуты, с нетерпением ждал: когда же, наконец, кончится. Мысленно он сравнивал стародубских диаконовцев с керженскими. В Стародубьи они не были похожи на монахов, не чуждались мирян и были подвижные, предприимчивые, даже участвовали в вооруженных столкновениях украинцев с поляками, а здесь?!  
19\*

Выждав удобный момент, он шепнул об этом Василию. Тот ответил: «Обсиделись на купецких харчах... сосунки!».

Скитники заметили перешептывание гостей; видимо, их вождю это не понравилось. Он строго взглянул на атамана и, поднявшись из-за стола, сердитым голосом стал читать молитву. Чернецы, как один, вторили ему.

Рафаил вышел на зеленую поляну перед трапезой, гордой, важной походкой, и сказал, обращаясь к атаману:

— Всегда моляшесь о душах ваших и желая вам духовного и телесного благополучия, понеже вы по вере близкие нам братья,— не можем мы во зло нам всем обратить нашу любовь к вам, и хотя стародубский праведник Анфиноген, коего нам предлагают в духовники,— сановит и политичен, но в его преданности старой, правой вере у керженских старцев превеликое сомнение.

Кто-то из скитников крикнул басом:

— Самозванец он!

— На Волынщине он объявил себя архиереем и окружился поповщиной. И посвящал он и попов!..— закричал другой скитник.— Какой же он дьяконец?!

Рафаил кивнул в его сторону с торжествующей улыбкой:

— Слышишь, брат! Нам тоже кое-что известно. Мы видели его письмо к Патрикию-попу, в коем он явно открылся епископом и уже писал поповцам: «божиею милостью смиренный Анфиноген, епископ...». Обращался «ко всему православному во святем духе в Молдовахиях и Польском королевстве живущему христианству»... Могут ли люди диаконовского согласия признать такого Януса своим вождем?..

Михаил Заря не растерялся,— настойчив и смел он был в спорах:

— Добро!— сказал он.— Тамониний господарь Молдовахиях и митрополит и власти польские уважают его за ум и крепкую волю... Едва ли к кому будет стекаться в здешних местах народ в толиком числе. Изберете его вождем, будет вам благо. Знают его раскольники и на Украине, и в Приуралье, и на низовьях Волги, и везде ему верят, а самозванцем его называют русские власти и епархиальные начальники. Народ не зовет его самозванцем. Вы укрывались от народа за монастырским частоколом и обратились в монахов, а не вождей раскола. Анфиногена любит народ, и не верьте тем, кто о нем уведомляет, яко о самозван-

це. Миряне его уважают. Рассудите правильно и с честью о том. Не попусти меня к вам прислали.

Тягостное молчание.

В тишине опять зазвучал с усмешкой голос Рафаила:  
— Подумайте, братцы! Хотя епископ Сеченов — не Питирим, и занят, к тому же, не нами, а язычниками и мухаметанами, однако, надлежит ли нам выступить на борьбу с ним?! Согласны ли вы навлечь на себя новые казни и ухищрения петербургских драконов и василисков? Вспомните слова писания: «В огнях междоусобия антихрист воспользуется для распространения своей власти помощью семи царей, которые силу и область свою зверю дадут... Антихрист изобретет ужасные меры к утверждению своего владычества и будет мучить томленьми и неисчетными муками лютыми»... «Слово и дело» опять загремит в мирных керженских лесах, и обильно, как и при Питириме, польется паки и паки невинная кровь. Отвечайте же — согласны ли вы на это, братья?!

— Нет! Не согласны! — грохнуло в ответ.

— Анфиногена защищают казаки, а нас кто?! — крикнул сгорбленный старичок.

— Анфиноген надел на себя кафтан и саблю польскую, а мы?! — поддакнул Рафаил.

— Подкуплен он ксендзами!

— Смуту у нас производить подослан!..

— Кто вам сказал?! — крикнул Заря. — Замолчите!

— Слышали мы!

— От кого?! Не от православных ли проповедников?! — продолжал допытываться Заря. — Не верьте им! Польша едва ли посягнет на Российскую империю... Сил у нее таких нет!.. Она сама боится Анфиногена.. Холопы его сторону держат. В них сила! Холопы были готовы к поголовному истреблению панов, а царские генералы защитили их. Немцы на них напали — и от немцев русские их спасли. И не один раз выручала Русь Польшу. Коли бы не русские воеводы, давно бы быть Польше немецкой страной. Шляхта должна вечно богу молиться за Россию. И незачем ей смуту в России устраивать. Врут, ежели вам болтали... А народы Польши и Литвы — родные нам братья по крови.

— Вор он! — продолжали кричать скитники.

— Обманщик!

— Мы хотим молиться, а не воевать.

Михаил Заря попробовал было еще выступить в защиту Анфиногена и убедить скитников в необходимости начать новую борьбу с духовными властями за восстановление разоренных скитов, но Рафаил прямо заявил ему:

— Вижу я — плохо знают наши дела стародубские и ветковские братья. Того, что было при диаконе Александре, — уже не вернуть. Питирим навсегда убил у керженских раскольников веру в одоление православной веры силою и догматическою правдою. И раскольники у нас уже не те. Многие из них разбогатели и дорожат земными благами более, нежели духовными... Купцы жадны к деньгам. Наш скит еле-еле прокармливают. Да и зачем им скиты, когда им дана воля в расколичестве?.. У каждого своя моленная на-дому... Над письмом Анфиногена посмеются купцы — и только... Воскресни сам диакон Александр теперь — не послушают и его!.. Люди старой веры отолстевают и в почете у нижегородских вельмож, в гильдию записываются, а иные беднеют, теряя свое человеческое достоинство и способность. А эти не токмо не способны поднять меч на владык мира, но даже в унижении и смиренно заявить им о своей невыносимой, тяжелой доле они не способны. Вот что!

Михаил Заря устал спорить со скитниками и замолчал. Многое теперь ему стало ясно. Он увидел в скиту, действительно, не тех людей, которых думал здесь встретить. Разве можно с этими скитниками надеяться на большой расколичий поход?!

Распростившись с Шарпанским скитом, Михаил Заря, унылый, озабоченный, поплыл по Керженду к Волге.

. . . . .

В Песочном кабаке, когда туда прибыл Михаил Заря со своими товарищами на пути в стан, было полутемно, догорали две последние монастырские свечи; впрочем, и на дворе-то уж начало светать. За стойкой дремал монах, продававший питье. Голосили петухи под окнами; колокол дребезжал где-то поблизости. Волга у берегов курилась влажностью. Волны ее тихо плескались в камнях и на песке, около самого кабака.

— Ну-ка, праведник, освежи усталые души! — крикнул Заря.

Монах вздрогнул, протер глаза.

— Не обессудьте, кроткие агнцы! Пусто.

— Инок! Не терзай! Сыщи!

— Почтенный человек, конечно, везде гость и хозяин. Однако же, приоткройте мне ваши паспорта.

Михаил Заря удивленно взглянул на него, потом вынул из-за пояса пистолет, показал его монаху.

Монах, утерев нос, деловито произнес:

— Ага! Сейчас! — и с приветливой улыбкой принес из своего угла два кувшина браги.

— Не обижайтесь на меня! Приказ пришел, а в нем явлено: многие-де люди и крестьяне из деревень выбежали, и ныне бегут, не страшась прежде писанных-де подтверждений, многие ж у себя беглецов укрывают. Наш пресвященный игумен приказал не допускать к питию беспаспортных неведомых людей.

— В смирении своем служи нелицемерно, выполняй и впредь указы так, как ты выполнил их сейчас... — назидательно произнес Заря.

— Как перед богом... Вот вам крест! (монах широко перекрестился). Стараюсь, сколько сил хватает, угодить начальникам. На плахе голову сложить неохота.

— Кому под тыном окоченеть, милый мой, того до поры и обухом не перешибешь... Вот как! Об этом не страдай.

Спутники атамана весело рассмеялись, уткнувшись носами в кружки.

Немного подумав, монах тяжело вздохнул:

— И-и-их, святители! Что уж там говорить о питии — париться вместе с бабами в одной бане и то настрого запрещено... Так теперь и ходим: в среду — мужики, в пятницу — бабы... словно бы разное человечество... Когда это было?!

Михаил Заря засмеялся:

— Теперь летняя пора... В Волге-то, чай, не запрещено... Сколько хошь парься!

— Вы вот смеетесь, — сказал обиженно монах, — а у нас в монастыре — уныние и ропот. Одна была старцам отрада — и ту отняли.

В это время в дальнем, темном углу зашумело.

— Что это там такое? — всполошился Заря.

— Человек.

— Хмельной?

— Тверезый.

— Чей?



— Господь его ведает...

— Паспорт показывал?

— Нет. Отказался.

— А ну-ка, разбуди его...

Из угла послышался смелый, дерзкий голос:

— Я и сам проснулся. Чего меня будить?

— Ну-ка, честный человек, присусеживайся к нашему котелку — не погнушайся обществом.

Высокий, в поддевке, в кожаных сапогах, подошел к столу незнакомец.

— Добро жаловать! Садись.

Обменялись поклонами.

— Отдохни с путниками, цветик мой, мое золото... — заюлил монах. — Я думал, бог знает, что с тобой сделалось... Крепко спал да храпел, зубами скрежетал и стонал... Истомился я за это время. Здоров ли уж ты?!

Атаман Заря вдруг оборвал монаха:

— Покинь нас, старец!.. Не обидим мы тя тленным богатством, но гнев божий постигнет тя за любопытство... Изыди!.. Ну, живо!

Монах исчез. Тогда Заря обратился и к своим спутникам:

— И вы, отроки, оставьте нас с ним наедине... Побродите по бережку. Пособирайте цветных камешков.

Дядя Вася и его помощник Андрей Петрович спешно, поочереды, дотянули брагу из кувшина и, обтирая усы и бороду, вышли вон из кабака. В окна вливался розовый рассвет.

— Скажи мне, дружище, — понизив голос, заговорил Заря, — кто ты такой будешь и из каких ты краев и куда путь держишь?

Незнакомец с гордостью ответил:

— Не вижу необходимости в том признаваться.

— Но за кого же ты тогда меня можешь считать, по своему крайнему разумению?

— За кунца, за проезжего торговца... за кого же иначе?!

— Вот видишь, — ошибся. Так же и я могу ошибиться, считая тебя за соглядатая.

— Соглядатай?

Лицо незнакомца покрылось краской. Атаман пытливо, в упор рассматривал его.

— Я вижу, — сказал он, — человек ты молодой, чего же ради тебе таиться перед разбойничьим атаманом?..

Незнакомец вскочил. Поднялся со своего места и атаман Заря, схватившись за рукоятку пистолета. Несколько мгновений они молча стояли один против другого. Затем Михаил Заря кивнул ему с улыбкой:

— Знаю, и у тебя есть пистолет, а потому и решил так, что силы у нас с тобой у обоих равные.

— Пусть будет так.

— Теперь ты знаешь, кто я?.. Атаман Михаил Заря. Нет надобности и тебе скрывать свое звание. Чего ради?!

— Мое имя — Петр. А звание — беглый офицер.

— Так! — задумчиво проговорил Заря, поглаживая свою бороду. «Вот так встреча! — подумал он. — На ловца и зверь бежит».

— Если так, то разреши мне, дружище, обнять тебя и облобызать, как родного брата... Думается, не ошибся я в тебе. Беглые офицеры на низах — не большая редкость. Во многих ватагах есть они. Не удивлен я.

Петр приободрился.

— Слышал я о вас многое... — сказал он и тотчас же передал атаману Заре все, что ему рассказывали в Сыском приказе. Упомянул и о Ваньке Каине.

— Вот Иуда! — процедил сквозь зубы Заря. — Если бы я знал в те поры... Но я могу сказать наперед, что все одно от казни он не уйдет... Он предаст власть, которая его и казнит. Так будет. Иудой он родился, Иудой и сдохнет! Такие люди везде есть.

Петр многое пережил в последние дни. Лицо Зари было открытое, простое и деловитое, и располагало Петра к еще большим откровенностям.

Атаман Заря с нескрываемым любопытством выслушал исповедь сразу понравившегося ему беглого офицера. Ему, действительно, приходилось и раньше встречаться с беглым офицерством — особенно на Дону и в Астрахани, — но то были скрытные, грубые и угрюмые люди, а этот поразил Зарю своей юношеской искренностью и простотою. Михаил Заря пригласил Петра плыть с ним в Чортово Городище, а оттуда на низы Волги.

. . . . .

Когда сели в струг и отчалили от берега, утро было в полном расцвете. Слегка прохладило. На берегу бродили две цапли, с любопытством поглядывая на людей, да из своего окна испуганно следил за стругом набожный монах-

хабатчик, усердно осенявший себя крестным знаменем. Вот уже струг и на середине реки, — из воды величественно выросли зубчатые белые стены с бойницами, окружавшие Макаревскую Желтоводскую обитель.

Вася, обратившись лицом к монастырским храмам, провозгласил тоненьким голоском нараспев:

«О, преподобный и богоносный отче наш Макарие! Приими сие малое молитвенное приношение наше, и со пресвятою владычицею и всеми святыми принеси молитву ко господу богу; да избавит он нас от врагов видимых и невидимых, от осы и от губернаторов, от всяких скорбей и бед и иных напастей, от всякие напрасные смерти и от будущих мук и сподобит своего небесного царствия, иде же есть люди сытно живущие, веселящиеся, скачущие и торжествующие, немолчно воспевающие тебя: аллилуйя!»

Атаман Заря и другой гребец с улыбкой трижды повторили: «аллилуйя!».

Дружно ударили весла по воде, и струг быстро поплыл по течению вдоль безлюдного, украшенного яркой зеленью, высокого песчано-золотистого берега нагорной стороны.

Летали чайки; подвигалось солнце. Волга дышала утренней свежестью и могучей пленительной силой молодости.

Тут Петр вспомнил о Рахили. Нет! Он не может уехать, не повидавшись с ней, он обязательно должен знать, как она там живет, он должен спасти ее, если ей угрожает опасность... Об этом он непременно поговорит с атаманом Зарей по прибытии в Чортово Городище... Какой бы он ни был, но он не разбойник! Никогда он не свяжет своей судьбы с судьбою разных проходимцев и воров. Он только воспользуется их стругами, чтобы поскорее покинуть Нижегородскую губернию. А там будет видно, что делать дальше!

«О, Рахиль! Моя радость, моя новая жизнь! Мое утешение! Моя сладкая тайна! Мой истинный друг!»

### XXIII

В эти теплые июньские ночи особенно хорошо пели соловьи. Народ ютился в шатрах. Плакали ребятнишки, матери прижимали их к груди. Мужики варили похлебку, искоса поглядывая в сторону оврага, где Сустат Пиюков совершал молитву, окруженный освободившимися от обиходных дел людьми.

Великое горе навалилось на мордовские земли. Из Нижнего проезжали константиновские с базара, рассказывали: идет войско большое. Губернатор грозит сжечь дотла мордовские деревни и перебить терюхан, всех до единого. И особенно сердит губернатор на сожжение в Сарлеях православной церкви. Епископ велел проклинать мордву в нижегородских приходах. Оклеветал терюхан Иван Макеев, хотя и знал, что церковь сожгли рыхловские крестьяне с Семеном Трифоновым во главе, да разбойники, а вовсе не мордва. Они же разорили и вотчинника Оболенского. Но епископ приказал обвинять в этом мордву.

Лицо Пиюкова, взлохмаченного, растрепанного, выражало самоуверенность. И это в то время, когда каждый богомолец поминутно оглядывался по сторонам, ожидая: вот-вот из чащи, из оврагов, как черти, полезут на них губернаторские солдаты...

Сустат, ударяя себя кулаком в широкую волосатую грудь, гремел:

— Нет равных тебе, о великий Чам-Пас, в небе богов! Никто не может противиться воле нашего мордовского великого бога ни на земле, ни на небе!.. Никакой народ он не хочет сделать таким счастливым, большим и сильным, как мордву! О великий Чам-Пас!..

Захлебываясь в восторге, Пиюков восхвалял смирение, кротость и долготерпение своего народа и призывал все темные силы во главе с самим Шайтаном обрушиться на головы непокорных. Ни русский, ни мусульманин, ни чувашин, ни черемис,—никто не может сравняться с мордвою в добродетельной и честной жизни, никто не может сравняться с мордвою в мужестве и доблести.

Озаренный огнями костров, в каком-то диком, полубезумном бреде Пиюков доказывал богам, что только мордва заслуживает их внимания. Все люди хуже мордвы. Никто не желает ей счастья и никто честно не помогает ей, а те из иноверцев, что лезут к мордве, якобы, с добрыми намерениями, на самом деле—истые предатели!

Он провозглашал им страшные проклятия, простирая руки к небу.

— Изгони их из селений наших!—исступленно вопил он.—О Чам-Пас! Мордва в слезах! Неужели ты допустишь врагов мордвы под видом друзей в шатры и становища ее?! Отгони новые несчастья! Раскрой всем от мала до

велика глаза на правду! Обман их ведет к конечному истреблению мордвы! Не надо нам бунтовать! Помогите нам, о, великий владыка! Изгони, изгони из наших земель! Не надо верить другим народам, помогающим, якобы, мордве... Они ищут своей выгоды!..

Неистовыми, полными страсти и отчаяния выкриками он так напугал своих богомольцев, что те начали с недоверием и опаской оглядываться: нет ли в соседстве ино-племенников — русского, либо татарина, либо чувашина...

После молян, в лесу и в оврагах, где прятались их вооруженные отряды, они недружелюбно поглядывали на своих союзников — русских мужиков и чувашей, и особенно на ватажников. Стали явно их сторониться. Кое-кто не утерпел: начал задира́ть их; задавали вопросы мужикам из села Дальнего Константинова:

— Зачем вам защищать нас?! Зачем вы к нам пришли? Вы сами сожгли свою церковь в Сарлеях, а вину свалили на мордву! Зачем вы оклеветали нас?!

Те обиделись и ничего не ответили. Мордовские мужчины и юноши стали еще подозрительнее и грубее:

— А если вы молчите, стало быть имеете свою мысль, а мордве добра не желаете. Вы хотите, чтобы во всем обвинили нас, а вы останетесь чистыми? Да?! Вы хотите завести свои порядки у нас...

Один рыжий дядя не вытерпел и обругал мордву матерно. С этого началось. Мордовские ополченцы обиделись — полезли на оскорбителя с ножами. Тот завопил несвоим голосом: «Братцы, спасите! Мордва режет!».

Дальне-константиновские схватились за рогатины. Поднялась драка в овраге. Люди, сидевшие не шелохнувшись, вдруг загалдели, подняли шум. Забыли, что кругом рыскают драгуны, высланные на разведку, и сыщики из приказной избы.

Прибежавшему на место драки Насмеянке большого труда стоило разнять остервенелых драчунов.

И в других местах засады пошли неурядицы. День ото дня усиливалась рознь между мордвою и примкнувшими к ней соседями. Этого-то именно и боялся Несмеянка. Он умолял Сустата не навлекать гнева мордвы на ино-племенников, но тот не слушал его, говоря: «Ты — христианин и поэтому защищаешь их! Постыдись народа! Ведь ты тоже мордвин! Зачем ты передался им?».

Православные попы и монахи, в сопровождении воен-

ных команд, ходили по лесам и деревням — проповедывали ненависть к язычникам, к мордве, к чувашам и ко всем «зломышленным, возгордившимся инородцам!». «Нет никого более любезного Христу, богу нашему, нежели православный человек. Остальные все псы!»

После поповских проповедей православные христиане загорались еще большею злобою к соседней мордве. Вытаскивали дреколье, а кто кинжал или ружье, и выходили за околицу, мучимые жаждой мести, приоткрыв от злобы рты... Трудно было дышать; стучали зубы, будто в лихорадке... «Умрем за православную веру, а не дадим ее на поругание!»

Если попадались случайно проходившие по дорогам иноверцы, мужики их свирепо били; потешались над ними, когда те, сбитые на землю, ползая в дорожной пыли, молили о пощаде... Женщину, если таковая попадалась им в руки, тащили в овин со смехом, ругательствами и прибаутками.

Нижегородский епископ и губернатор добились того, чего хотели, — посеяли рознь в народе. Жрецы старательно помогали им в этом своими заклинаниями, своими науськиваниями на русских соседей.

Нескладно пошло. Трудно было понять — как так случилось: совсем недавно окрестные, недовольные властью, жители дружно, как один, поднялись против губернаторского войска, не взирая на язык и веру, яростно изрубили отряд Юнгера, а теперь, ни с того, ни с сего, полезли в драку друг на друга?!

В эти дни Несмеянке пришлось распрощаться с покидавшими мордовские земли ватажниками. Хайридин и Сыч, по приказу атамана Зари, возвращались со своими молодцами в Чортово Городище. А затем ватага Михаила Зари должна была покинуть Нижегородскую губернию, чтобы не быть захваченной войском казанского губернатора.

— Прощайте, братья, бейтесь до последнего!

На конях выехали из своей засады Несмеянка, Сыч, Хайридин и Мотя, направившись в сторону реки Суры, а за ними следом пошли ватажники, распевая песни, хотя Хайридин и упрашивал их не петь. Но трудно было сдержаться, у каждого загорелась в душе радость великая, что скоро снова увидит он Волгу, снова грудь вдохнет ее здоровый, вольный воздух — надоело толкаться на одном месте! Что может сравняться с матушкой-Волгой?

У села Антонова навстречу ватаге выбежали караульные солдаты, но, увидав разбойников, побросали ружья и в страхе разбежались. Хайридин подарил все десять ружьев Несмеянке. Много было смеха. «Ну, и храбрецы — губернаторские молодцы!»

Мотя отказалась уйти с Сычом из родных мест.

— Умру я здесь... Пускай меня убьют, а никогда я не брошу своих.. Забудь обо мне...

Цыган готов был заплакать. Сморщился.

— Ой, и как тяжело мне на белом свете, — давился он слезами, — покидать тебя! Кого же я в своей жизни мог так любить, как тебя, пернатую чечотку?! О... о... о!..

Мотя утешала его.

— Найдешь другую.

— Нет! Нет! Никогда! Ой, и как же ты плохо знаешь меня, батюшки! Могу ли я теперь полюбить другую? Не такой я человек!

И впрямь, — Сычу казалось, что никого и никогда он не любил, и не только не любил, но и вообще не знал никогда ни одной женщины; только Мотя — его единственная и первая любовь. Чтобы никто не видел, как он ревет, он задержал своего коня, отстал от своих товарищей.

— Вот она — разбойничья жизнь! — говорил он. — И любить-то нам на свете заказано...

Мотя, глядя на цыгана, сама чуть не заплакала, но все же сдержалась.

Затем Несмеянка облобызался с Хайридином и Сычом, крикнул Мотю и, круто повернув, хмурый, озабоченный, понесся вместе с Мотей в мордовский стан.

. . . . .

На дворе стояла ясная, теплая погода.

В полях — благодать! Повсюду заговорили о хорошем урожае. Рыбаки уверяли, что рыбы ловится много, а особенно окуней и ершей, — значит, изобильно уродится пшеница, ячмень, рожь, полба. Комары тоже с весны вились высоко — овес должен быть высок. Да и бабочек желтых, белых, красных и голубых появилось в полях и на лужайках невиданное множество, — имевшие пасеку радовались предстоящему обилию меда. Лежавшие в засаде люди знали, что все это — вернейшая примета урожая. На что ни взглянешь — все говорит о том, что

«мордовские боги слышали молитву терюхан», и однако... до урожая ли теперь, когда в Терюшевскую волость каждый день приходят духовные и военные команды и ловят там и сям мирных поселян, приводят их в приказную избу? На-днях захватили мордвина Сесю Петрова (ладно, пистоль парень во-время упрятал в кусты за околицей!). Окружили его, допрашивали: «Зачем сожгли православную церковь? Зачем разорили вотчину Оболенского?»).

Сеся Петров сказал, что он ничего незаконного не чинил и церкви не жег, и Оболенского не зорил. Пороли Сесю, вырвали ему ноздри и заковали в цепь. Не стерпела мордва. Начались новые баталии. Напал на мордву посланный в помощь премьер-майору Юнгеру капитан Лазарь Шмаков. Произошли два больших боя между мордвою и войсками губернатора — мордва глубоко отступила в леса, а капитан Шмаков на преследование ее в лесу не решился. Он направился вместе с попами и монахами в опустелые мордовские селения.

Пустынная, безлюдная дорога между Нижним и Терюшевской волостью оживилась. Замаршировали по ней солдаты, драгуны; проносились одинокие гонцы на взмыленных конях, озираясь по сторонам и дрожа от страха; временами медленно двигались в Нижний молчаливые разношерстные, в цепях, под конвоем солдат, толпы арестованной мордвы и русских крестьян.

. . . . .

Мотя скрывалась в лесных дебрях с отрядом отборных мордовских воинов под началом Несмеянки. Она с большим уважением относилась к вождю мордвы и повсюду сопровождала его, решив вместе с ним сражаться и умереть.

В эти дни солнце было особенно ласковое, яркое. Оно прорывалось в чашу леса и наполняло золотистым теплом лагерь терюханских беглецов. В его лучах весело сверкали белоснежные ромашки, привлекая к себе беззаботных мордовских ребятишек. А по вечерам, при бледном свете луны, вблизи шатров, в овраге, опять появлялись со своими заклинаниями у костров жрецы.



Рахиль сидела на скамье у ворот фактории Лютера. За холмами медленно опускалось солнце. Внизу, у подножья Девичьих Гор в позолоте прощальных лучей дремали насытившиеся дневным теплом ржаные поля. Устало возвращалось из ближней рожи стадо — пестрое, шумное, поднимая пыль на дороге. Щелкал кнут пастуха.

В такой вечер могут утихать печали и гнев у обиженных, у юношей пробуждается горделивое ощущение силы молодости; старые люди в такие вечера способны к мудрому, кроткому примирению с тем, что жизнь их кончается.

Рахиль следила за лучистым веером, свертывающим свой красный шелк в сумеречной синеве, и вспоминала о Рувиме. Что с ним? Где он? Давно уже не слышала Рахиль ничего о нем. Жив ли он? Вспомнила она и о своем недавнем знакомце — Петре Рыхловском. Когда уезжала со Штейном в Девичьи Горы, у него была ссора с полковым командиром. В этот день Петр был мрачен и говорил о смерти. Не лучше ли ему умереть теперь? Она его утешала, уверяла, что грех убивать себя. Дальше она ничего не знает, ибо на другой же день тайно уехала из Нижнего, переодевшись крестьянкой.

Лютер не обрадовался своей неожиданной гостье, а когда узнал, что она еврейка и что ее ищут губернаторские сыщики, — тогда и вовсе повесил нос старик. Больше всего ему было досадно, что приходится скрывать еврейку.

Штейн внешне старался быть приветливым. На самом деле, ни Лютер, ни Штейн не считали Рахиль достойной того, чтобы садиться с ней за одним столом и вести беседу, как с равной. Она была совершенно одинока. Тяжело было ей переносить нудную баронскую кичливость Лютера. Она много всего наслушалась в доме Лютера и многому научилась. Она стала вникать в политику разных стран. Лютер и Штейн больше всего говорили о государственных и военных делах. Особенно много говорили они о Елизавете и смеялись над теми, кто ее возвел на престол. Мужики, солдаты! Они пошли за ней, как за дочерью великого Петра... Они думали, что снова повторится петровское время — глупцы!

Лютер и Штейн зло смеялись над русским народом.

Незаметно сумерки перешли в ночь. Громко затрещали коростели в полях. Повеяло холодком из низин.

Рахиль слышала издали, как попомок немецкого реформатора Мартина Лютера играл на клавесине какую-то молитвенную мелодию. Играя молитвы, он обыкновенно закатывал глаза к небу, довольный своим высоким происхождением. Что за дело ему до всех других людей? А тем более до его приживалки, еврейской девушки? Если бы она просидела тут всю ночь, то и тогда никто бы о ней не вспомнил. Ведь ее даже и поселили в отдельной маленькой деревянной хибарке в саду, в стороне от каменного, выкрашенного в серый цвет, дома хозяина.

Раздутье Рахили было нарушено. Конский топот?! Насторожилась. В темноте ничего нельзя разглядеть. Топот вдруг стих. Рахили стало страшно. Она бросилась к калитке, но тотчас же в испуге понялась, удивившись за изгородь. Ясно было — приближаются два человека. Она все же успела спрятаться за деревом. Отсюда ей слышны были их голоса. Один тихо сказал:

— Хорошо ли ты знаешь? Девичьи ли это Горы?

— Как не знать! Нищим хаживал сюда. Высматривать.

— Но как же нам найти Рахиль?

— Будем просить ночлега... Якобы, заблудившиеся путники...

— А кони?

— Коней проведем сюда, укроем где-нибудь в саду. Сад большой.

Рахиль еле держалась от страха и волнения на ногах, прислонившись к дереву. Один голос показался ей знакомым. Да и другой тоже... Она набралась сил и храбрости и вышла за изгородь.

— Кто тут?! — робко окликнула она. — Кто вы такие?!

— Ты?! — раздался негромкий голос Петра Рыхловского. — Рахиль?

— Я.

— Рахиль! А мы ищем тебя!.. Наслу нашли.

После объятий и восторженных приветствий они стали беседовать. Рахиль рассказала Петру о своем житье-бытье все, без утайки.

— Как же быть?! — проговорил задумчиво Петр. — Захочешь ли ты бежать со мною?

— Бежать?! — всполошилась девушка.

— Да! Я теперь — беглый, дезертир... Меня разыскивают, чтобы заковать...

— Ну, и я такая же... Меня тоже ищут, чтобы посадить в острог... И здесь мне очень плохо. Лютер обрывается, если я уйду. Не хочет он ссориться из-за меня с властями... Тяготится мною.

Высокий бородатый сказал грубо:

— Сажай на коня, вот и все!

— Поедешь?! — крепко сжал ее руку Петр.

— Да. Я сбегая к себе в горницу и захвачу с собой свою одежду.

После ее ухода Петр сказал озабоченно:

— Не красна ей жизнь будет и у нас.

Спутник Петра подвел к калитке двух коней.

— Ничего не говори ей о Рувиме... Не знаем — и все. Слышишь? — и он вздохнул.

Рахиль пришла с узлом. Бородач мгновенно выхватил его у нее и положил на свою лошадь.

— Айда, скорее! Не теряй времени!

Петр усадил девушку на коня. Мелкой рысдой они стали удаляться от Девичьих Гор.

Все забыл Петр: и губернатора, и сыщиков, и дезертирство, и нудные тревоги и печали последних дней, чувствуя у своей груди теплую худенькую, и такую близкую теперь, любимую девушку.

.....

В Чортовом Городище буйным вихрем мечутся песни. В освеженной накануне теплым дождем зелени мелькают красные, белые, желтые рубахи ватажников, голые коричневые спины и мускулистые руки. Есаулы кликал отплывте:

«Бра-атушки-витязи, забудьте гнев! Облобызайте веточки, хоронившие нас от непогоды и вражеского ока! Готовьтесь к бранному союзу с нашей родной великой матушкой-Волгой... Сваряжайтесь! Обряжайтесь, в путь-дороженьку подымайтесь!»

Каждый есаул кликал по-своему, а ватажники слушали их присказки с веселым любопытством. Пройдет один — говорят: «хорошо!», другой: «зело хорошо!», третий: «лучше всех!». А сами, не покладая рук, налаживают струги, челны и всякие другие малые и крупные суденышки.

«Куккиш получит казанский губернатор со своим войском! Пускай ловит ветра в поле! Прощай, значит, нижегородская сторонushка! Прощай! А, может быть, бог приведет, и снова увидимся! Неволен разбойничек зарекается в том! Господствует он в тех местах, где ему сподручнее да доходу больше..»

Атаман Заря и вовсе возмечтал заняться торговлей на низах. Шерстью и рыбою торговать. Мыслил накопить богатство, составить крепкую дружину и уйти в Сибирь, зажить там безбоязненно под защитою своей силы. А, может быть, и бунт поднять, собрав тамошних переселенцев и колодников. В Сибири еще он не был, а слухи до него доходили о богатстве этого края — и о просторе полей и лесов и о слабой силе губернаторов тамошних. Астраханские и Донские степи утомят хоть кого, и опасность день ото дня возрастает там. Лучше Сибири ничего не придумаешь!

Ватажники, всяк по-своему, размышляли об устройстве своей судьбы, а больше надеялись на смену царей и помилование от тюрьмы и пыток, и на возвращение к мирному земледельчеству.

Да что говорить! Кому не ясно? Надоело уж об этом и языки-то чесать! На Дону, в Поволжье, в Приуралье и на Украине только того и ждут, когда пробьет час, чтобы двинуться всем скопом на Питер...

Кто-то приволок из Нижнего нарисованный неизвестным художником портрет Елизаветы. Все ребята собрались, стали с любопытством его рассматривать.

Один из ватажников — расстрига — вскочил на камень и, указывая на портрет, с презрением в глазах, горячо произнес:

— Взгляните на сию бледную красавицу, беспечно лежащую! Скука одолевает ее, праздность лишает ее телесных сил, расслабляет ее сердце и притупляет все чувства. Соблазнительные помыслы окружают ее заблуждениями о народах России, о себе, о своих близких, привлекая за собою пороки. Не достойна она ни нашей любви и ни жалости! Другого царя нам надо: умного, доброго и хорошего!

— Давай огня! — крикнул кто-то хриплым сорвавшимся голосом.

— Жечь! Жечь! — подхватили остальные. — Давай царя другого!

Портрет, при сосредоточенном торжественном молчании ватажников, был сожжен под витиеватые причитания расстриги башкиром Хайридином. Зубы его стучали, будто в лихорадке, когда он подносил головню к портрету. Да и остальным ватажникам не стоялось на месте — каждому хотелось протянуть также руку с головней к царю, как и Хайридин, и поджечь ее, но ограничились тем, что кое-кто уловчился плюнуть в полный бледный лик «ее величества», пока его не пожрал огонь: «баб не надо на царстве — пускай царем будет мужик!».

Появление в лагере Петра с Рахилью было встречено шумно и весело. Люди высыпали им навстречу. На одной лошади сидел Петр, на другой Рахиль, а Сыч шел позади них с сияющим от удовольствия лицом.

Ватажники были в восторге от того, что их товарищем стал преображенский гвардейский офицер. «Мать честная! Вот, стало быть, какие мы люди!»

Сыч не открыл Петру, что он его отец. Ему не хотелось разочаровывать разбойников, не хотел он унижать в их глазах и Петра, да и не особенно привлекало его удовольствие объявить себя отцом Петра в среде бездомных, обездоленных бродяг. Но при всем том он старался быть полезным Петру, ухаживал за ним, будто слуга. Несмотря на свое дезертирство, Петр все-таки ставил себя выше всех этих воров и разбойников, держался от них особняком. Это ничуть не раздражало ватажников, — наоборот, внушало им какое-то особое почтение к нему, как к знатному, выше их стоящему пришельцу в их стан.

Петр снисходительно принимал услуги Сыча, обращался с ним, как со своим денщиком. Он со спокойной совестью примирился с тем, что он и Рахиль ехали верхом на лошадях, а Сыч шествовал за ними пешком.

Атаман Заря распорядился отвести Рахили отдельный шатер. Он тоже был рад тому, что к его ватаге примкнул дворянин, гвардейский офицер. Заря любил людей образованных, бывалых, относился к ним с большим уважением, сразу же приблизил Петра к себе, как первого советчика. На следующий день после приезда Рахили в ватагу, атаман отдал приказ плыть на низа. Для него и Петра с Рахилью приготовили один из самых просторных стругов, раскинули на нем шатер, покрыли днище коврами и втащили на струг маленькую пушку, взятую некогда на расшиве.

Рахиль испугалась, когда два дюжих ватажника подхватили ее на руки и перенесли в струг. Все собрались на берегу в том месте, где стоял струг атамана, громко выражая удовольствие, что с ними в поход отправляется девушка. Они весело подшучивали над испугом Рахили, отыскивавшей глазами в толпе Петра. Увидев его, она протянула к нему руки, как к спасителю. Петр, подвернув штаны, торопливо пошел по воде, высокий, смуглый, сильный. За ним, таким же образом, двинулся и атаман Заря.

Все бросились к стругам. Развернулись паруса; словно лебеди, забелели они над темной, слегка волнистой водой. Струги медленно поплыли вниз. Грянула песня. Тихое летнее утро огласилось могучими голосами ватажников:

Шел, пошел наш воевода  
Вдоль по Волге погулять;  
Вдруг ненастная погода—  
Пришлось дома тосковать.  
Под окошком его скачет  
Мужик с бабою сам-друг:  
Не горюет он, не плачет,  
Дует клячу во весь дух.  
Ах вы, горе-воеводы!  
Нет удачи вам в гульбе.  
Много чести—без свободы,  
Чорт ли в этакой судьбе!  
У вас каменные палаты,—  
Уж куда как высоко,—  
Вы и знатны и богаты,  
Лишь от счастья далеко!

Рахиль с удивлением и любопытством прислушивалась к песне ватажников, прижавшись плечом к Петру, как бы боясь, что кто-то отнимет его у нее.

— Смотри, какой простор!—улыбнулся Михаил Заря.— Ватажники—народ не опасный. В сей тихой и мирной дружбе с нами скоротечно проведете вы время, а там, в Астрахани, у меня есть надежный рыбац. Доставит вас в полной сохранности по Каспию на кавказские горы... народ там хороший... А сыщики царские со своею глупостию, пронырством и невежеством больше вам не опасны...—И, немного подумав, вздохнул:

— Э-эх, уж скорее бы конец...

Неохватная ширь Волги, солнечное тепло, кроткая, полная любви улыбка Рахили—все это немного сгладило на душе Петра грусть об утрате им положения в обществе,

об утрате им мнимого дворянства и непрочного офицерства.

— Прощай, Нижний!.. — сказал он теперь так же, как некогда сказал: «Прощай, Петербург!».

Рахиль крепко сжала ему руку. Они дали клятву любить до смерти друг друга, а если понадобится и умереть вместе.

Рыхловский вспомнил Гнутова, его неверную жену и рассказал о проделке ее с Шуваловым. Рахиль в ужас пришла от этого рассказа... Петр сказал:

— Императрица потворствует этому...

— Такую жену не жалко убить... — сказала с дрожью в голосе Рахиль.

Петр, счастливый, довольный, в восторге обнял Рахиль: «Ты не такая!».





xx

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

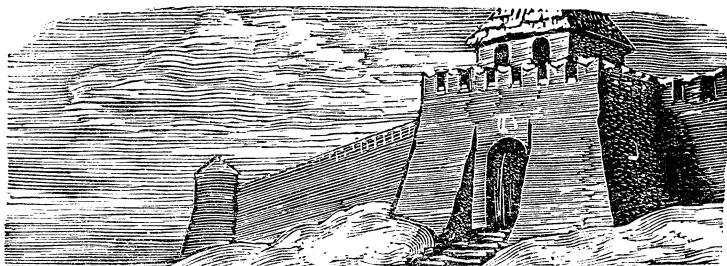


xx









С оборный колокол звал к заутрене. Глухо текли по обледеневшим улочкам и переулочкам печальные звуки меди. Бревенчатые домишки скорчились, прижатые к сугробам.

Под тяжелыми шагами ночных караульчиков—нахт-вехтеров, отбивающих восемь часов утра, гулко скрипит снег. Неуклюжие, в больших широких тулупах, стоят часовые у кремлевских ворот.

В поле на Арзамасской дороге, рогаточные караульчики все до единого на ногах: к городской заставе движется великая колодничья толпа. Издали слышен звон цепей и крики конвойных солдат. Еще накануне полицеймейстер объявил о предстоящем прибытии в Нижний партии мордовских бунтовщиков.

Обмороженные, измученные, еле переступая скованными ногами, идут они, прихрамывая, падая и опять поднимаясь. Их шапки, бородатые, заросшие лица белы от

иней, обвешены сосульками. Цепи посеребрились, оттаяв в поручнях. Сквозь лохмотья проглядывает опухшее голое тело, желтое, блестящее, как кость. Лапти у некоторых на ногах — одна видимость, какие-то растрепанные мочальные култышки. Если бы не мороз — свалились бы они с ног. Глаза арестованных из-под белых бровей глядят черно, дико, упрямо.

Впереди всех тяжело шагал Несмеянка Кривов, а рядом с ним бобыль Семен Трифонов. Не в пример прочим, они были окованы и в плечные железа, называемые «стулом». Трудно было идти, неся на себе, вместе с ручными и ножными кандалами, два пуда железа. Согнулись оба, но лица их сурово нахмурены, глаза с ненавистью вшиваются в конвойных тюремщиков.

Когда Несмеянка шел по дороге к Нижнему, он страдал не от того, что был арестован, а от того, что надежды на успех дела рухнули, мордовское ополчение было разгромлено. Те добрые, хорошие товарищи, с которыми он провел около двух лет, с которыми делил и горе и радость, — попадут теперь в еще более страшную кабалу.

«Языческие и православные жрецы, — с горечью думал он, — посеяли предательство и страх в мордовских селениях. Напрасно неутомимый боец Семен Трифонов пытался примирить русских крестьян с мордвой, — ничего не получилось. Жрецы разжигали взаимную ненависть. Сустат Пиюков под охраной солдат принял православие, горячо призывал к тому же и остальную мордву, убеждая ее покориться царской воле, не проливать понапрасну ни своей и ни чужой крови: «Чам-Пас добровольно уступил христианскому богу, — говорил Сустат, — Чам-Пас против пролития крови родного ему народа и велит принять новую веру и следовать указам царицы».

Это тот самый человек, который еще недавно с ожесточением проповедывал ненависть к русским и к их православному богу? Который постоянно бичевал Несмеянку перед его родным народом за то, что он, Несмеянка, принял христианство! Как же это так понять? Как мог человек так играть своими словами и своею честью, предавая свой родной народ? Ему нужен был Чам-Пас, чтобы поссорить мордву с русскими, предать ее полиции и попам, а затем уничтожить и самого его, Чам-Паса, чтобы помочь попам окончательно овладеть мордвой.

Стало быть, вот кто он, жрец Сустат Пиюков! Недалом у них была дружба с Турустаном!

Многое теперь стало ясно Несмеянке.

В те дни, когда мордва уже стала ослабевать,— в помощь Сустату явился из Нижнего и Турустан под охраною команды солдат. Собрал в деревнях народ и заявил:

— Губернатор милостиво назначил меня, мордвина, вашего брата, в Терюшево старостой, и приказную избу отдал мне под начало. Не бойтесь теперь ничего. Я — мордвин и отстою вас, а Несмеянка вам добра не желает. Он немало погубил людей своим бунтом, а если захотите слушать его далее, то никого из вас в живых не останется.

Пала духом мордва окончательно.

Два года тянулась война между нею, ватажниками и губернаторскими войсками: много произошло кровавых стычек и боев за это время, много было убито солдат и полицейских, но не мало легло и повстанцев. До самого последнего боя не сдавались терюхане, но, когда в этом бою взяли в плен Несмеянку и Семена Трифонова, двух главных вожаков,— дрогнули они.

День был тихий, морозный. Сосны украсились жемчугом. Снежное поле пестрело убитыми, покрылось лужами крови. Всюду по полю было разбросано ружья, рогатины, вилы, кистени... Мордва, охваченная страхом перед пушками, бежала.

Драгуны догоняли, рубили ее беспощадно.

Это — последнее, что помнит Несмеянка. Дальше — головная боль, беспамятство. Когда вернулось сознание... факелы, кузнец, солдаты, цепи, стук наковальни... Конец свободе!

Но где Мотя? Ее нет среди арестованных. Жива ли она? Во время боя Несмеянка видел ее в поле, окруженную драгунами. Она отчаянно старалась пробиться сквозь их кольцо. Удалось ли ей?

Размышления Несмеянки нарушил грубый окрик сержанта. Толпа замерла. Застава!

— Эй, вы, голодаи! Уши после потрем. На столованье прибыли... Подтянись!.. — кричал сержант.

Караульные ринулись наводить порядок среди кандалников: сбивали их в шеренги, толкая прикладами и неистово матершинничая. Каждый норовил выслужиться перед начальством.

Колодники ежились, загораживали руками бока, грудь, живот, гремя цепями. Раздались их стоны, выкрики. Хлыст сержанта впивался то в одну, то в другую спину. С большим трудом удалось конвою построить арестантов, как того требовал начальник.

— Эй, столбы! Начальству кланяться в ноги, когда будем в Нижнем! Чтобы мне вас не трясти. Умел тилибонить<sup>1</sup> — умей и покоряться! Ну, айда, в город! — крикнул сержант. Увидев, что одна из женщин отстаёт, подбежал к ней, шлепнул ее хлыстом: «сука!».

На улицах пустынно. Бабы у колодцев при виде надвигавшейся на них громадной, пестрой толпы арестантов и солдат, бросились в ворота. Подняли на ноги домочадцев. Через калитки робко просунулись встревоженные лица; к окнам прильнули женщины и дети.

— Где же он?! — напряженно таращили глаза.

— Кто он?

— Вожак-то их?!

— Говорят — пойман.

— Ой-то, слава богу! Ой-то гоже!

Крестились суетливо, в большом волнении. Целых два года всяк за свою шкуру дрожал, боясь бунта. Страх ходил на посадe. Пугали на базарах. Пугали монахи. Пугали попы и приказные. Пугали полицейские. Нагнали такого страха — деваться некуда. Одна заботливая тетка на Печерских выселках зарыла кубышку с деньгами в землю, в огороде — десять червонцев (всю жизнь копила, убогая!), а их кто-то и выкрал. Баба рехнулась, на цепь посадили. Вот до чего добрых людей доводят страхи. И все какой-то там Несмеянка! Хуже зверя расписывали его пристава. Василиску подобный изверг, как демон кровожадный. Не загубив в сутки нескольких православных душ, спать, сатана, ни за что не ляжет! Крови требует! И вдруг такому бы чудовищу, да в самом деле Нижний в лапы достался, что бы он сотворил с ним?! Всех бы жителей разбойники перерезали.

Так об этом вдальблывали в церквах попы в головы своих прихожан. Страшно!

— Вон, вон, двое впереди-то, закованные наглухо! Должно быть, они и есть! Вокруг четыре дюжих солдата... Конечно, они самые! Который же тут будет Несмеянка?!

---

<sup>1</sup> Тилибонить — воровать, поворовывать.

И решили, что большой, а поменьше — его есаул.

Но где же мордовка-разбойница, которая у маленьких детей, будто рысь, горло перегрызает и кровь невинную тут же высасывает?! Нет ее! Какие-то бабы, правда, ковыляют позади. Но нет. Ее повели бы отдельно и оковали бы так же, как и этих двух передних! Вот бы над кем посадские бабы учинили свой суд и расправу! Кровь у младенцев? А-а-а-а! Господи!

Главная улица Нижнего хотя и опустела, но была наполнена невидимым оживлением. За воротами, заборами, в окнах и чердаках — везде притаились люди, везде глаза и уши, везде шопотливые, таинственные разговоры, везде радость, что наконец-таки губернатор победил мордву, спас Нижний Новгород от ее кровавого нашествия.

— У! Отребье? — шипели купцы. — Что значит нехристи! Сразу видать! Ишь, глазища-то!

Около Ивановской башни, у кремлевского острога, необычайное оживление. В башне приготовлен уже и каземат, отведенный теперь тюремным начальством для особо опасных преступников.

Одна половина расположенного у подножья башни острога вмещала в себя преступников, отправляемых на каторжные работы в Петербург или Ревель, другая — подследственных арестантов.

В застенке, под самой кремлевской стеной, в некотором расстоянии от острога, шли свои приготовления. Палачи раздували огонь в очаге, налаживали дыбу, один из губернаторских секретарей сидел уже перед большой прошнурованной книгой и задумчиво ковырял в носу. Московский кат вспотел от хлопот, покрикивая на двух нижегородских своих собратьев, «приучая их делу». Он был в черном фартуке; на голове, словно архиерейская митра, большой парчевый колпак, рукава засучены до самых плеч. На голых руках клейма. Безбровое и безусое лицо его в отсветах очага блестело, будто покрытое лаком. Он велел своим помощникам приготовить две рубахи и порты для приговоренных к смерти. Сам с серьезным видом стал высыпать из банки в чашку порох для клеймения.

— Возьми голик! Подмети! — крикнул он. — Срамота!.. Волосья, тряпье, ногти... В печь бросай!

В застенок заглянул поп.

— Не привели воров? — кивнул он заискивающе кату.

— Нет. Отходную, что ль, служить?! Завтра приходи.

— Его преосвященство приказали присягу взять.

— А ну-ка, батя, благослови!

Кат смиренно подошел под благословение, сложил ладони в пригоршню, склонился:

— Благословен господь наш, иже во святых святей. Да подкрепит дух твой и да простит тебе прегрешения твои. Аминь.

Кат звонко поцеловал поданную ему руку.

После ухода тюремного попа, глядя насмешливо на при-смиривших в углу нижегородских палачей, он сказал:

— Простота человека к богу приводит. Вот что. Наше дело такое — по Деяниям апостолов живем! Христианству помогаем. С апостолами заодно.

Тихо засмеялся — безбровое лицо покрылось морщинами, бородка затрепыхалась, как у козла в минуты озор-ства.

Вбежал вратарь с изрубцованным лицом:

— Э-вона! Казались! — и скрылся.

Палач шагнул к двери:

— Благоразумные слобожане! Встречайте народ! — крикнул он торжествующе.

Вместе с клубами морозного воздуха в застенок хлынул шум голосов, звон цепей, свист, лай собак. По кремлевскому съезду к острогу быстро, почти бегом, спускалась толпа колодников. Усердно работали хлыстами и палками конвойные солдаты.

Московский кат с ног до головы осмотрел Несмеянку и бобыля Семена, как будто мысленно оценивая их.

— Не люблю крамольников! — вздохнул он.

— Чего? — поинтересовался секретарь.

— Глубина человеческая в них! Вечному воздаянию задержка. Вот на этих голубчиков мне Ванька Каин в Москве и указывал... Уж не атамана ли еще Зарю ведут?!

Секретарь промолчал. Он с тревогой ожидал появления в застенке «страшного бунтовщика», Несмеянки Кривова, о котором он исписал столько бумаги и о котором по губернии ходило столько жутких рассказов. Под начальством этого человека мордовские ватаги почти два года непрерывно разбивали губернаторские команды.

Несмеянку и Семена провели прямо в застенок. Пожаловал сюда и сам губернатор, а с ним полковники гарнизона и поп.

Губернатор оглядывал Несмеянку и Семена Трифонова презрительно прищуренными глазами. Полковники зло насупились, держась на всякий случай за рукоятки сабель. Казалось, вот-вот они сейчас выхватят их и изрубят колодников.

Палачи, секретарь, а с ними и конвойная команда, очистили перед губернатором место. Красный, с пухлыми щеками, в громадном седом парике, парадно разодетый, губернатор воинственно надвинулся на колодников.

— Который мордовский вор? — крикнул грозно.

— Вот он! — метнул лезвием в сторону Несмеянки конвойный офицер.

— А этот?!

— Русский смерд... бобыль... его есаул.

Губернатор покачал головою:

— И не стыдно тебе заодно с нехристями? Эх, ты! Какой же ты россиянин?! Какой же ты христианин?!

— Я тоже христианин, — усмехнулся Несмеянка.

Дружкой опять прищурил глаза:

— Востер на язык, видать!.. Изрядно! Желательно было бы, однако, от тебя услышать: знаешь ли ты, что всякой вещи, всякому имению есть свой владелец?

— Знаю.

— Какой же ты христианин, коли посягнул на чужое добро?

— На чье добро?

— На земли, которые тебе не принадлежат, на людей, которые в крепости у тебя не состоят, а являются подвластными вотчинникам?! Христианин не должен грабить.

Губернатор обернулся к тюремному попу:

— Не так ли, батюшка?!

— Истинно так, ваше сиятельство, — поспешил отозваться тот и, обернувшись к Несмеянке, закричал: — Не христианин ты, а грабитель! Велика твоя вина перед богом и земными властями! Покайся! — И поднял поп высоко над собою крест и евангелие.

Несмеянка и Семен Трифонов переглянулись.

— Э-эх, отец, подумай и сам ты! За что страдаем? — ответил мордвин. — Мы ничего не похитили у хозяев нашей земли, но они отнимают у нас все: и собственность и жизнь! И почему ты, как честный слуга Христа, не назовешь их (Несмеянка кивнул в сторону губернатора и полковников) грабителями и душегубами?!



Поп смутился, опустив крест и евангелие. Полковники судорожно сжали рукоятки оружия. Московский кат смотрел на Несмеянку снисходительно, с улыбкой, как будто говоря глазами начальству: «Ладно, пускай потешатся перед кондом! Тоже люди!».

Губернатор не шелохнулся. Он продолжал негодующе смотреть в лицо Несмеянке.

— Подумай-ка, хамская харя, — на что решился ты и какие разрушения произошли по твоей прихоти, зажига-  
тель?!

— Ты добр и многосведущ, — ответил Несмеянка губернатору, — но не обладаешь здравым умом. (Опять все испуганно зашевелились, глядя на начальника губернии). Попад в утробу чудовища, не будешь ли и ты стараться выйти из нее? К тому стремятся мордва и русские тяглые люди.

Дружкой побагровел.

— Язык вырву! Пададь! — задыхаясь, крикнул он.

— Не раздражайся, ваше сиятельство, по поводу всякой малости! — насмешливо проговорил Семен Трифонов.

Несмеянка вздохнул.

— Э-эх, князь! Кого ты захотел обмануть! Иди себе... пользуйся пока жизнью! А нас вели казнить! Вот и весь наш сказ. Не дитя ты, и мы не дети!

Губернатор многозначительно поманил пальцем секретаря и, когда тот мелким бесом подскочил к нему, — что-то прошептал ему на ухо, а затем повернулся и осанисто пошел, в сопровождении полковников, вон из застенка.

После ухода начальства к арестованным приблизился секретарь. Тихо, вежливо изогнувшись, он обратился к Несмеянке:

— Добрый человек! Его сиятельство не хочет губить тебя, он желает тебе добра.

Несмеянка, усмехнувшись, поклонился:

— Бью челом! Но легче от доброго получить злое, нежели от злого доброе.

Секретарь, будто не слыша, продолжал ласково и вежливо:

— Одного только мы желаем от вас, честные люди, откройте нам, кто были у вас близкими товарищами в смуте, коя постигла ваши несчастные селения, и не знаете ли вы, где хоронится жалкая разбойница, девка по имени Матрена, беглая дворовая Рыхловской вотчины? Не утаивайте от нас ничего — тогда будете помилованы губерна-

тором и его преосвященством епископом нижегородским и алатырским... И воздаст вам хвалу и славу царская власть.

Несмеянка гордо поднял голову.

— Слава состоит в преданности народу, в твердой самоверности духа и в бесстрашии...

Московский кат и секретарь переглянулись, покачали головами, зевнули от скуки.

— Говорил я...— шепнул секретарю на ухо кат. — Человеческую глубину век не испытаеть!..

— Чего ради удлинять краткий путь ко аду?! Охо-охо! — вздохнул кат.

Секретарь не смущался и настаивал на своем:

— Гордиться должны не словом, а делом и подвигом общепользней добродетели. А что есть полезнее выдачи воров властям?!

Несмеянка отвернулся, не желая продолжать разговор. Семен Трифонов зло проговорил секретарю:

— Не будь цепей, укокал бы я тебя, хриstopродавца.

— Ну, и что же?! А далее что? Боль совести! Не стремись, добрый человек, ко истреблению, но наипаче пекись о сбережении. Такой же я невидный раб божий, как и ты. Чего же для умерщвлять меня?! Все мы люди, все рабы единого господа бога, творца вселенной.

Московский кат и секретарь опять переглянулись. Нижегородские палачи, плотно сжав губы, почесали затылки.

— Какого дьявола, блудник, ты липнешь к нам?! — вспылл Семен Трифонов, рванувшись к секретарю. Тот отскочил назад. Конвойные вцепились в Семена. Оттащили его. «Ишь, здоровенный какой!», — ворчали они.

Секретарь смиренно отошел в угол, сел за стол, обмакнул перо в чернила, задумался, что-то деловито написал себе в книгу. После этого с улыбкой кивнул он попу. Тот направился к арестованным, держа в руке крест и евангелие. Перекрестился.

— Братие! Воспомяните вечное житие, царство небесное, уготованное праведникам, и тьму кромешнюю, уготованную грешникам, опомнитесь и покайтесь. Отвечайте же мне, братие, — стремитесь ли вы душою в райские обители или прельщает вас ад, царство сатаны?!

Несмеянка спокойно ответил:

— Непокорную чернь вы отправляете в ад!.. Но будет ли она и там терпеть тяготу, кою не хотела терпеть на земле? И если нет, то куда же вы из ада денете ее, егда

она сотворит и там бунт?! Ответь мне, ибо ни на земле, ни в аду никто не захочет быть рабом!

Московский кат фыркнул. «Мозговит!», — прошептал он секретарю. Тюремный поп закашлялся, видимо, обдумывая свой ответ колоднику, но у него ничего не получилось, кроме: «покайся, подумай о смерти, явись перед богом облегченным от грехов, не губи своей души...».

Кончилось тем, что Семен Трифонов, поблескивая покрасневшими белками глаз и отчаянно ругаясь, вышел из себя, набросился на тюремного попа. На Семена навалилось пятеро конвойных, он начал отбиваться, лежа на полу, пихая солдат ногами... Лапти с него слезли. Обнажились голые ноги. Сержант принялся стегать его по ногам хлыстом.

Московский кат посмотрел сердито на сержанта.

Секретарь сорвался со своего места и схватил сержанта за руку:

— Не полагается. В застенке хозяин — заплочный мастер!

Семен катался по полу, никого не подпуская к себе.

Во время свалки Несмеянка был недвижим. Его взгляд вдруг встретился с глазами московского палача. Несмеянка хотел найти в его лице хотя бы крупинку человеческого... но этого не было. На Несмеянку смотрел тупой холодный человек, с масляным краснощеким лицом, поросшим редкой бороденкой. Палач улыбнулся. От этой улыбки, похожей на гримасу зверя, стало холодно, дрожь пробежала по всему телу Несмеянки.

Семена Трифонов, по приказанию секретаря, поволокли из застенка. Трудно было справиться команде с сопротивлением силача. Солдаты потащили Трифонов в каземат Ивановской башни.

Когда Несмеянка остался один, тюремный поп снова приблизился к нему и тихо спросил:

— Брат мой, согласен ли ты указать властям воров и злодеев, кои тебе помогли? Вспомни о Страшном суде!

— Эх, отец, — покачал головой Несмеянка. — Лучше бы ты заступился за христианина, коего сейчас били у тебя на глазах. А меня оставь в покое.

Секретарь сделал знак попу, чтобы он уходил из застенка. Тот послушно заторопился. Завернул в черный лоскут крест и евангелие и вышел вон.

Палачи облегченно вздохнули.

Секретарь откашлялся, молча перелистал лежавшие перед ним бумаги и встал, одернув камзол и поправив бант на груди.

— Милый человек, — заговорил он вкрадчиво. — Ужели мятежи и смуты есть цель жизни человеческой? Не есть ли это лишь застой жизни, разрушение разумной цели бытия? Мятежи ведут к праздности, они расслабляют душевные силы. Но ты нам известен как разумный человек. И должен ты знать, что даже низкое животное и то редко не исполняет своего труда, предназначенного ему богом. Тем более, человек создан не для праздности, а он есть раб господина своего. Чего же ради вы зорили своих добрых властелинов, хозяев ваших земель — несчастных вотчинников? Чего добивались вы? Куда и почто вел ты мордву и беглецов-крестьян?!

Несмеянка ответил:

— Вы хотите убить меня. По-вашему, это цель жизни человеческой?! Морить народ голодом, держать его в кабале и за всякое недовольство надевать на него колодки, бить батожем, плетьюми... Это ли, по-вашему, цель жизни человеческой?..

Секретарь кивнул палачам. Они дружно подошли к Несмеянке, деловито стали снимать с него цепи.

— Если цепи мешают тебе говорить правду, — мы снимем их с тебя, — улыбнулся секретарь.

Ерзавшие по телу Несмеянки холодные, липкие, как ужи, пальцы палачей приводили его в содрогание.

— Ну, брат, цепи сняты. Ждем твоего слова.

— Предательства не жди! Я не Иуда!

— А, может быть, скажешь?

— Нет! Не ждите!

Секретарь сел за стол, поморщился и вдруг шлепнул ладонью по столу.

Два палача мигом вывезли откуда-то из угла большое деревянное кресло, усадили в него Несмеянку. Железными скобами они приковали его ноги, руки и грудь к этому креслу. Обвязали кругом ремнями, надели ошейник. Несмеянка теперь не мог повернуть головы.

Секретарь во время подготовки сидел, уткнувшись в свои бумаги, как будто его совершенно не интересовало то, что происходило здесь.

Когда палачи отошли от мордвина, секретарь встал со своего места и тихо подкрался к Несмеянке.

— Видишь? — спросил он подсудимого. — Знаешь, что ты теперь в полной нашей власти?

— Да, знаю, — с трудом ответил Несмеянка, начавший терять силы.

— Но мы тебя можем изъять из тисков. Объяви имена всех воровских людей. Укажи, где оружие, яви нам место становища лесного и донеси, где разыскать вашу мордовку-разбойницу, ушедшую от команды. Вот и все! — закончил секретарь. — Ну! Мы ждем!

Палачи замерли в ожидании, глядя на высоко поднятую в тисках неподвижную голову Несмеянки. Личо его покраснело, надулось, — ремень давил горло. Руки и ноги онемели, стиснутые колодками.

Секретарь мягко, спокойно, как будто бы при самых обыкновенных, будничных обстоятельствах, наклонив свое ухо к лицу Несмеянки, спросил:

— Ты женат?

Несмеянка молчал.

— Пожалей жену... детей... свое доброе имя... Не скрывай ничего! Ну! Ну! Сказывай?!

— Отойди! — насколько хватило сил, ответил Несмеянка.

Секретарь молча пожал плечами, отошел от Несмеянки и стукнул ладонью по столу.

Палачи встрепнулись. Московский кат напялил на голову Несмеянки широкий кожаный ремень, который скрутил при помощи винта, и крепко сжал им череп мордовина.

Секретарь сделал знак рукой. Кат остановился. Допрашивающий опять подошел к Несмеянке:

— Ну, как?! — спросил он заботливо. — Больно?!

Несмеянка молчал. Глаза его, налитые кровью и вылезавшие из орбит от туго стягивающего голову ремня, глянули на мучителя страшным, безумным взглядом.

— Ну, каешься?!

— Нет, — тихо молвил Несмеянка.

— Прибавь! — крикнул кату секретарь.

Кат снова начал вертеть винт. Секретарь дал знак рукой. Кат остановился, пошлепал Несмеянку ладонью по голове:

— Кайся. Хотя и крепка, как я вижу, твоя голова, но может лопнуть!

— Выдашь?! — опять спросил секретарь.

— Нет! — еле слышно сказал Несмеянка.

Слова закрипел винт под громадными волосатыми, со следами ожогов, лапидами палача...

Губернаторские капралы окончательно покорили мордву и рассеяли повстанцев.

Все покорилось всеильному Турустану. Только Мотя, Иван Рогожа и еще трое молодцов из Большого Сескина не покинули леса. Напрасно их разыскивали пристава и конные стражники — нигде не могли найти беглецов.

Между тем, они делали набеги на малые команды и из-за стволов деревьев стреляли в солдат, а солдаты в страхе бежали от них, оставляя колодников на дороге.

Монахи, не торопясь, остороженько двинулись в Герюшевскую волость из Оранского монастыря, узнав о мордовской покорности.

Епископ Димитрий разослал по селам приготовленную им речь для духовников, коим предстояло совершать крещение мордвы. В речи было сказано, что «святая церковь не требует у язычника отречения от своего народа, от своих предков, от своего житейского мордовского обихода, — православное крещение не отнимет у человека его родины, но оно подчиняет его мудрому началу смирения. Крещение избавляет мордву, чувашей, татар, черемисов и других иноверцев от властолюбивой похоти, от стремления верховенствовать в семье единой матери всех нас, ее величества государыни-императрицы Елизаветы первой, дочери блаженной памяти великого Петра»...

Иван Макеев охрип, читая эту проповедь по избам. Всех obeжал. Показалось мало — еще раз повторил то же самое. Епископ приказал приготовить язычников ко всеобщему крещению моравы, обходясь с ними ласково, по-братски.

Поп Иван ездил для проповеди и в Рыхловку. Феоктиста собственными глазами видела, как сбылись слова «батюшки», сказанные им два года назад.

Действительно, рыхловские «бунтовщики и крамольники» поклонились попу Ивану в ноги, прося у него прощения за свои преступления против власти. Плакали, каялись.

Феоктиста торжествовала. Рыхловка отошла в казну, но ее, Феоктисту, оставили управительницей. Теперь она стала расхваливать попу его супругу Хионию Но Макеев — хитрый. Сразу догадался, в чем дело. Постоялец завелся

у Феокисты — усмиритель мордвы, драгунский ротмистр — усатый и нахальный человек, расположившийся в Рыхловке, как природный хозяин усадьбы. Теперь почевать она отводила Ивана наверх, на антресоли, в бывшую моленную Филиппа Павловича. Он, ложась в свою постель, сердито оглядывал темные старинные иконы на стенах. Того ли ему нужно было!

. . . . .

На дворе стояла стужа великая. Метались лютые ветры над сугробами, похоронившими неубранные поля. В избы вползал голод. Люди сидели в своих жилищах, ломая голову: как жить дальше. Мерли дети от недоедания.

Однажды подходившая к Терюшеву команда солдат увидела в лесу на дороге удивительную картину. Неизвестная женщина мчалась на коне за каким-то мужиком, ехавшим в санях. Мужик кричал о помощи. Офицер и солдаты невольно рассмеялись подобной трусости мужика. «Ай да тетка!», — закричали они. Но их веселье мгновенно исчезло, когда в лесной тишине вдруг прогремел выстрел и мужик брякнулся оземь, а баба скрылась в чаще леса.

Солдаты пробовали было отыскать ее в лесу, но ее и след простыл. Только на другой день, придя в Большое Сескино, команда узнала, что человек, которого ранила женщина, — новокрещенец, мордвин Турустан, а сама она — его бывшая жена, ныне находящаяся в бегах, разбойница Матрена.

Два дня помучался Турустан и умер. И никто его не пожалел, ни один из его соотечественников.

. . . . .

20 мая 1744 года в Царское Село примчался монах — гонец епископа Димитрия Сеченова. Привез донесение из Нижегородской епархии.

Царица в ту пору молилась у себя на хорах, в церкви Царскосельского дворца, окруженная царедворцами и в соседстве с Алексеем Григорьевичем Разумовским.

Ослепленный светом множества лампад и громадного паникадила нижегородский инок дождался окончания богослужения и собственною персоною своею представился пред очи царицы. Она быстро развернула донесение епископа и велела прочитать его стоявшему рядом Бестужеву.

«Великая государыня! — писал епископ. — Там, где пре-

жие приносились кровавые жертвы бездушным идолам, ныне нашим священством во святых храмах совершается бескровная и спасительная жертва единому господа богу нашему Иисусу Христу. Отныне новокрещенцев в Нижегородской епархии 50 430 человек, помещающихся в 4981 дворе. Деревень, населенных ими,—132, а церквей при них —74. Из оных церквей нами устроены: 14— в Нижегородском уезде; 49— в Алатырском; 10— в Курмышском и 9— в Ядринском уезде».

Далее Сеченов сообщал о поимке «главных заводчиков бунта» — Несмеянки Кривова и беглого бобыля Семена Трифонова. (О том, что их обоих замучили в застенке, а затем сожгли, в письме епископа не было ни слова. Также и о том, что осталась непойманной ватага непокорных под атаманством мордовской женщины Моти.)

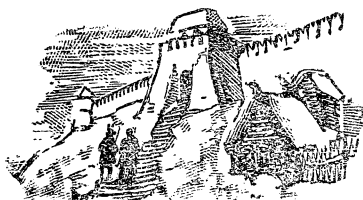
Кончалось доношение словами:

«О чем всеподданнейше и с молитвою о здравии вашего величества я счастлив донести, смиренный раб вашего величества, епископ нижегородский и алатырский Димитрий».

Елизавета, прослушав чтение Бестужева, улыбулась, передала письмо епископа Разумовскому: «Отошли в Синод!» — и, указав затем на гонца, сказала фрейлине Шуваловой:

— Мавра, отведи гостя в свои светлицы, позаботься о нем и опроси подобающе об епархиальных делах. А утресь возблагодарим господа бога спаса нашего за многие щедроты его, кои ниспослал он нам во имя укрепления и процветания нашей Российской императорской державы!

Придворные жеманно улыбались.





## О Г Л А В Л Е Н И Е

Часть первая . . . . .	7
Часть вторая . . . . .	125
Заключение . . . . .	313

Редактор *А. П. Зарубин*

Технический редактор *Л. И. Немченко*

Корректор *М. В. Петрович*

---

Изд. № 2157. Индекс X-1. Подписано к печати 26 XII-50 Бумага 54x84<sup>1/16</sup>=10,625 бу-  
 мажных—16,91 печатных— 8 уч.-изд. листов. Тираж 15000 экз. МЦ 20398 Заказ 5609  
 11-я типография треста „Росполиграфпром“ Росполиграфиздата при Совете  
 Министров РСФСР, г. Горький, ул. Фигнер, д. 32





